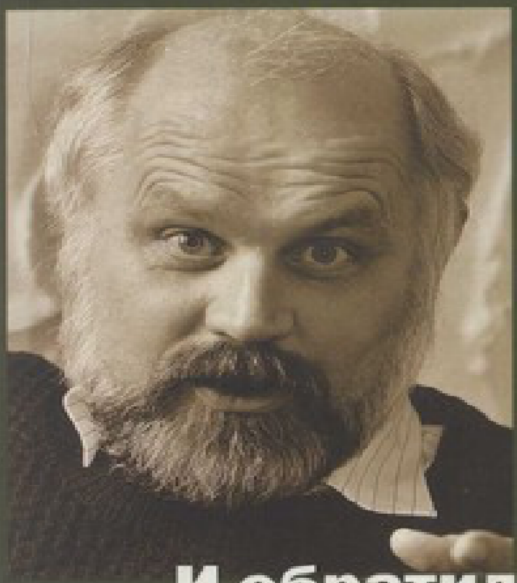
Und schrieb
meinen
Zorn
in den Staub
der Regale

Петер Вайдхаас



И обратил свой гнев в книжную пыль...

Записки директора Франкфуртской книжной ярмарки

Und schrieb
meinen
Zorn
in den Staub
der Regale

АСТ
ПРЕСС

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Петер Вайдхаас в книжном мире — легендарная личность. Двадцать пять лет он были директором Франкфуртской книжной ярмарки, самой крупной в мире, куда ежегодно съезжаются издатели из всех стран, где задается тон моде и определяется направление в развитии книжной индустрии.

Но самое главное, Петер Вайдхаас — это незаурядная личность, человек кипучей энергии и страстного темперамента. Его рассказ о своей бурной жизни, о сложном пути становления, о поездках по разным странам и встречах с интересными людьми — по-настоящему увлекательное чтение, которое доставит искреннее удовольствие любому, даже самому взыскательному читателю.

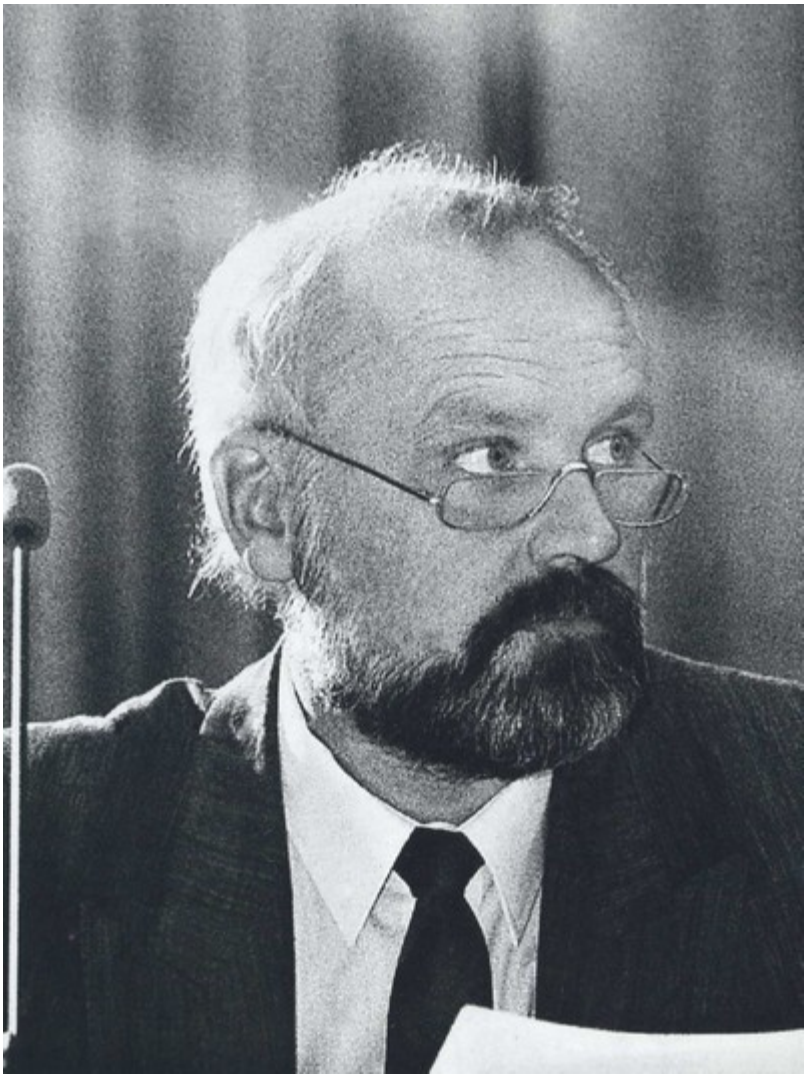
- Петер Вайдхаас
  -
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12
  - Глава 13
  - Глава 14
  - Глава 15
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17

Петер Вайдхаас
И обратил свой гнев в книжную пыль…
Записки директора Франкфуртской книжной ярмарки

Полушутя-полусерьезно мы предложили автору уже готовых мемуаров похожий заголовок: «И обратил свой гнев в книжную пыль…» И тут же сошлись на нем, ибо хорошая порция самоиронии, сдобренная юмором, еще никогда не причиняла вреда ни одному автору. В мемуарных зарисовках Петера Вайдхааса нашли также довольно точное отражение переломные моменты и болезненные противоречия тех лет, наложившие отпечаток на все его поколение.

От издательства Петер-Хаммер-ферлаг



Петер Вайдхаас, директор Франкфуртской книжной ярмарки с 1974 по 2000 г.

Глава 1
Гранд-отель DORÂ

Я стою перед входом в гостиницу. Какие-то мгновения на меня смотрит отражение седобородого мужчины лет эдак за пятьдесят. В каждой руке по чемодану, через плечо переброшен мятый плащ. Сзади по улице Майпу тащится, погромыхивая, старый разбитый микроавтобус. Серо-голубое облачко из выхлопной трубы заволакивает задний план, но тут стеклянная дверь маленькой гостиницы в Буэнос-Айресе, всегда дававшей мне приют, когда я приезжал в эту южноамериканскую страну, неторопливо открывается.

Я сделал шаг вперед, и обе половинки двери сомкнулись за мной с той же медлительностью, с какой приветливо распахнулись. Я прибыл на место. Из глубины вытянутого в длину помещения, вобравшего в себя все, что только, помимо номеров, еще было в этой гостинице: стойка администратора, бар, комната с телефоном-коммутатором, гостиная, ресторанчик на четыре столика, отгороженный двумя расписными ширмами, оба лифта, туалеты и кабины телефонов-автоматов, — уже спешил мне навстречу с сияющей улыбкой мой старый знакомый — здешний портье.

— Приветствую вас, сеньор, вот здорово, что вы опять к нам приехали.

Ни в одной гостинице на всем белом свете не встретишь такого ловкого, а главное, приятного сервиса. Ты заходишь, стеклянная дверь плавно закрывается за тобой, грохочущий шум городского транспорта по улице Майпу замирает, и ты спасен.

Портье, который работал здесь еще до того, как двадцать пять лет назад я впервые приехал в эту гостиницу, берет у меня из рук чемоданы.

Он еще больше сгорбился и поседел, но сияющая улыбка осталась неизменной, и уже в следующий миг он непременно выкинет со мной одну из своих шуток, как это за ним водится, — спрячет, например, чемодан и начнет возбужденно бегать и искать его.

— Только это еще как-то и поддерживает жизнь, сеньор, — говорит он, пожимая плечами.

Все его шуточки мне давно известны, и я медленно направляюсь в глубь помещения, оборачиваюсь и смотрю оттуда: все по-старому! Бар, в котором Гюнтер Лоренц всегда поджидал нас в четыре утра, застыв в неестественно прямой позе после

принятия большой дозы алкоголя. Бежевый кожаный диван, где по утрам пил чай Хорхе Луис Борхес, великий, почти слепой аргентинский писатель. Несколько удлиненной формы резная деревянная фигурка мадонны с чуть приподнятым спереди подолом по-прежнему стоит в позолоченной нише. Я облегченно вздыхаю.

Кому же не хочется, чтобы запечатлевшиеся в памяти мимолетные видения, из которых складываются наши воспоминания, не менялись и к ним можно было бы снова вернуться и пережить все еще раз? Разве не отправляемся мы с душевной тревогой в места нашего детства, нашей первой любви, справедливо опасаясь, что разрушим прекрасные образы прошлого, потому что с тех пор все изменилось и мы не найдем того, что было раньше.

В этой маленькой гостинице с несколько гипертрофированным названием «гранд-отель» время как бы остановилось. Здесь все так же, как и двадцать пять лет назад, когда я начал свой путь, приведший меня к Франкфуртской книжной ярмарке, нерешительно вступая в мир, где не было никаких гарантий, а, наоборот, было много зыбкого и быстропреходящего. Только что испытанный успех исчезает уже в тот самый миг, едва ты сумел его достичь. И уже надо добиваться чего-то нового. Так я и носился на реактивных самолетах больше четверти века по белу свету и каких только «номеров» не откалывал, чтобы удержаться на этом парящем в невесомости «бумажном» змее. И самое смешное, что успех все время ускользал. С огромным трудом удавалось задержать его лишь на мгновение.

И вот я снова стою в этой маленькой гостинице и мысленно вижу, как входит он, тогда тридцатилетний, и приближается к бару, где все еще довольно прямо сидит Понтер Лоренц. Я направляюсь к стойке, приветствую mozo[1], который и тогда тут стоял, заказываю себе коктейль — мы и тогда его пили — жуткое пойло, какая-то непонятная смесь, зато безотказно дающая «эффект» Пруста, и весь тогдашний мир с его запахами, ощущением полноты жизни и ожиданием будущего вновь возвращается.

Я сижу словно рядом с самим собой. Смотрю вперед и вижу в зеркале — вот он за бутылками «куантро», «смирновской» и виски «Джонни Уолкер»:

— Ну и что ты тут делаешь?

— Как «что»? Мы готовим выставку немецкой книги вместе с Клаусом Тиле, да вот он, кстати, идет… Мы заняты сейчас тем, что собираем в фойе театра «Сан-Мартин» стенды. Проблем хоть

отбавляй. Мы там заставили какую-то мозаику, и пришлось снова все разбирать — нельзя ее загораживать. А завтра Вилли Брандт будет открывать выставку. Мы парились до четырех утра, но все равно не успели. Продолжим теперь в семь.

— А это кто такой?

— Гюнтер Лоренц. Его тут все профессором величают. Первый немецкий журналист, по-настоящему занявшийся латиноамериканской литературой. Консультирует нас. Раздает без передыху налево и направо интервью. Прочтет даже несколько докладов!

25 лет назад

1968 год — время пробуждения и революционного прорыва. Немецкая молодежь пришла в движение, забурлила, поднялась против лживости пятидесятых годов, когда начавшийся экономический подъем стал сопровождаться вытеснением прошлого. Пора «безотцовщины» и «неспособности скорбеть» (А. Мичерлих[2]) должна была смениться неавторитарным господством социально ангажированных людей с рациональным мышлением.

Все мы знаем, как быстро и каким позором закончился этот прорыв, когда протагонисты революции переметнулись в итоге к террористам из РАФ (фракция «Красная Армия») или подались в секты Бхагвана, дервишей и тому подобное.

Однако нельзя недооценивать изменений, произошедших в нас, молодых людях, с вниманием наблюдавших за этим прорывом и симпатизировавших его участникам. Мы, правда, не выходили с ними ежедневно на улицы. И не проводили ночи напролет в жарких дискуссиях в клубе «Вольтер». Не жили с ними в общежитиях и не ратовали за свободную любовь, о чем с таким смакованием писали бульварные журнальчики, пестря иллюстрациями. Мы с восторгом наблюдали происходящее, вливались время от времени в ряды демонстрантов, испытывая некоторую неловкость.

В нас что-то пробудилось. Тупиковость и зажатость сменились ощущением безграничного простора. Свобода перестала быть только литературной категорией, казалось, ее можно пощупать руками. Возможным стало все, что раньше было абсолютно невозможно.

Угнетенность ощущения быть немцем заставила меня довольно рано уйти из родительского дома. Осознание жестокости, творимой именем немецкого народа, и того, что ее

творил сам народ, частью которого я являлся, стало для меня, подростка, неподъемным бременем и гнало прочь, заставляло без оглядки бежать отсюда и как можно дальше.

Я не хотел быть немцем, не хотел больше говорить по-немецки, не хотел учиться и кем-то стать, только чтобы не укореняться в этом обществе. Я бежал от всего. Бежал от этих серых, самодовольных людей в трамваях. Бежал от учителей. Бежал от тех, кто претендовал на авторитет в этой стране. Я бродяжничал по Европе, безостановочно ездил автостопом. И маршруты моего бегства пролегали через Францию, Англию, Испанию, Грецию и Турцию.

Когда же, обуреваемый внутренними сомнениями, я все же созрел до понимания, что профессию, однако, надо иметь — мое буржуазное воспитание одержало-таки верх, — мне удалось достичь этого только благодаря волевой самодисциплине, неизменно сопровождаемой тем не менее тоской и подавленностью.

Сегодня я смею утверждать, что лишь студенты 1968 года сумели вернуть нам самоуважение, решительно поставив под сомнение преемственность авторитетов в обществе, во многом восходивших к периоду нацизма, во всяком случае, идентичных по большей части с духовным наследием того времени.

Сексуальная революция 1968 года стала для нас, западных немцев, как ни относись к этому сегодня, своего рода освободительной культурной революцией, и многое из либерального багажа национального самосознания, символизировавшего собой Федеративную Республику Германии, берет начало в том бурном времени и, возможно, еще дает о себе знать и по сей день, проявляясь в том или ином качестве в условиях новой объединенной Германии.

Но не только это — революция шестьдесят восьмого вообще оказала на нас многостороннее воздействие, она стимулировала наше внутреннее раскрепощение. Мы избавились от ложной стыдливости. Уже не робели, как раньше, стали более раскованными, порой даже вели себя так, как это нас больше устраивало. То были новые и удивительные ощущения. Отпали вдруг все запреты, все рамки ограничений, открылись другие возможности, появилась радость жизни…

В то время я работал простым сотрудником в издательстве научной литературы Георга Тиме в Штутгарте. Там вдруг всех захлестнул, ломая перегородки отчуждения между отделами, единый коллективный дух, чего никогда раньше не было и чего наверняка нет больше сейчас. Мы тусовались денно и нощно. Держались все вместе, давая, когда надо, отпор начальству.

Обменивались информацией, во всем помогая друг другу.

И тут, что называется в духе времени, я попросил моего друга Гельмута Гана, работавшего в правлении издательства и единственного из нас, у кого был доступ к «Биржевому листку немецкой книготорговли», подыскать мне несколько объявлений о найме на работу, чтобы я смог выбрать себе местечко в северном направлении от Штутгарта и устроиться там поработать — я собирался поехать к друзьям в Рурскую область и мог бы по пути посмотреть, что к чему.

Это не было серьезным шагом в заранее спланированной карьере. Правда, я видел себя в далеком будущем на руководящем посту в одном из издательств, но жизненные ощущения тех дней были скорее полны ожидания нового, желания освободиться от зажатости и скованности, нежели мыслей о целенаправленном скачке в карьере.

Предложений на ту неделю, когда я собрался ехать, было на удивление мало. В Хайдесхайме, в одном небольшом издательстве в швабской провинции, которое печатало в основном литературу по коневодству и конному спорту, требовался директор. А во Франкфурте Биржевое объединение германской книжной торговли искало «надежного и исполнительного» человека. Я отправился в Хайдесхайм, но, имея хорошие шансы получить там место, вернулся в Штутгарт, где сел и тут же написал отказ. Мое тогдашнее ощущение жизни требовало широты и простора. Работа же в Хайдесхайме завела бы меня в глушь швабской провинции. А с меня и Штутгарта было более чем достаточно.

Но Биржевое объединение? Разве могла привести к свободе дорога, пролегавшая через пользовавшийся дурной славой управленческий аппарат базисной в нашей книжной отрасли корпорации во Франкфурте? Меня так всего и передернуло.

— Нет, нет, — сказал Гельмут Ган, — давай двигай туда. Это не Биржевое объединение, а те, кто делает ярмарку. Просто сумасшедший народ! Попробуй, может, тебе понравится. Я туда тоже как-то ради хохмы документы подавал!

Ни я, ни Гельмут Ган в тот момент и не подозревали, что фразой «Это не Биржевое объединение, а те, кто делает ярмарку!» он обозначил круг проблем, которые полностью поглотят меня в ближайшие десятилетия.

Я поехал туда без всякого энтузиазма, только лишь потому, что так мне посоветовал Гельмут Ган, и потому, что Франкфурт был мне по пути. Ган оказался прав: «Просто сумасшедший народ!»

Когда я позвонил в дверь на Кляйнер-Хиршграбен, мне

открыл Клаус Тиле, возглавляющий ныне небольшое издательство в Мехико, а тогда являвшийся руководителем отдела зарубежных выставок немецкой книги при Франкфуртской книжной ярмарке-выставке.

— Вы говорите по-французски? — первое, что спросил Тиле после того, как я представился.

Я ответил отрицательно. В школе французского у меня не было, правда, я как-то поизучал его годик между делом в школе Берлица, но о том, что я говорю по-французски, и речи быть не могло.

— Жаль, тогда у вас нет никаких шансов, — произнес он огорченно. — Наш шеф — франкофил и скорее всего захочет побеседовать с вами по-французски.

Ну что ж, по-французски так по-французски, не будем портить шефу удовольствие. Через несколько минут меня пригласили в кабинет, и, как и ожидалось, из-за большого письменного стола навстречу мне вышел сияющий Зигфред Тауберт и поприветствовал меня:

— Bon jour, Monsieur!

А вслед за этим он выплеснул на меня поток французской речи, от которой я оборонялся, вставляя, надеюсь, в правильных местах, только лишь: «Mais oui, Monsieur! Mais non, Monsieur! Naturellement, Monsieur!» (Да, месье! Нет, месье! Конечно, месье!) и т. д.

Я мало чего понял из того, что господин Тауберт в течение тридцати минут этого нашего первого разговора пытался мне объяснить. В несколько нервном состоянии я попрощался, не забыв, однако, получить командировочные в бухгалтерии у фрау Ленц. Действительно, чокнутые какие-то, подумал я и поехал дальше в Рурскую область, на этом вопрос с Франкфуртом был для меня закрыт.

Но вот ведь как можно ошибиться! По возвращении в Штутгарт меня ждала телеграмма из Франкфурта, в которой сообщалось, что после долгого взвешивания моя кандидатура одобрена и я должен немедля приступить к работе, потому что предполагается уже через несколько недель послать меня в Южную Америку, за сим следовало перечисление городов: Буэнос-Айрес, Кордова, Монтевидео, Сантьяго, Вальпараисо и Консепсьон.

При слове «Вальпараисо» я погрузился в мечты: Valparaiso по-испански — райская долина! Что я знал о Южной Америке? Райская долина! Разве не означает это солнце, белый песок, пальмы и хорошенькие темные девочки в соблазнительных юбочках с оборочками?

Пожалуйста, не качайте с негодованием головой по поводу наивности молодого человека. Разве это не те самые стереотипы и клише, которыми и сегодня забиты мозги многих европейцев, когда речь заходит о так называемом «третьем мире», несмотря на то что уже десятилетиями туда совершаются массовые туристические паломничества, только начинавшиеся в те времена? На эту тему я еще кое-что расскажу, только чуть позже. А сейчас ограничусь пока одним: Valparaiso! Увидеть райскую долину! Это определило мое решение согласиться на Франкфурт. Вальпараисо отвечало моему тогдашнему душевному настрою. Я хотел увидеть райскую долину, а уж потом заняться чем-нибудь серьезным.

В Вальпараисо я приехал в холодный, дождливый зимний день. Дул сильный ветер, и люди, плотно запахнувшись, торопливо бежали по улицам этого довольно грязного портового города на Тихом океане. Не было никаких пальм, и мокрый песок на пляже был черным от грязи.

Я все еще сижу в Буэнос-Айресе у стойки. Длительный перелет из Франкфурта, влажный воздух на Рио-де-ла-Плата и три стакана, которые приветливый mozo молча продвигал мне каждый раз вдоль стойки, как только у меня становилось пусто, — все это возымело свое действие. Но прустовский «эффект» ассоциативных воспоминаний о прошлом еще не утратил своей силы. Анекдотические сценки-картинки того времени так и мелькают перед моим мысленным взором. Конечно, они всегда появляются, когда примешь больше нормы.

Вилли Брандт, тогдашний министр иностранных дел в правительстве Кизингера, прибывший с официальным визитом в Аргентину и открывший нашу книжную выставку в Буэнос-Айресе панегириком в честь великого аргентинского писателя Х. Л. Борхеса, стоял перед одним из стендов и, похоже, заинтересовавшись, листал какую-то книгу, протянутую ему Клаусом Тиле. Я держался чуть в стороне, поскольку это была моя первая выставка и Тиле как бы показывал мне, как это делается.

Вдруг я вижу полуслепого (некоторые утверждали, что он вовсе не слепой, а только укрывается за мнимой слепотой от диктата властной девяностолетней матери, так-то вот!), беспомощно стоящего в углу Борхеса, беру его под руку и веду к стенду, туда, где находится министр. Одновременно подтягивается аргентинское телевидение с включенной камерой и слепящими прожекторами. Происходит следующий короткий диалог. Но чтобы понять этот необычный разговор, необходимо знать следующее: для Вилли Брандта наступил святой час, когда

позади у него остался тяжелый и напряженный день в условиях этого влажного тропического климата и он выкроил наконец минутку для коньячка.

— Господин министр, позвольте представить вам лично писателя, творчество которого вы так подробно осветили в вашей речи.

Подчеркнуто прямая осанка, протянутая для приветствия рука, знаменитая приветливая улыбка Вилли Брандта — и… ответ министра:

— Я-я-я-оче-е-да-а-ра-ад-э-э-бра-во-да-а!

Я оглядываюсь растерянно — поблизости никого, кто мог бы помочь.

— Извините, господин министр, боюсь, вы не так меня поняли. Это господин Борхес — великий аргентинский писатель!

Министр с сочувствием посмотрел на меня, выдал еще более широкую улыбку и произнес погромче:

— А-а-я-я-’вы-чай-но-о-ра-ад-встре-е-че!

На этом разговор закончился.

На следующий день я видел эту сцену по телевизору: министр иностранных дел ФРГ радостно приветствует на выставке немецкой книги великого аргентинского писателя! И, без сомнения, так оно и было. Только на оригинальный звук наложили голос комментатора.

Я восхищался им, Вилли Брандтом, — и когда он демонстрировал свою значительность в такой неподходящий для него момент, и позднее, на заключительном коктейле, где мне все же удалось свести обоих для настоящей продолжительной беседы.

Приветливый бармен озабоченно глядит мне в глаза, протягивая очередной стакан своей подозрительной бормотухи:

— Esta bien? (С вами все в порядке?)

— Bastante bien! (Чертовски хорошо!) — выдаю я еще не совсем заплетающимся языком и залпом выпиваю этот божественный напиток. — И сделайте мне еще, пожалуйста, крекеры с ветчиной!

Когда я сегодня об этом думаю, то понимаю, что та первая встреча с такой высокой особой, большой политической личностью, была для меня ключевым моментом моих первых зарубежных впечатлений.

Все, кто был до меня и кто пришел потом на эту удивительную работу в отдел зарубежных выставок при Франкфуртской книжной ярмарке-выставке Биржевого объединения германской книжной торговли (сокращенно: AUM), тоже как бы переходили во время первых заграничных командировок свой Рубикон.

Все мы работали раньше либо в книжных магазинах, либо на мелких должностях в издательствах, — одним словом, вышли из очень ограниченного мирка. Так называемый «высший свет» министров, послов, известных писателей, журналистов и художников, жизнь в фешенебельных отелях, аэропорты и бары мы знали в лучшем случае по книгам, кинофильмам или тогда еще не полностью завладевшему нами телевидению. И были совершенно не подготовлены, впервые попадая в этот мир.

Конечно, мы знали хотя бы один иностранный язык и не раз были в отпуске за границей. Ну и что с того?

К этой первой выставке мы хорошо подготовились еще во Франкфурте: целиком и полностью собрали экспозицию, упаковали книги в ящики, сделали рекламные плакаты и буклеты, возможно, и о стране кое-что почитали.

Но все это происходило в рамках привычной нам жизни: к восьми в контору, дела в типографии, потом к экспедиторам, потому что все должно быть отправлено вовремя морем или грузовыми контейнерами и надо утрясти с ними сроки отправки, а затем споры с начальством, ссоры с коллегами и снова встречи, споры, сроки, и так до шести вечера, а там — домой или в кабак.

Вертишься, вертишься, и вдруг наступает момент, когда пора уже отправляться в дальний путь, к месту твоей первой выставки, и все, что планировалось и собиралось в течение долгих месяцев, должно одновременно сойтись в этом пункте, включая тебя самого. Набиваешь карманы деньгами — международные переводы стоят слишком дорого — и вперед!

Прибытие на место напоминает внезапную, я бы сказал, скачкообразную метаморфозу, наподобие превращения гусеницы в бабочку, выпорхнувшую из тесного кокона. Краски становятся ярче, запахи сильнее, словно вдыхаешь их впервые, шум преображается в особую музыку, а все иностранцы, которых ты собираешься «осчастливить» немецкой книжной выставкой, кажутся тебе родными…

И хотя не следует преувеличивать, это все-таки незабываемое впечатление, когда оставляешь зажатую в тиски родину позади и вступаешь в мир, где нет ни границ, ни контроля. Живешь в отелях, и мелочи повседневной жизни, как то: стирка белья, еда и т. д., решаются сами собой. Ночь переходит в день — радующие душу возлияния размывают между ними границу.

Некоторым из коллег не удавалось иногда выдержать такого испытания. Когда их приглашали в посольство на прием, где политики вели с ними серьезные разговоры на равных, а журналисты внимали им и спрашивали их мнение о вещах, в которых они ровным счетом ничего не понимали и потому несли

бог знает что, им вдруг ударяло в голову, что все внимание направлено лично на них и на то, что они такое еще могут изречь.

Я не буду называть имен тех, у кого как бы случилось раздвоение личности и кто, напыжившись, словно лягушка-путешественница, носился вояжером по белу свету, а потом никак не мог уменьшиться в размерах и вписаться в скромные «родные» пенаты — франкфуртскую контору с ее жесткими требованиями неукоснительного соблюдения привычных норм под неусыпным «диктаторским» оком нашего строгого бухгалтера — фрау Ленц, чья тирания была абсолютно оправданна, и не только тем, что нам постоянно угрожало ревизиями министерство иностранных дел, за спиной которого грозно маячило министерство финансов, в свою очередь, дрожавшее перед всесильной федеральной Счетной палатой, но еще и тем, что позволяла наконец освободиться от вороха счетов и накладных, финансовой паутиной опутывающих любую выставку. Душа успокаивалась, видя, как все, что «там» представлялось иначе и отчего лопались мозги, и не только у тебя одного, самым ординарным способом вписывается в бухгалтерские графы, учитывается в виде расходов, работающих на наш успех, спокойно переводимый на язык родных конторских категорий, что позволяет написать грамотный отчет, который будет потом убран в дальний ящик.

Короче говоря, это были те, с кем отдел вынужден был своевременно распрощаться. Эта участь постигла и того человека, вместо которого в Вальпараисо поехал я. Через несколько лет мне самому пришлось уволить из-за тех же симптомов нового руководителя отдела. Конечно, случалось и так, что инкубационный период затягивался и нить, связывавшая франкфуртского «астронавта» с запустившей его AUM, рвалась чуть позже, если все же не представлялось возможным оправдать «такое» его поведение «там». Но решающей, как правило, все-таки оказывалась первая выставка.

Почему же тогда пощадили меня? Почему я сижу сегодня в этом баре, в этой гостинице в Буэнос-Айресе и таращусь стекленеющими глазами в зеркало за бутылками, оглядываясь на выставку, которая 25 лет назад была для меня первой?

Уже тогда я был восхищенным поклонником Вилли Брандта. Я даже вспоминаю, как видел его однажды во сне, в роли своего родителя — он подошел ко мне совсем близко… Именно он был той фигурой, кто мог бы стать для молодого поколения «отцом» в период поголовной безотцовщины, гарантом становления немецкой идентичности.

И вот он передо мной живьем. Я взволнован как никогда! Как мы вкалывали! По семнадцать часов в сутки, много дней подряд,

чтобы только все было в лучшем виде, когда Вилли Брандт откроет выставку. Наконец он появляется (вместе с Эгоном Баром), церемония открытия проходит как надо, на должном уровне — без сучка без задоринки. Мы оба вне себя от радости, просто обалдели от чрезмерного напряжения и алкоголя, не дающего почувствовать усталость. Он стоит совсем рядом! Первая возможность вступить с ним в личный контакт. А тут еще Борхес, и аргентинское телевидение, и потом это: бу-бу-бу!

Воздух из раздувшейся от важности лягушки-путешественницы мгновенно вышел. Меня охватило разочарование. Я сразу протрезвел и проникся сочувствием к этому человеку, который, очевидно, плохо себя чувствовал. Глубоко сопереживая, я вмешался в ситуацию, взял все в свои руки и обеспечил ему достойный уход со сцены.

Конечно, задним числом я все несколько преувеличиваю. Но факт остается фактом: за время торжественной церемонии открытия я спустился с облаков обуявшей меня эйфории, впав, можно сказать, в детское удивление, распространившееся на этого человека, равно как и на сами обстоятельства, и наступило пробуждение — ощущение, которое тайком посещает меня иногда еще и сегодня и которому, как мне кажется, я обязан тем, что выстоял и профессионально в этом сумасшедшем мире информационного бизнеса и махинаций, противостояния интересов и проявления человеческих слабостей.

Удивляюсь, что мне удалось сохранить работоспособность, не став при этом циником. Правда, само удивление способно, во-первых, сохранять целостность натуры того, кто удивляется, а во-вторых, не требует от него при этом окончательных ответов.

Друзья мои, берегите способность удивляться, ибо как только это исчезнет, вам останется лишь пассивно восторгаться!

Глава 2
Что означает в этом деле «успех»?

На нашей выставке в театре «Сан-Мартин», открытой с 16.00 до 24.00 в течение одиннадцати дней, побывало в общей сложности около 15 000 человек. Это был впечатляющий успех. Выставка, на которой мы показали 2760 книг, преимущественно на немецком языке и в основном библиографического характера, вне всяких сомнений, представляла интерес только для узкого круга лиц.

Как она сумела привлечь к себе столь внушительное число посетителей в этом тогда почти семимиллионном латиноамериканском столичном городе, в котором насчитывались сотни кинотеатров и театров, тысячи ресторанов и кафе, где всю ночь напролет едят, пьют и горячо спорят?

Я бы солгал, если бы стал утверждать, что этот успех был неким образом связан с моей скромной деятельностью в Буэнос-Айресе. Я лишь соучаствовал, изо всех сил стараясь научиться тому, от чего зависит успех подобных мероприятий, а кроме того, пытался еще отделаться от нервозного Клауса Тиле (который должен был вводить меня в Буэнос-Айресе в курс дела!), чтобы составить собственное представление о характере работы на передвижных выставках немецкой книжной торговли.

Клаус Тиле блестяще подготовил эту выставку, но в связке с нами там был еще третий участник — Понтер В. Лоренц. В его обязанности входило приносить удачу.

Гюнтер Лоренц был, по сути, совершенно некоммуникабельным, скорее даже, наоборот, чопорным человеком. После немногих, довольно эффектных поездок в Курдистан в качестве корреспондента и искателя приключений этот человек переключился на вызывавшую большой интерес и становившуюся тогда на ноги литературу латиноамериканских стран, в том числе и на ее создателей тоже. В узких литературных кругах он приобрел особую известность как автор вышедшего в издательстве «Эрдман-ферлаг», Тюбинген, сборника интервью «Диалог с Латинской Америкой».

Везде, где бы он ни был, Лоренц выдавал в свойственной ему профессорско-менторской манере хвалебные отзывы о той латиноамериканской литературе, которую знал главным образом только он сам да небольшая группа немецких испанистов, и вовсю критиковал глупую и ленивую западную общественность, еще не открывшую для себя величие этой литературы.

Когда в тех странах, где элитные круги ориентируются исключительно на западноевропейскую или североамериканскую культуру, а все свое находят недостойным и даже просто нестоящим товаром, вдруг слышат, что иностранцы, особенно европейцы, говорят о значимости их родной литературы, это вызывает широкий отклик в патриотических сердцах и бросает вызов местным интеллектуалам, а в их лице и всей национальной прессе.

Две радиостанции, один телеканал и самая большая аргентинская газета «La Nación» посвятили Гюнтеру В. Лоренцу несколько подробных интервью. В конце концов он стал так «знаменит», что одна из телекомпаний пригласила его стать членом жюри на конкурсе «Мисс Аргентина».

Кое-что от этой «известности» перепало и выставке: город Буэнос-Айрес выразил нам благодарность за длительное пребывание в их стране «нашего профессора».

Но необыкновенную популярность обеспечивали не только его интервью. Благодаря своей работе над книгами и переводами у Гюнтера В. Лоренца установились хорошие контакты со многими тогдашними знаменитыми авторами латиноамериканской литературы, такими, как Марио Варгас Льоса, Роа Бастос, ди Бенидетти, Адониас Фильо, а в Аргентине особенно с Эрнесто Сабато, чей самый известный роман — «О героях и могилах» — был только что издан по-немецки в Германии. Прочитав этот роман, я впервые встретился с латиноамериканской литературой, а моя душа словно побывала уже в Буэнос-Айресе еще до того, как я ступил на эту землю.

Дружба с великим и известным аргентинским ученым и прозаиком быстро обеспечила Лоренцу признание и среди других аргентинских писателей и интеллектуалов, так что в конце концов даже эссеистка Виктория Окампо, не благоволившая к общественности, но пользовавшаяся в Аргентине славой литературного мэтра, появилась на церемонии открытия, что, естественно, поспособствовало тому, чтобы самые широкие, интересующиеся литературой круги отдали дань нашей выставке.

Мы сделали кое-что еще, чтобы выставка не прошла незамеченной. Впервые поручили Марии О. де Херцфельд обеспечить нам информационную поддержку в местной прессе, с которой у нее были прекрасные отношения. Мария О., немного нервная, рыжеволосая дама в «самом расцвете лет», еврейская эмигрантка из Берлина, вхожая во все круги общественности, звонила каждое утро в семь часов Клаусу Тиле в гостиницу (заметьте, наш «рабочий день» никогда не кончался раньше четырех часов утра!) и сообщала об успехах прошедшего дня в

форме пресс-релиза:

— «La Prensa», Клаус, как-никак вторая по величине ежедневная газета, отвела сегодня выставке целую полосу с иллюстрациями, вникни, Клаус, целую полосу!..

Клаус Тиле, разъяренный этим темпераментным вмешательством в его беспробудно-мертвецкий сон, все же выглядывал из окна, выходившего во двор, и орал в направлении моего номера, расположенного напротив, но чуть наискосок:

— Эй, Че! У Марии О. целая полоса в «Пренсе»!

Это как нельзя лучше говорит о терпимости наших соседей по аргентинской гостинице — они никогда на нас не жаловались, как бы громко мы ни орали.

Посещение министра иностранных дел, великолепные отклики в прессе, подготовленные Понтером В. Лоренцом и Марией О. де Херцфельд, а также предпринятая нами интенсивная рекламная кампания (было расклеено 800 плакатов, роздано 30 000 листовок, размещено в газетах Буэнос-Айреса 35 рекламных объявлений, посетителям выставки вручено 5000 каталогов) привели к грандиозному публичному успеху. Мне повезло, что на первой же своей выставке я приобрел принципиально важный для всей моей дальнейшей работы опыт.

Конечно, сухие статистические данные о количестве посетителей не могут передать истинной сути того, что на самом деле несет с собой такая выставка. Еще тогда, во время той первой выставки, особенно в связи с тем, что я совсем не собирался продолжать заниматься этим и дальше, я спрашивал себя, а что мы здесь, собственно, делаем? Что за информацию распространяем и каким образом? Можно ли как-то определить, что из тех сжатых сведений, собранных к тому же на чужом для этих краев языке, достигнет цели?

Этот вопрос с тех пор так и не отпускает меня. В Коломбо или Нью-Йорке, в Токио, Париже, Порту, Кабуле или Яунде я все время спрашиваю себя: чем мы, собственно, здесь занимаемся?

На всех церемониях открытия я все время слушал одни и те же официальные речи, заканчивавшиеся нравоучительным призывом: читайте, читайте! Читать полезно! И при этом сами ораторы, принадлежавшие чаще всего к высшим и средним слоям общества, эта разодетая в честь торжества элита, едва ли были способны прочесть выставленные иностранные книги, то есть вобрать в себя и использовать заключенную в них информацию, не говоря уже о толпящихся перед входом массах народа! Какой же смысл в этих финансовых и людских затратах, если содержание выставляемых книг остается в основном закрытым для всех и нерасшифрованным?

Эти вопросы годами жгли мне душу. И оставаясь так долго без ответа, беспокоили меня, словно заноза в одном месте, и подталкивали к тому, чтобы все время прилагать больше усилий и предпринимать все новые попытки для достижения цели!

Когда я впоследствии стал руководить отделом зарубежных выставок Франкфуртской книжной ярмарки, то вместе со своими коллегами приложил немало усилий, чтобы облегчить посетителям знакомство с немецкими книгами.

Общаясь с интересующимися выставкой посетителями, приезжавшие с нами эксперты каждый раз убеждались, *какой вещью в себе* оказывалась отраженная экспозицией тематика книг, дающих представление об интеллектуальном развитии научной мысли в Германии.

Наша выставка была словно оркестр, играющий перед иностранной публикой. Хорошую, тщательно подобранную экспозицию можно сравнить с прекрасно звучащим музыкальным ансамблем, исполняющим мелодии современности. И когда удается найти и привлечь на выставку *свою* публику, то высекается та самая заветная искорка и постепенно завязывается диалог.

Иногда — светлые моменты в нашей работе, к которым мы не просто стремились, а боролись за них, — нам удавалось разжечь эту искорку и начать диалог. Но этому всегда предшествовал долгий и трудный путь, требовавший виртуозности от творчески одаренных сотрудников.

Но даже при качественной подготовке с полной отдачей сил иногда все же случалось так, что искорка межчеловеческих контактов в чужой стране так и не пробегала.

Всегда особенно важно было верно определить потенциальные целевые группы посетителей и увязать с этим методы коммуникации, то есть осмысленную и целенаправленную рекламную кампанию, сопутствующую книжной выставке.

Большое внимание мы уделяли наглядности экспозиции, ставя перед собой цель помочь посетителям полнее и ближе ознакомиться с информацией, которую несут в себе выставленные книги. Достигалось это благодаря разбивке книг на небольшие тематические группы и размещению их на четко оформленных стендах или маркировке отдельных групп образной символикой.

При этом общий логотип выставки должен был непременно включать в себя эти символы, адресованные целевым группам посетителей, чье внимание они были призваны привлекать, зазывая на выставку.

Во время нашей аргентинской выставки все эти так

называемые программные разработки находились еще в самом зародыше. «Обучаемся в процессе работы» — вот наш тогдашний девиз! И что удивительно — там ненаучно и непроизвольно происходило все то, что мы позднее начали планомерно внедрять в нашу работу: так, например, логотип аргентинской выставки, украшавший плакаты и каталог, неожиданно получился таким — хотя это никому не бросилось в глаза в период подготовки, — чему мы потом дали определение «суггестивный символ».

По финансовым соображениям мы поручили разработать плакат для этой выставки юной студентке полиграфического училища в Оффенбахе. Она сделала это с энтузиазмом и большой увлеченностью цветом. Желтые буквы слова «Libros» («Книги») наполовину скрывались под контурами облака с обрывками речи, но слоги позволяли, однако, распознать написанное яркими, чувственно-сочными красками — в гамме от красного до фиолетового — ключевое слово «ex-p-p-po-si-i-ci-i-yn!». Вся композиция была выполнена очень ловко и искусно, а на букву «L» в слове «Libros» капнула краска и, размыв нижнюю часть буквы и изогнув ножку, превратила ее в «S», так что все, бросив беглый взгляд, читали «Sexpo».

Злые языки приписывали потом наш успех в Буэнос-Айресе именно этой визуальной промашке. Тем более что как раз в то время в зашоренном католическом Буэнос-Айресе, изнемогавшем под пятой военной диктатуры генерала Онганиа, не первый уже месяц шел, вызывая ажиотаж, немецкий эротический фильм, хотя и сильно урезанный — «Хельга» Освальда Колле, — и от немцев и их «автопортрета», пусть в книжном исполнении, тоже наверняка ждали чего-то особенного, предвкушая «клубничку».

Ну, тогда кто же мог нам сказать, был ли вообще «успех»?

Статистика проведения книжных выставок — дело совсем непростое. Попытаться отследить успех, абстрагируясь от учета числа посетителей, конечно, можно, прибегнув к обработке спонтанных сообщений в прессе и сравнивая высказанные в них оценки.

Не менее трудно проконтролировать, повлияла ли выставка на рост продаж книг в местных книжных лавках. В лучшем случае, общую картину коммерческого успеха выставки может дать проведенный спустя несколько недель анкетный опрос, редко когда оказывающийся авторитетным. Определенную надежду мы всегда возлагали на тщательно выполненные каталоги, которые раздавали проявляющим особый интерес посетителям. Отправными точками в известной степени могут также служить предлагаемые на выставках посетителю вопросы в письменном виде, но на них реагирует, как правило, лишь

небольшая часть доброжелательно настроенной публики, давая корректные и полноценные ответы.

Подлинный успех, настоящий «фейерверк», произведенный хорошей экспозицией, могли, собственно, оценить только приезжавшие вместе с нами из Франкфурта эксперты выставки. Но их оценки опять же могли оказаться крайне субъективными и плохо «вписывались» в реестр административных оценочных критериев, которыми оперировали наши финансовые спонсоры. И потому нам оставалось только цепляться за безликие цифры, отражавшие число посетителей, и хотя они мало что говорили об истинном успехе выставки, зато безоговорочно признавались всеми как убедительный критерий успеха.

Анализы наших книжных выставок, которые мы каждый раз проводили по окончании показа крупной экспозиции, четко выявили, что эти проекты требовали, помимо желания работать творчески, прежде всего огромной добросовестности при подготовке каждой выставки, когда надо было постараться по возможности заранее исключить любую неожиданность и просчет, какие только могли возникнуть.

Глава 3
В Кордове как на Луне

Такого рода мысли были для меня тогда далеким будущим. Но уже в Буэнос-Айресе я начал подвергать сомнению все, что и как мы делали. Определенно невозможно было и дальше вести дело так, как его начал в 1950 году д-р Вильгельм Мюллер, а затем продолжили Зигфред Тауберт и вместе с ним д-р Мюллер-Рёмхельд, Ганс Штельтен и Клаус Тиле.

Послевоенное время, когда мир с любопытством следил, что же там такого нового опять народилось в этой ужасной Германии, окончательно миновало. Уже было недостаточно просто выложить на стол несколько тысяч немецких книг и объявить в газетах, что вот, мол, мы уже прибыли. Сначала надо было все как следует разведать, предварительно *порасспросить*. Это слово не сходило в те дни с наших уст.

Прибытие в аэропорт Эсейса в Буэнос-Айресе, 1968 г.

И потому я опять сидел в самолете внутренних линий аргентинской авиакомпании «Austral», следовавшем рейсом в расположенную в 750 километрах от Буэнос-Айреса Кордову — вторую остановку на пути к заветной цели моей мечты — Вальпараисо.

Мне было плохо, я чувствовал себя обессиленным, болела голова. Полуночные посещения известного своими танго заведения «El viejo Almacén», ночные бдения в кабаках итальянского увеселительного квартала Ла-Бока, многочисленные новые знакомства… Я чуть не «обручился» с маленькой студенткой юридического факультета. Правда, в тот вечер, когда меня представляли ее отцу, аргентинскому генералу ВВС(!), я установил, что ее сестра нравится мне еще больше. А потому поторопился поскорее забыть всю эту историю.

Моя первая выставка и время пребывания в фантастическом городе Буэнос-Айресе прошли словно в непрерывном угаре. И вот я сидел в самолете, глядел вниз на бескрайние просторы Пампы и думал о том, что со всем этим пора кончать.

Вся ответственность за дальнейшую судьбу выставки ложилась теперь на меня. Клауса Тиле, находившегося в состоянии сильного подпития, мы посадили в самолет на Мехико, где он собирался навестить одну мексиканку, которую знал еще по Германии. Позднее он женился на ней и насовсем перебрался в Мехико. А Гюнтер В. Лоренц влюбился в одну «porteca» (так в Аргентине называют жительниц Буэнос-Айреса) по имени Хайдэ, на которой он тоже впоследствии женился и по сей день живет с ней в Шварцвальде. К счастью, я в очередной раз избежал этого и был благодарен судьбе, что безумное время наконец-то позади. Я решил серьезно сконцентрироваться на работе, в конце концов я взял на себя, пусть и на какое-то время, обязательства по ее выполнению.

Но у этого южного континента свои законы, и я был лишь на подступах к тому, чтобы чары, исходившие от него и обитающих тут латиноамериканцев с их особым темпераментом и шармом, околдовали и меня. Я даже не подозревал, что пребывание в этом втором аргентинском городе настолько перевернет мою жизнь.

Если бы я прочел роман века «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса до того, то, может, не попал бы в Макондо, избежал бы встречи с Буэндиа, не вошел бы в «семью», связав себя брачными узами. От скольких разочарований и горечи я был бы избавлен, но мои потери при этом были бы неизмеримо большими, и лишение себя этого особого опыта человеческих отношений сильно сказалось бы на развитии моей личности, расширении моего все еще очень провинциального горизонта мышления.

Броситься с головой в другую, чуждую культуру, которая встречает тебя так настороженно, притом погрузиться в нее безоглядно, так глубоко и основательно, что уже и сам не знаешь, кто ты такой, и затем начать формировать себя с нуля, шаг за

шагом, каждый раз внимательно всматриваясь и взвешивая, а стоит ли это того, чтобы стать частью нового человека, у которого уже мало что общего с прежним, — такой катарсис могла свершить только любовь, любовь двух человек разных культур и разных социальных структур, предпринявших попытку сойтись вместе, делая навстречу друг другу шаги на узеньком мостике языкового общения.

Гюнтеру В. Лоренцу удалось уговорить Эрнесто Сабато поехать с нами в Кордову и выступить у нас на выставке. К нашей маленькой труппе литературных циркачей присоединился еще один широко известный в Аргентине человек — бард и гитарист Эдуардо Фалу. Вот как обстоит дело в этой стране: ради дружбы ничего не жалко, даже если ты большая знаменитость.

Мы выступили дружной веселой кучкой на службе немецкой литературы, чего оба аргентинца и в мыслях не держали. Они просто хотели помочь другу, чтобы тот имел в их стране успех в своем деле. Я чувствовал, что все здесь как-то немного не так, как у нас, и испытывал удовольствие от умных и довольно ироничных диалогов, смысл которых, насколько это было возможно, переводил мне Гюнтер Лоренц.

Расположенный в предгорье Сьеррас-де-Кордова индустриальный город насчитывал тогда лишь 750 000 жителей (сейчас более трех миллионов), а в то время он как раз стремительно рос, обгоняя более крупный Росарио. Старый иезуитский центр Кордова, оспаривающая звание старейшего университета Южной Америки у перуанской Лимы и с гордостью называющая себя «la docta», подвергалась суровым гонениям со стороны жесткой националистической, почти фашистской политики провинциального милитаристского правительства. Студенты ввязались в опасную конфронтационную борьбу против политики «дубинки», проводимой военными, и им было совсем не до «немецкой книжной выставки» в их городе. Ежедневно случались аресты и были даже известны случаи пыток Студенты устраивали смелые, не лишенные изобретательности акции протеста, славу которых затмили разве что вооруженные выступления кордовцев. Стоило однажды разогнать студенческую манифестацию сворами собак, как студенты появились на следующий раз с мешками, набитыми кошками, которых они неожиданно вытряхнули, когда на них снова спустили собак.

В этой напряженной обстановке, к тому же на сорокаградусной жаре, я делал все возможное, чтобы собрать стенды и открыть выставку, проходившую под патронатом военного(!) министра культуры провинции Кордова и размещенную на двух этажах расположенного в центре города

радиовещательного центра Radio Nacional, куда было приглашено примерно 250 гостей.

Пресса Кордовы, в отличие от Буэнос-Айреса, несмотря на специальное приглашение, звонки по телефону и даже личные визиты в редакции, на открытие не явилась. И то, что потом тем не менее все же опубликовали в прессе, было подготовлено в виде готовой для печати статьи либо нами, либо филиалом Гёте-Института в Кордове, лично доставлено и передано в руки непосредственно главному редактору.

Круглый стол с участием Сабато, Лоренца, кордовского переводчика Дюрренматта Альфредо Кана, три немецких художественных фильма, месса Шуберта в самом почитаемом соборе Кордовы и любительский спектакль «Ганс Сакс» на испанском языке хотя и вызвали наплыв посетителей, но едва ли способствовали привлечению внимания к выставке.

В конечном итоге мы насчитали 3700 посетителей. Чтобы посмотреть выставку, прибыло много аргентинских немцев из бывших колоний в этой провинции. Этих людей привела сюда ностальгия. Часть из них приехала с нелепыми представлениями о Германии, застрявшими в их мозгах, они чувствовали себя разочарованными, не находя на выставке тому подтверждения. Интерес же местных интеллектуалов к немецкому языку и самой нашей выставке в отличие от Буэнос-Айреса тоже был очень невысок.

Мне не хотелось этому верить. День и ночь я был на ногах, разносил по разным учреждениям города плакаты и проспекты, ходил по редакциям газет и радиостанций. Ведь это была первая выставка, за которую я отвечал самостоятельно!

В бесплодных хождениях меня все время сопровождала сотрудница Гёте-Института, отвечавшая за культурные связи с общественностью. Это была серьезная темнокожая женщина с ярко выраженными чертами лица индианки. Она прекрасно говорила по-немецки, с немного резковатым акцентом, и полностью соответствовала типу аргентинских интеллектуалов, так недоставивших мне на выставке. Мой интерес к этой женщине, излучавшей столь удивительно волевой и в то же время очень женственный шарм, рос с каждым днем.

Во время наших многочасовых мытарств я начал расспрашивать ее о ней самой, о ее семье. Она была замужем, но жила отдельно от мужа, в то время в Аргентине не было разводов, у нее было двое детей, шестилетний сын и двухлетняя дочь. Ее отец, известный геолог, был деканом университета, мать — биолог, также профессор университета. Лозунги на стенах «Libertad para Marta» («Свободу Марте!»), которые можно было

видеть повсюду в городе, имели прямое отношение к ее сестре — она была коммунисткой и сидела в тюрьме.

Однажды вечером, когда мы совершенно без сил от поездок на жаре в течение целого дня по городу вернулись назад в центр, я пригласил ее на ужин в один ресторанчик, чтобы вместе отведать прекрасный аргентинский стейк.

Я хотел больше знать об этой стране, ее людях, их жизни и образе мыслей. Я расспрашивал горячо, без устали. Все мои вопросы свидетельствовали о полном невежестве или обывательском любопытстве и страсти к познанию, и она каждый раз смеялась, когда я спрашивал примерно в таком духе:

— А что вы думаете по поводу сегодняшней политической обстановки в вашей стране?

Она смеялась, но смех был невеселый, а потом говорила о гнетущей ее ситуации с сестрой, о карательных мерах со стороны военных, о взрывоопасных настроениях в университетах. И тогда я чувствовал напряженность, интенсивность ее жизни и всех тех, о чьей борьбе она рассказывала. Мне сразу захотелось во все это вмешаться, стать их соучастником.

Мы разговаривали до тех пор, пока ресторан не закрылся, тогда мы перебрались в соседний парк, где, лежа головой к голове на прохладной каменной скамейке, продолжили нашу беседу до рассвета.

Ощущение было такое, что я попал на Луну. В ту ночь, глядя в бесконечное пространство южноамериканского звездного неба, в тысячекратном окружении стрекочущих сверчков, я вступил на каменистый путь любви к этому континенту.

Я понял, что все здесь меряется мерками иной гуманности, чем на нашем оппортунистическом и обедневшем по части человеколюбия континенте. Южная Америка, этот гористый континент, таит в себе живительную силу, переходящую в жилы и кровь его обитателей, которым постоянно приходится иметь дело с масштабными стихийными бедствиями, уготованными для них могучей природой, а частенько и ее грубыми необузданными антиподами в человечьем обличье, отчего в крови и сердцах латиноамериканцев крепнет упрямая любовь ко всему человеческому. Камень и кровь стали для меня природными составляющими этого континента, на который я обратил в ту ночь свой взор и захотел с того момента познать и изучить его.

В ту ночь произошло еще кое-что. Я познакомился с типично латиноамериканским явлением. Конечно, подобные заведения есть и в других частях света, но не в такой цивилизованно развитой форме, акцептированной обществом и даже «признанной» народом.

Когда мы поднялись на рассвете со скамейки, где связали себя сказанными в ночи словами, и встали наконец лицом друг к другу, то поняли, что между нами, людьми совершенно разного происхождения и разного жизненного опыта, перекинулся мостик. И мы решили пойти по нему на сближение.

Мы медленно направились к расположенной неподалеку главной улице. Остановилось такси.

— Ты должен сказать: A un hotel para horas, — шепнула она мне в ухо.

Я захлопнул дверцу.

— A un hotel para horas! (В гостиницу «на час»), — выдавил я сквозь зубы.

— Э-э? — Таксист явно не понял.

Я постарался произнести более четко.

— …un hotel para horas!

Непонятливость шофера усугубляла ситуацию, делая ее все более щекотливой. Он полностью развернулся к нам и бесцеремонно переводил взгляд с «черной» женщины на гринго и обратно.

— Que-e-й quieren? (Че-го-о вы хотите?)

— Un hotel para horas! — произнесла она звонким голосом.

Водитель еще раз глянул на одного и другого, кивнул и поехал. Мы покинули город. Мне казалось, мы ехали бесконечно долго. Наш разговор смолк. Я смотрел в окно машины.

Людей на улицах еще не было. По одну сторону дороги дома стояли погруженные в ночь, по другую на них надвигался вместе с белыми облачками, освещенными первыми лучами восходящего солнца, новый жаркий день. Наконец мы завернули на территорию, окруженную, словно крепость, высокими каменными стенами. Мы объехали небольшую площадку: перед трехэтажным зданием навес, завешенный с трех сторон тяжелыми коврами. Такси останавливается только тогда, когда мы въезжаем под боковой ковер. Навстречу выходит гостиничный слуга в ливрее и молча протягивает раскрытую ладонь.

— Сколько?

Я кладу ему на ладонь деньги. Мы входим в белый лифт и поднимаемся наверх. Вот дверь лифта отворилась, и перед нами опять стоит слуга в ливрее.

— Что вы желаете? Шампанское? Сей момент!

Он возвратился с бутылкой и двумя бокалами, открыл дверь. Мы вошли в чистую белую комнату. Я заплатил. Он тихо затворил за собой дверь. Мы остались одни.

Дора В. с «товарищем» Ферро, который позже еще сыграет свою роль в нашей жизни

Ее звали Дора В., подруги называли ее «negra»[3] — своими густыми черными волосами и темной кожей она выделялась даже среди аргентинцев. Я стал звать ее «негритосик», потому что «Дора» звучало слишком по-немецки.

Семья вела отдаленное происхождение от последнего

княжеского рода инков Гарсиласо. Этот божий наместник, равно как и светский правитель, обладал в своих владениях «правом первой ночи» и потому сотни первенцев новобрачных — потомков этого легендарного князя — бегали в регионе Анд, этом месте бывшего поселения инков.

Я сообщаю об этом, поскольку мне казалось, что эти люди, которых я вдруг получил право называть «моя семья», сохранили в себе чрезвычайно много от индейского образа мыслей и поведения и очень мало от европейского менталитета испанцев или итальянцев.

В особенности отец, дон Рамон, с его широким приветливым лицом — скуластым, как у старого касика[4], — и манерой поведения, непредсказуемой даже для собственной семьи. Легенд, сложенных о нем за последние десятилетия — ему было уже под восемьдесят, когда я с ним познакомился, — хватило бы на несколько книг. И частенько случалось так, что местные радиостанции пересказывали их в эфире…

Этот своенравный человек так и остался безбожником, когда мрачный католицизм уже безраздельно доминировал на Латиноамериканском континенте. Поговаривали, что, еще будучи молодым человеком, он залез в начале двадцатых годов на колокольню церкви в своей родной общине в провинции Ла-Риоха и помочился оттуда на идущих к воскресной проповеди прихожан.

Из-за какого-то дела, к которому его хотели принудить и с чем он никак не был согласен, он поставил свою кровать под платан на краю деревни, лег и не вставал с нее, по слухам, семь лет.

В середине двадцатых годов он вроде даже был министром некоего гражданско-революционного правительства в провинции Ла-Риоха. Когда же после трехдневного пребывания у власти какой-то оппозиционер прострелил ему руку, он все бросил и ушел домой.

Правдивы ли эти истории? Не знаю, но думаю, что да, потому что я видел старика не только во время проявления им дружелюбия, но зачастую и в периоды абсолютно неадекватного поведения. Удивляясь широте и многогранности человеческой натуры, я полюбил его.

И он, как ни странно, тоже любил меня.

— Alemancito, venga! (Немчик, заходи!) — звал он меня к себе и показывал пару старых немецких учебников по химии, оставшихся от профессоров, которые были его учителями. Шаркая по всему дому стоптанными башмаками, он уходил обычно в помещение, которое называл своей «лабораторией», —

квадратную комнату, заваленную с полу до потолка исписанными тетрадями, бесчисленными окаменелостями и пробами пород, разложенных по столам, а также цветными карандашными рисунками южноамериканских растений и цветов. Здесь он мог встать перед стеной с горой исписанных тетрадей, сложенных на полу, махнуть еще раз рукой на свой латиноамериканский манер — сверху вниз, подойди, мол, поближе, и, сунув два пальца в кипу тетрадей, вытащить оттуда небольшую коробочку.

— Venga! — позвал он меня опять, и, когда я склонился, почти уткнувшись носом в коробочку, он раскрыл ее. Я увидел темную тень, мелькнувшую по краю крышки, потом по тыльной стороне его ладони соскочившую на пол и шмыгнувшую в стопку тетрадей. Старик нагнулся, встал на колени и похлопал голыми ладошками вслед тени.

— Это самый ядовитый паук Южной Америки, — кричал он мне снизу, пока я в панике на цыпочках пятился из комнаты.

Или еще другой случай. Это было во времена его деканства в университете. Он должен был присутствовать с семьей в качестве почетного гостя на премьере в городском театре. Все женщины семейства принарядились и стали призывать старика, чтобы он тоже приоделся для похода в театр. Но дон Рамон в драной исподней рубахе и вытертых брюках стоял в своей «лаборатории», погруженный в неразрешимую научную проблему. Наконец уже пробило половину восьмого — до начала спектакля оставалось всего полчаса. Три разряженные женщины выросли на пороге «лаборатории»:

— Рамон, нам уже пора идти!

— Что? Ах, да!

Старик вытер пыль с рук о штаны, вышел, шаркая, из «лаборатории» и сказал:

— Ну пошли!

Женщины окаменели.

— Но не в таком же виде, Рамон!

Старик оглядел себя, покачал головой и зашаркал назад. Через минуту он появился в том же виде. Свой вычищенный выходной костюм он нес в левой руке на плечике, медленно приближаясь к объятым ужасом трем дамам семейства. Подойдя к ним, он швырнул им костюм и пробурчал:

— Вот! Идите с ним сами, — и исчез в своей «лаборатории».

Дни в Кордове изменили мою жизнь. Вальпараисо отошло вдруг на второй план. А я сделал первый шаг в чужую культуру, причем не так, как это делают туристы в своих поездках, оставаясь ординарными потребителями развлечений, а скорее как это бывало во времена Средневековья, когда путешественник

полностью вверял себя всему чужому, ожидая от путешествия облагораживающего очищения. К тому времени я действительно был готов отказаться от всего, что я собой представлял и кем был, и последовать в новую, незнакомую жизнь.

Но с другой стороны, это означало, что для такого авантюрного плавания мне понадобится прочный капитанский мостик, раз уж работа стала для меня кораблем, на котором я приплыл на всех парусах в неизведанную даль — чужую и близкую, полную реальных опасностей, собираясь, однако, бросить со временем якорь снова в том же месте, откуда вышел в плавание, — правда, в другом составе и другим человеком.

Работу, которую я начал как своего рода развлечение на период каникул, я стал воспринимать всерьез. Я уехал с обещанием своему новому маленькому семейству — ключик к романтическому приключению на чужбине, — что заберу их весной в Германию.

Из Кордовы я отправился за 880 километров в Уругвай, в Монтевидео, где в первых числах декабря так много значащего для меня 1968 года открыл третью гастроль нашей бродячей литературной труппы. Разумеется, подходя теперь к этому с совершенно иных позиций, чем оба предыдущих раза, как *«опытный»* специалист по выставкам, каким я себя уже считал, я с полным знанием дела серьезно приступил к работе: впервые принял участие в семи телепередачах, делая все возможное, чтобы с успехом провести эту выставку, хотя перепады погоды и скачки температуры с 42 градусов до 18, дожди и ураганные ветры требовали от посетителей небывалого энтузиазма.

Тем не менее свыше 4000 посетителей общим числом часами просиживали над нашими книгами, так что 21 декабря я уже смело паковал их в дорогу, собираясь отправить в Чили, чтобы самому спокойненько провести Рождество на белом песке Ла-Паломы на севере Уругвая.

По пляжу Ла-Паломы, на фоне бушующего моря, под изборожденным перистыми облаками южноамериканским небом носилась с развивающейся гривой белая лошадь.

Глава 4
Раннее (де)формирование

Классных вы поймали лошадей;
вороной — так загляденье, и все же:
стоило мне раз увидеть белого жеребца,
с тех пор не волнует меня ни один мустанг.
Дважды я почти схватил его за гриву,
но… ах, да это старая история.

Стихотворением неизвестного немецкого солдата в русском плену Ганс-Кристиан Кирш заканчивает свой «хиппи»-роман 1961 года «Продаться с потрохами». В этой книге автор, который станет позже печататься под псевдонимом Фредерик Гетман, создал как бы литературное отражение нашего неприкаянного поколения пятидесятых годов. Белый жеребец и потом еще не раз проносился галопом сквозь наши грезы и сны.

Он казался нам символом свободы, означал «не-дать-заарканить-себя» и, как сказали бы мы позднее, не позволить разным антиавторитетам манипулировать нами. Белая лошадь неслась впереди нас вдаль, вырывалась на простор, распахивая горизонт. Я сделался задумчивым, когда увидел ее на безлюдном пляже Ла-Паломы. Она вдруг возникла передо мной, словно явившись из прежних снов, с высоко вскинутой головой, гордая и, как мне показалось, немного кося хитрым глазом, потом встала на дыбы, сделала полуоборот и умчалась прочь.

Я мысленно оглянулся на свои «дикие» бродяжнические годы, на то, как вырывался из отечественных тисков на простор, мчался вдаль, уезжал «автостопом» в чужие страны, в полную неизвестность, окружавшую меня днем и ночью, когда даже крыши над головой не было, но где никто меня ни о чем не спрашивал, не требовал отчета и где не надо было оглядываться ни на родителей, ни на учителей, ждавших от меня этого.

В бегах от нудных будней в Мюльхайме-на-Руре: велотур по Бельгии и Франции в 1952 г.

Кто может описать ощущение счастья, охватывающее тебя, когда ты ранним летним утром со всем твоим несложным скарбом на горбу медленно покидаешь чужой город, еще не зная толком, куда держишь путь. Перед «бистро» расставляют на улице стулья, а от вымытого асфальта поднимается пар. Зеленщик раскладывает на витрине свежие фрукты, домашняя хозяйка в утреннем халатике и с бигудями в волосах поливает перед домом цветы в ящиках. Уличное движение еще немного ленивое, словно заспанное.

Будучи иностранцем, ты идешь по этим мирным улицам, жадно вбирая в себя новые впечатления, и не чувствуешь себя здесь чужим. Тут нет зажатости и тупиковости тех мест, откуда ты бежал. Твое сердце заполняет утренний мир и покой, разлитый вокруг.

А главное — там, впереди, на выходе из города, где тебя вновь поджидает бросившая вызов заманчивая даль и неопределенность. Полный неизвестности день и таинственная ночь!

Где ты после полного приключений дня преклонишь свою усталую голову, утром тебе еще неизвестно. Раскатаешь ли свой

спальный мешок в дырявом и продуваемом ветрами сарае, или на тебя снизойдет дорожное счастье и ты сладко уснешь в кровати под балдахином в замке, как однажды в том уэльском городке со множеством «л» в названии. Разделишь ли в келье северофранцузского монастыря одну большую кровать с двенадцатью голыми черными бушменами, или случится так, что будешь распевать походные песни с группой молоденьких английских девушек на хорошо натопленной туристской базе. А может, тебе придется спать сегодня между могил на протестантском кладбище в Афинах, в кустах близ Альгамбры под Гранадой, на парковой скамейке в Лондоне, на летней вилле вместе с тремя прелестными итальянками, которые подберут тебя на фоджийском пляже. Может, тебе придется удирать среди ночи из халупы близ Чесмы от досаждающей дюжины возбужденных турецких солдат или ты пропьянствуешь всю ночь в дешевом кабаке в компании клошаров на берегу Сены. Белая лошадь гарцует сквозь череду этих красочных воспоминаний периода моего бродяжничества с 1954 по 1962 год.

В эти годы я снова и снова удирал от провинциального убожества маленького городка Мюльхайма-на-Руре, где прошла большая часть моих школьных лет и где я познал те главнейшие лживые клише и постулаты «фатерланда», против которых всегда потом восставал. Как только первые весенние ветры начинали продувать улицы этого спокойного и невозмутимого городка, я не мог усидеть на месте. И уже стоял за городом на автобане, чаще всего на выезде в южном направлении, с гитарой в руках, рюкзаком за спиной и фыркающим и бьющим копытом воображаемым белым конем в голове, полной романтических иллюзий.

Поначалу это было спонтанное желание просто убежать куда глаза глядят, но чтение дневников и прозы Франца Кафки не прошло для меня бесследно, и постепенно я отчетливо понял, *что* обращает меня в бегство: отсутствие отца как примера для подражания и общий дефицит подлинных, спасительных авторитетов. То, что предлагалось взамен, — учителя, священник, мораль «так-не-следует-поступать», а «следует-так», речи горе-политиков, неизменный круг тем в разговорах родителей за «своим» столиком в ресторанчике за углом — все это были мнимые авторитеты, не находившие отклика ни в моей душе, ни в душах моих сверстников, к тому же давно уже затрепанные и насквозь лживые. Поколение старших опиралось на повиновение, на выхолощенные общественные устои, в которые практически давно уже никто из них не верил, поскольку историческое развитие довело все до полного абсурда.

В 1952 году я написал небольшой рождественский рассказ о бедном Нахтигале (Соловей), в котором и сегодня отчетливо ощущаю настроение и атмосферу тех мюльхаймских дней. Был сочельник, я с тоской смотрел из окна своей комнаты на оживленную, украшенную к Рождеству множеством золоченых звезд и перевитых красными лентами елочных венков, ярко освещенную и мокрую от дождя торговую улицу. Это было время, когда на Рождество зажигали свечи в память о «наших братьях и сестрах» в другой части Германии.

И тут я увидел среди суетливо спешащих людей пьяного. Он шатался из стороны в сторону, прислонялся, чтобы передохнуть, к витринам магазинов, не мог удержаться на ногах, падал, поскальзываясь на мокром асфальте, снова поднимался, заговаривал с пробегавшими мимо прохожими, но пожинал только отрицательные кивки головой. Никто из них даже не попытался замедлить ради него свой бег. Я взял карандаш и написал:

рождественская ночь нахтигаля

он сделал несколько больших шагов, потом еще три семенящих
и уперся рукой в оконную раму витрины.
какой-то прохожий остановился, с тревогой поглядел на него,
покачал головой и пошел дальше — в сочельник и пьяный! —
но потом снова задержался и даже дважды оглянулся.
нахтигаль стоял упершись лбом в витринное стекло,
слегка скособочившись, готовый упасть в любую минуту.
прохожий сделал несколько шагов назад, но только несколько,
и крикнул оттуда, чуть подавшись вперед,
словно перегнувшись через невидимый барьер:
не может ли он чем-нибудь помочь ему и что с ним такое?

нахтигаль повернул немного голову по-птичьи вбок
и, не меняя своего положения,
с удивлением, но благодарно смотрел на вопрошавшего:
это был пожилой господин, все еще ожидавший
с некоторым страхом ответа — на расстоянии и в согбенной позе.

нахтигаль глядел на него снизу вверх:
гамаши на сверкающих лаком штиблетах,
темное пальто с большими пуговицами
и толстым меховым воротником и никакой шляпы.

нахтигаль испугался — лысина господина,
стоявшего согнувшись,
сияла навстречу ему во всем своем великолепии.
нахтигаль мгновенно ощутил беспокойство,
как бы этот ласковый пожилой господин не простудился,
и потому спросил его:
— а ваша лысина не мерзнет?
одним рывком старик выпрямился, вскинул трость,
которую нахтигаль даже не заметил,
и удалился, что-то невнятно бормоча себе под нос,
ветер донес до ушей нахтигаля
только отдельные невнятные обрывки слов вроде
Германия, Рождество, свиньи.

прохожий больше не оглянулся, а то бы увидел,
как *пьяный шалопай,* так он обругал его в сердцах,
медленно сполз по витрине вниз и, рыдая, остался стоять
на коленях.

какое-то время нахтигаль так и стоял — на коленях.
он тупо не ощущал холода, не чувствовал его больше,
а холод уже пронизал его кости и тело
и парализовал ноги,
и теперь ему было уже хорошо и приятно,
он словно лежал на теплой мягкой подушке.
но сердце его еще пламенно горело —
так думал он, глядя на трепещущее пламя горящих в окнах свечей
и на зажженные на елках огни.
пламенно, пламенно пела его душа,
и затуманенным взором он вдруг увидел загоревшуюся елку,
и дом заполыхал, и город, и весь земной шар —
все горело и пламенело.
он ликовал: мир полыхал в ярких языках пламени.
он попробовал подняться —
ноги не слушались его.
он упал, но снова чуть выпрямился,
хотел вскочить и ликующе запеть, словно соловей.

но тут вдруг перед ним выросла фигура
и кто-то обнял его за плечи.

нахтигаль, только что собиравшийся выпрямиться,
замер, не двигаясь.
— почему ты так ненавидишь, нахтигаль? —
спросил строгий женский голос.
нахтигаль опять опустился на колени.
— почему ты так ненавидишь? — настаивал голос.
нахтигаль готов был заплакать,
но слез больше не было.
он хотел убежать, но ноги не слушались его.
— почему ты так ненавидишь и именно в эту ночь?
нахтигаль извивался, как под градом ударов.
потом он взглянул на женщину снизу вверх,
но не смог разобрать ее лица,
оно скрывалось за слепящим светом фонаря,
тот, глядя с этого ракурса,
светил как раз из-за ее головы,
из яркого снопа лучей опять раздался голос,
на сей раз более мягкий, ласковый и женственный:
— ну почему, скажи мне, будь добр,
почему ты так ненавидишь?

нахтигаль закрыл лицо руками и,
словно испытывая бесконечное освобождение, закричал:
— потому что я должен, я должен ненавидеть,
чтобы не околеть,
потому что… потому что я… —
он хрипел и протягивал к ней руки,
но женщина — теперь он видел, что это еще юная девушка,
на плечи ей падают длинные распущенные белокурые волосы,
стала отступать шаг за шагом назад,
все быстрее и наконец вовсе отвернулась,
когда же нахтигаль с раскрытыми объятиями
пополз за ней на коленях,
она убежала прочь.
нахтигаль еще успел заметить, что под мышкой у нее сборник псалмов
и что во время бега она раскидывает в стороны ноги,
и он подумал:
ах, какие красивые были у нее ноги.

нахтигаль встал, он долго раздумывал,
не ангел ли его посетил,
а он напугал его своим мрачным неприветливым видом,
своей нищетой, казавшейся теперь смехотворной и ему.
он вспугнул ангела, и тот исчез
так же тихо, как и пришел.
нахтигаль неотрывно смотрел на угол улицы,
где исчез его ангел.
глубокое раскаяние охватило его:
что за мрачный у меня характер,
что за жалкий я человек.
он отряхнул брюки, одернул пиджак
и набрал полную грудь воздуха.
ко мне приходил ангел,
сегодня, в Рождественскую ночь,
все люди радуются сегодня,
вот и ко мне пришел ангел,
чтобы и я возрадовался.
он сунул руки в карманы брюк
и побрел вверх по улице.
он, правда, не забыл, что вспугнул ангела,
но запрещал себе думать об этом,
а кроме того, убеждал он себя,
ангелы — существа милосердные.
нахтигаль дошел до церкви,
пожалуй, я зайду, сказал он себе,
ангелы часто живут в *этих* домах.
он надавил на тяжелую чугунную ручку двери,
но дверь была заперта.
нахтигаль понимающе кивнул — ангелы уже спят.
он присел у порога, он улыбался
и думал о своем ангеле,
в какой-то момент он глубоко и счастливо вздохнул
и уснул.
во сне он слышал чудесную, нежную, сладкую музыку.
вот дверь, перед которой он сидел, растворилась,
и появился его ангел.
радостного тебе Рождества, приветствовал его ангел.
радостного, радостного, пропел соловьем нахтигаль
и протянул ладони.
ангел склонился над ним, взял его за руку
и ввел за собой в дверь, перед которой он ждал,
в бесконечную, тепло и уютно укутывающую темень.

Но случилось так, что первыми людьми,
проходившими утром следующего дня мимо церковного портала,
оказались
упитанный господин в черных лаковых штиблетах с гамашами
и зимнем пальто с меховым воротником
и с сияющей лысиной, не прикрытой, как ни странно,
на лютом морозе никакой шляпой,
и его восемнадцатилетняя дочь —
милое, кроткое, белокурое создание.
они задержались на мгновение перед окоченевшим трупом соловья
нахтигаля,
протягивавшего к ним с улыбкой руки,
наморщили лбы,
и, хотя все соседи без устали рассказывали про них,
как они всегда готовы помочь другим и как жертвуют собой,
они поспешно продолжили свой путь дальше.

Да, мне явно недоставало истинного авторитета. Трудности восстановления хозяйства в послевоенное время, требовавшие от поколения отцов полной отдачи сил, привели к тому, что подрастающие юнцы были предоставлены самим себе. Мы беспомощно озирались, потеряв ориентиры, а все, что происходило в обществе вокруг нас, внушало нам отвращение.

Первая издательница, встретившаяся мне на моем жизненном пути, была тощей, немного истеричной женщиной — я познакомился с ней за столиком в ресторанчике, завсегдатаями которого были мои родители. У фрау Ирены Зецкорн-Шайфхакен было небольшое издательство, в котором она продуцировала плохо изданную научно-педагогическую литературу, делая это исключительно ради собственного времяпрепровождения, поскольку у ее терпеливого и добродушного мужа была хорошо отлаженная фабрика. Фрау Зецкорн-Шайфхакен жеманно изображала из себя интеллектуальную даму в этом седовласом кругу, и я бы наверняка давно уже позабыл ее, если бы не проявленная чрезмерная доброта ко мне, многообещающему молодому человеку, которого она пригласила на один из своих воскресных литературных утренников на виллу супруга-фабриканта, где скучный профессор педагогики прочел доклад на

тему «Авторитет — спасение для незащищенного сознания».

В моей памяти не осталось ничего, кроме самого названия доклада, но именно оно и стало для меня программным. Подлинный авторитет убеждает своими знаниями, достоверностью сказанного и проявлением себя как личности. Своей уверенностью он внушает чувство надежности, создает вокруг себя безопасное пространство посреди царящего хаоса и дезориентации. Мне захотелось стать таким авторитетом, олицетворяющим собой спасение!

Но серые будни этого городка не могли предложить подростку, отягощенному к тому же еще проблемами полового созревания, никаких идеалов для подражания или хотя бы наставить его на путь достижения заветной цели. Пустота и скука были лейтмотивами этой жизни, не авторитеты, а авторитарные требования со стороны семьи, учителей, взрослых давили на неокрепшее сознание подростков. И я, во всяком случае, реагировал на это самым неподходящим образом — замыкался, грубил и убегал из дома.

Сначала это происходило инстинктивно, эмоционально и неосознанно. Я не признавал больше учителей, не принимал «промывания мозгов» со стороны священника, вообще вел себя ужасно. Забросил учебу, вызывающе держался по отношению к любому так называемому достойному уважения человеку. Из первой школы меня выгнали за то, что на уроке истории при восклицании учителя «И это падение стало историческим фактом!» я подбил весь класс попадать со стульев. Вторую школу мне пришлось покинуть, потому что в контрольной по физике на тему баллистики я написал к вопросу о метании коротенький рассказик про песика и его маленькую собачку-подружку, где «физическая» проблема логично разрешилась «помётом». Официальное обоснование для исключения меня из школы гласило: «сексуальное извращение».

Я «вылетел за дверь», чувствовал себя потерянным и страдал от гнетущего ощущения, что «все же надо кем-то стать». Я беспомощно плыл во времени, бесцельно проводя дни, словно Нахтигаль — вымышленный мною художественный образ, с которым меня внутренне многое связывало. Но оказавшись за городом, я облегченно вздыхал, поднимал большой палец и уезжал «автостопом» куда подальше, и вся агрессивность моментально выветривалась из меня — я наслаждался свободой. Но приходилось возвращаться, и тогда бешенство переходило в депрессию и отчаяние и оборачивалось ненавистью к самому себе.

В перерывах между побегами из города, то есть главным

образом зимой, я ходил в вечернюю школу, при этом давно уже не жил дома, а снимал маленькую чердачную каморку над крышами Мюльхайма и зарабатывал себе на жизнь тем, что разносил письма, нанимался разнорабочим на металлургический завод или стройку.

В поисках жизненных идеалов и умения ориентироваться я начал читать. Но обращался с литературой точно так же, как и со своей молодой жизнью, когда без конца пускался в бега и бродяжничал. Прицельного чтения не получалось, я пустил все на самотек. С головой погружаясь в книги, читал и «проживал» их, пока не добирался до конца. А закончив читать и закрыв книгу, обнаруживал, что не только я странствовал по ее страницам, но и сама рассказанная история прошла через меня и немного меня изменила.

«Земля людей» Антуана Сент-Экзюпери — в прекрасном белом матерчатом переплете, издательство Карла Рауха, — уже много лет сопровождала меня во время моих ранних бойскаутских походов и, пожалуй, можно сказать, в период моей принадлежности к законопослушной (!) немецкой молодежи. Этот автор, создатель всеми любимого «Маленького принца», еще целиком пребывал тогда в традициях воспевания идеалов мужественности, воинственности, абстрактного героизма («И лишь в борьбе обретает человек самого себя»), тех традиций, которые, несмотря на недавнее поражение во второй мировой войне и принудительное освобождение и очищение их от наслоений нацистской идеологии, все еще воспевались и превозносились многими воспитателями подрастающих немецких детей. Так что нет ничего удивительного в том, что я, как и многие другие десятилетние мальчишки моего поколения, по-прежнему с восторгом маршировал под зажигательный барабанный бой и хором распевал в общем угаре бравурные песенки завоевателей эпохи колониализма.

Именно этот автор, отрицающий, по сути, интеллект, поскольку начинает свою книгу «Земля людей» словами: «Земля одаривает нас большими возможностями, чем книги, познать самих себя, потому что оказывает нам сопротивление», и стал тем, кто в конце концов приобщил меня к литературе и помог мне отойти от того мировоззрения, которое сам же проповедовал в своих книгах.

Я начал свое книжное путешествие с такой мало сенсационной, скорее традиционной книги Вернера Бергенгруена, как «Великий тиран и суд», и с классического романа Томаса Манна «Волшебная гора». Но уже вскоре в руки мне попала книга, которая значительно ускорила темпы моего продвижения по пути

«интеллектуального» развития — «Фальшивомонетчики» Андре Жида: «Никогда не живу более интенсивно, чем когда, выскользнув из собственной шкуры, пытаюсь стать кем-то другим!»

В этом юношеском возрасте это, пожалуй, была единственная возможность метаморфозы: стать сначала с помощью книжной фантазии кем-то другим, пожить какое-то время в другом образе, чтобы под конец возвратиться в ненавистную реальность, смутно и тайно наводящую на мысль, что все в этой действительности перевернуто с ног на голову, не зная, однако, как это изменить, чтобы продолжить со вновь обретенными знаниями свой путь дальше. Я читал все, что мог достать из книг Андре Жида: «Имморалист», «Подземелья Ватикана», «Пасторальная симфония». Так, одна дверь была мною распахнута.

Французский экзистенциализм поражал умы дезориентированной и подобно мне мечущейся в потемках европейской молодежи. Проза Жан Поля Сартра подтолкнула меня к началу истинного пути. И наконец, Камю. «Падение» Альбера Камю, в прекрасном фиолетовом матерчатом переплете, изданное Книжным объединением Дармштадта: «Разве это не достойное занятие — уподобить свою жизнь обществу и разве не нужно, чтобы для осуществления этой цели общество уподобилось мне? Запугивание, доведение до бесчестия и полиция — вот святыни этих взаимоотношений».

Больше меня ничто не сдерживало, я перестал колебаться. И читал все подряд из современных ненемецких авторов — все, что попадало в руки. Произведения Камю и Сартра, затем Анри Монтерлана и под конец «Цветы зла» Шарля Бодлера, за французами — Фолкнера, Торнтона Уайлдера («Мост короля Людовика Святого»), Хемингуэя, Дос Пассоса, Казандзакиса, а также «Голод» Гамсуна, Джона Стейнбека, «Кожу» Малапарте, «Улисса» Джеймса Джойса и сборник его рассказов «Дублинцы», Д. Г. Лоренса, Генри Миллера, У. Сомерсета Моэма, Уильяма Сарояна и т. д., пока в конце концов не остановился на одном авторе, с которым не мог потом расстаться долгие годы: Франц Кафка.

Франц Кафка сумел выразить чувство времени, испытываемое тогда многими из нас: быть виноватым (идентично: быть немцем!), толком не понимая почему. Быть обвиненным, не зная кем. Жить в иллюзорном мире, зная, что он насквозь лжив и полон фальши. Я по несколько раз прочитал все книги Кафки, а такие вещи, как «Приговор», «Превращение» или «Голодарь», бесчисленное количество раз. Анализируя текст, я пытался понять неписаные законы той пронзительности, которые свойственны

этим рассказам. Я месяцами жил, уйдя в дневники Кафки.

Рассказ «на галерке», состоящий всего из двух фраз, сделал для меня доступным ход мыслей Кафки и объяснил, почему я, и не только я, полностью погрузился сейчас в этого писателя.

Первое предложение рассказа расплывчато начинается с союза сослагательного наклонения «если»: если бы это было так, если бы мы могли познать реальную действительность, «тогда, возможно, юный зритель кинулся бы по длинной лестнице с галерки вниз, миновал бы все ярусы, выбежал в партер и крикнул: остановитесь!..» Вторая фраза олицетворяет собой чувственно познаваемый иллюзорный мир, в котором мы живем — все ненастоящее, лишь красивая маска, — и поэтому закономерно начинается словами: «Но так как все это не так», а заканчивается жесткой констатацией — «вот как оно так», и тогда зритель на галерке кладет свое отчаявшееся лицо на барьер и «плачет… сам того не ведая».

В те дни я не вылезал из городской библиотеки Мюльхайма-на-Руре. Пожилая библиотекарша из-за своего маленького роста ходила туда-сюда по низкой деревянной скамеечке перед огромным каталогом книг и выискивала для меня, ловко перебирая карточки руками, все новые и новые книжные «откровения». Путешествие в мире книг, в котором немцам долгое время было отказано, даже учителям и то был перекрыт нормальный доступ к литературе (отчего в школах нас все время пичкали патетическим Грильпарцером!), полностью соответствовало моим бродяжническим настроениям. Я испытывал неодолимую потребность постоянно распахивать наглухо закрытые окна, познавать новые просторы и проживать другую, незнакомую жизнь.

Но и то чувство вины, которое глухо давило на меня и которое я подспудно ощущал как неотъемлемую часть своего существования, тоже играло роль своеобразного моторчика, заставляя меня лихорадочно искать какой-то выход. В первые послевоенные годы нас целыми классами все время водили на просмотры фильмов, в которых показывали чудовищные сцены массового уничтожения людей в концентрационных лагерях: горы обуви, кучи очков, транспортировку безжизненных тел, полностью утративших человеческий облик. Мы сидели притихшие, в первую очередь потому, что не знали, а от нас-то чего хотят, показывая нам эти кадры.

Во мне рос глубокий страх перед окружающими меня людьми, среди которых я жил: не совершили ли все эти преступления те самые люди, с которыми я ежедневно ездил в трамвае? Карла Эйхмана, до 1933 года крупного представителя

нефтяного бизнеса, на суд мировой общественности вытащили израильтяне и разоблачили как жалкую, мелкую и заурядную личность. А вдруг здесь каждый второй — Эйхман? И не были ли мы все вместе сплошь одни Эйхманы? И почему Ганс Глобке, пропагандист нацистского закона о «защите чистоты арийской крови», все еще остается могущественным статс-секретарем в федеральной канцелярии Конрада Аденауэра, а Теодор Оберлэндер, командир батальонов «Нахтигаль» («Соловей» — что за название для такого батальона!) и «Бергман» («Дух гор»), отвечавших за массовое уничтожение русского, польского и еврейского гражданского населения, — министром по делам изгнанных этого «нашего», якобы очищенного от нацистской скверны правительства? Изменилось ли вообще хоть что-то? И можем ли мы, немцы, в принципе измениться? Не вытекали ли все эти апокалипсические действия последовательно из нашей культуры? Не были ли мы сами членами этой немыслимой семейки, носителями и продолжателями этой уродливой культуры?

Ежедневно приходя в библиотеку, я обнаружил однажды на стенде книгу Герхарда Шёнбернера «Желтая звезда». Я подавил в себе защитную реакцию страха перед теми картинами ужаса, которые частенько мучили меня по ночам, и взял книгу домой. Я держал ее у себя неделями, нарушая все сроки возврата книги и игнорируя напоминания об этом, в итоге я не мог больше показываться в библиотеке, чтобы взять другие книги. Я снова и снова, день изо дня, листал ее, изучая не поддающиеся человеческому разуму картины. Я хотел понять, что же там происходило. И никак не мог этого сделать. Люди, которых сгоняли в одно место большей частью безликие типы в униформах, выглядели совершенно нормально, как любой из тех, кто жил со мной по соседству, — заводской рабочий, торговец овощами, служащий, дети, матери, добродушные бабушки. Вероятно, не подозревая еще об ожидающей их трагической участи, они без всякого сопротивления позволяли увозить себя к местам уничтожения.

Все это было заранее цинично рассчитано и самым наилучшим образом продумано и организовано, как четко объяснялось в этой книге, где была опубликована телеграмма Главного управления по безопасности рейха, направленная шефам полиции и службы безопасности в Гааге, Париже, Брюсселе и Меце 29 апреля 1943 года:

«Лагерь Аушвиц[5] на основании нижеизложенных причин вновь убедительно просит никоим образом не делать подлежащим эвакуации евреям перед их транспортировкой

никаких вызывающих беспокойство сообщений о способе их дальнейшего применения (!)… Аушвиц, учитывая важность успешного и скорейшего проведения намеченных работ(!), придает большое значение нормальной приемке транспорта и его последующей сортировке для максимально беспрепятственной обработки (!)».

Эта книга опять ничего мне не объясняла, я нисколько не продвинулся. Но она наконец-то наполнила мое подсознательное сопротивление, мое неприятие и протест против окружающего меня общества некоторым конкретным содержанием. Отныне я отрицал все немецкое, не хотел больше сам быть частью этой этнографической и культурной общности, был открыт для всего иностранного, ненемецкого. Я страдал оттого, что был немцем, и искал для себя другую, заграничную идентичность.

Что-то от этой внутренней позиции еще было живо, когда я в 1968 году «продался с потрохами» всему латиноамериканскому, жадно набираясь этого нового опыта, хотя до того уже много чего совершил и немало поколесил по другим странам, прежде чем попал туда и попытался обрести самого себя.

Глава 5
Последний «великий поход»

«Дикое» время — время блужданий и поисков — близилось к концу. Но мне очень хотелось еще хоть раз совершить большое путешествие, чтобы «окружение» заметило меня и чтобы я это почувствовал.

Как-то постепенно я начал ощущать себя отверженным, словно вытолкнутым из общества, в котором вырос. Но инстинктивно я знал, что роль аутсайдера не для меня, что мое место все-таки где-то тут.

Там, «за морями», дул крепкий ветер. Мне хотелось испытать его на себе, но при непременном условии вернуться на родину, чтобы набраться новых сил. Даже если это случится, как в прошлые годы, когда я набрался лишь одной ярости.

В 1960 году я начал свое последнее большое путешествие «автостопом» — оно должно было стать апогеем тех лет, в которые я гонялся за «белым жеребцом». Так я для себя решил. И хотел также накопить в этом последнем путешествии как можно больше жизненного опыта и укрепиться духом, чтобы, вернувшись, суметь противостоять серым будням и попытаться стать кем-то в этой «ноябрьской»[6] стране!

План был таков: отправиться «автостопом» в Индию. Книга моей юности, которую я обнаружил в книжном наследии своего отца, «Путешествие в Индию» Вальдемара Бонзеля, еще в детстве подогревала мое любопытство и будоражила фантазию. Позднее сюда добавились книги Сомерсета Моэма и мемуары путешественника-велосипедиста Гейнца Хельфгена «Вокруг света на велосипеде», утвердившие меня в намерении отправиться именно туда, потому что я верил, что только там смогу найти избавление и спасение для своей мятущейся души.

Уже многие «автостопщики» добрались до этой заветной цели — в Индию через Турцию, Сирию, Ирак, Персию, Пакистан. У ночных бивуачных костров или в других точках, где встречались хиппующие туристы, я сполна наслушался подлинных и выдуманных историй, которым не было конца, про необыкновенные приключения во время этого путешествия. И я подумал, раз уж я сумел объехать «автостопом» все близлежащие европейские страны, значит, я уже созрел для такого похода. Я еще, правда, намеревался осложнить свой маршрут и заскочить ненадолго в Израиль, чтобы разделаться со своим немецким прошлым, поработав там несколько месяцев в каком-нибудь

кибуце.

В Индию я в этот раз так и не попал. Но «Индия», вернее, то, что я от нее ждал, могла быть везде!

Поначалу этот великий «индийский поход» начался довольно тривиально: отец, который не уставал бороться за меня, стараясь не допустить, чтобы я вырос олухом, как он выражался, отвез меня на своем стареньком удобном «мерседесе» из Нюрнберга в Вену, как следует подкормил там на прощание в греческом ресторанчике после посещения знаменитой Испанской школы верховой езды и, напутствовав на дорогу неизбежными в такой ситуации отеческими наставлениями, предоставил меня наконец бродяжнической судьбе на съезде с автобана в южном направлении.

Конечно, я не раскрыл ему всей правды об авантюрных целях моего путешествия, а только сказал, что хочу еще разок пару недель поболтаться в любимой Греции, где провел в 1957 году несколько месяцев.

Не стану зря утверждать, будто обстоятельная заботливость отца была мне уж столь неприятна, тем не менее я раскинул руки и радостно исполнил танец дикаря, ликуя, что обрел наконец-то полную свободу — стою опять один на большой дороге, дышу вольным воздухом и ничего не вижу перед собой, кроме неизвестности. Ведь невозможно даже предположить, что ждет меня впереди. В ближайшие десять минут, как только остановится первая машина, мои планы могут измениться. Белый жеребец моих мечтаний бил копытом, фыркал и призывно ржал.

Поначалу путешествие протекало гладко. Уже через несколько часов я добрался до Граца. Но там мое неудержимое стремление вперед было приостановлено, и пришлось запасаться терпением. Чтобы получить тогда транзитную визу через Югославию, я вынужден был битых три дня околачиваться в Генеральном консульстве Югославии в компании своих единомышленников, подвергаясь бюрократической волоките со стороны чиновников, готовых довести любого нормального, но замордованного ими человека до белого каления.

Любого — но только не нас! Мы жили в молодежном общежитии в Граце — мрачной запущенной казарме, — часами просиживали в кабаке за дешевым вином из австрийской земли Бургенланд и травили наши байки, обмениваясь адресами подходящих ночлежек и предупреждая друг друга о неприветливости и негостеприимности некоторых местных жителей, встретившихся на пути.

Для одного из нас — голландца — «великий поход» здесь и закончился. «Базу» закрывали в десять вечера, а мы с радостных

попоек никогда не возвращались раньше полуночи, и нам не оставалось ничего другого, как добираться до своих спальных мест на втором этаже по водосточной трубе. Это случилось на третий день моего житья-бытья в Граце. Проржавевшая труба рухнула. Тот, кто взбирался последним, приземлился на каменном казарменном плацу и сломал себе ногу.

Я покинул Грац на следующее утро. Но счастье в тот дождливый день мне на дороге не улыбнулось, сколько я ни голосовал, меня никто не взял, так что вечером, насквозь промокший и зверски голодный, я снова появился в казарме.

Мне, однако, не терпелось продолжить путешествие, и я решил отправиться назавтра в Белград «экспрессом». В семь часов утра я уже стоял на сквозняке на перроне в Граце. И вот с опозданием на три часа медленно вкатывается отфыркивающийся «экспресс». До Белграда ему понадобится пятнадцать часов.

Да хоть двадцать, пятьдесят или даже сто!

Когда я еще утром стоял на перроне с рюкзаком за спиной, прислонив свою зачехленную гитару к фонарному столбу, я заметил маленькую веселую кучку греческих студентов, вероятно, возвращавшихся тем же поездом к себе на родину. Они смеялись, болтали, размахивали руками на манер жителей южных стран, пели песни, ни минуты не стояли на месте спокойно. Увидев гитару, они подошли ко мне и попросили сыграть: семеро веселых, готовых на любую проделку парней моего возраста и до умопомрачения обворожительная девушка с черными кудряшками и в обтягивающем ярко-синем платье, которая находилась в центре всеобщего внимания. До сих пор на меня еще никто не смотрел такими блестящими и черными как смоль глазами.

Группа студентов приняла меня. Мы заняли два соседних купе. Но большую часть времени мы сидели тесно набившись в одно из них, непрерывно что-то рассказывая и смеясь. Они пели песни своей родины. А я выдал несколько баварских шуточных куплетов.

Ребята были из северной Греции, а она из Эдесы. Все они учились в Граце и возвращались домой на Пасху. Парни относились к этой яркой райской птичке по-братски. Вскоре они заметили мои восторженные взгляды, прикованные к этим глазам, черным, как эбеновое дерево.

Мы заговорили о любви. И в зависимости от предметов, изучаемых моими новыми друзьями, они на полном серьезе присовокупляли к теме прагматические, религиозные, психологические и медицинские объяснения этого необъяснимого феномена. Я думал о прекрасной гречанке, а она, накрывшись

курткой, прикорнула в уголочке у окна и дремала. Мое сердце билось так сильно, что, казалось, оно стучит у меня в висках.

Забывшись, я начал думать вслух, так что все в купе услышали, как я громко произнес:

— Любовь — это два, как ворон, черных глаза!

Она стянула с лица куртку, провела пятерней по коротким черным волосам и уставилась на меня долгим взглядом — мне казалось, это будет длиться вечно.

Деликатные друзья-студенты выскользнули один за другим из купе. Я подсел к ней, обнял ее рукой за покатые плечи, глядел на пробегавшие за окном югославские ландшафты и мечтал об одном — чтобы поезд никогда не останавливался.

Но он прибыл в Белград, нарастив свое опоздание еще на несколько часов. Не видя ничего вокруг, я стоял на перроне вокзала. Она прилипла к стеклу и неотрывно смотрела на меня из поезда. Любовь пламенных взглядов!

Поезд медленно тронулся, а она все смотрела. Все дальше высовывалась из окна, все быстрее удалялась от меня. Наконец она робко подняла на прощание руку. Вдали, уменьшаясь, исчезало ярко-синее пятно и черные кудряшки. Я еще постоял на перроне, прежде чем понял, что ее больше нет рядом.

Мы почти не говорили друг с другом. Она очень мало понимала по-немецки и едва по-английски. Я даже не спросил, как ее зовут! Медленно-медленно спускался я с небес на землю.

И с удивлением обнаружил, что стою на перроне, покрытом щебнем, среди шумных, снующих туда-сюда людей, они тащат деревянные чемоданы, обнимаются, здороваются, прощаются, кричат друг другу на чужом сербском языке, передают приветы, новости, пожелания. На подножке вагона пыхтящего на соседнем пути поезда сидел старик с изборожденным морщинами лицом, в типичной для сербских крестьян лихо сдвинутой на лоб фетровой шляпе и со стоическим спокойствием смотрел, не шевелясь, на суетливую толкотню вокруг.

Я потратил почти целый день, прежде чем нашел дешевое пристанище на стоящем на якоре дунайском фрахтовом судне. Бесцельно бродил я по белградским улицам. Мое пребывание здесь казалось мне бессмысленным.

Незадолго до полуночи маленькая упругая сербка затащила меня в темную подворотню и чуть не задушила поцелуями. Потом я пошел провожать ее через весь город домой, там она заставила меня еще постоять перед входом, чтобы через несколько минут под новый шквал поцелуев сунуть мне в руки фото, на которое я должен был взглянуть, только когда она исчезнет. Сербка была изображена на нем голой, не считая тоненьких прозрачных

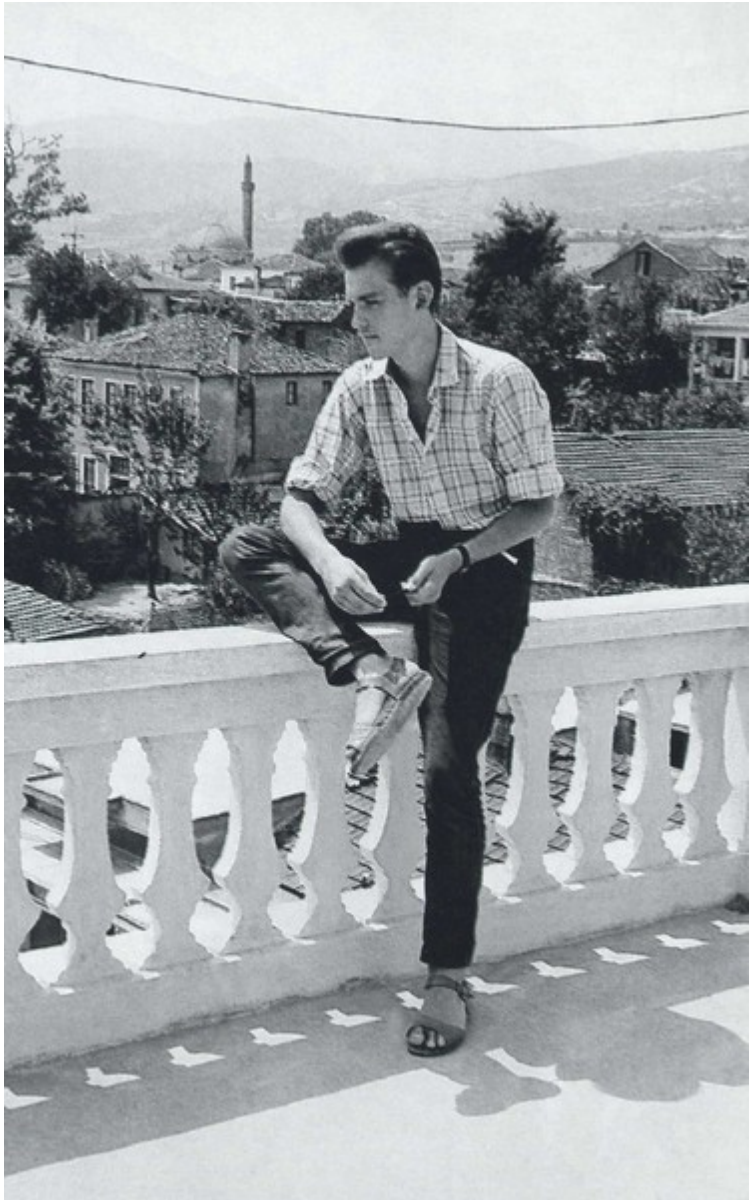
колготок. Длинные прямые волосы спадали ей на плечи и доходили до бедер. На верхней губке темный пушок.

Не очень-то эротично, подумал я, лежа в судовой койке и не находя сна. Я поднялся, сложил свои вещички и пошагал в серых утренних сумерках через безлюдный Белград на вокзал.

Через четыре часа меня уже убаюкивало равномерное постукивание колес скорого поезда, который шел в Салоники. Я сидел, пристроившись в уголочке у окна, и дрема плавно перешла в чуткий изнурительный сон. Наполовину еще наяву, а наполовину уже во сне я видел перед собой пару черных блестящих глаз моей прекрасной гречанки. Стук колес с каждым метром приближал меня к ней!

Первую ночь на греческой земле я провел в матросском притоне недалеко от порта Салоники, который был мне знаком еще по прошлому моему путешествию. Всю ночь громыхали тяжелые шаги приходивших и уходивших людей — в комнате было восемь кроватей. Однако, когда я на следующий день проснулся после беспокойной ночи в десять часов утра, всех давно уже и след простыл.

Я открыл деревянные ставни, и живительное греческое солнце заполнило затхлую, провонявшую комнату. С улицы доносился шум, и снизу поднимались запахи пестрого и оживленно бурлящего овощного базара. Повозки с мулами с трудом протискивались сквозь гущу людей. Одна рыночная торговка увидела мое заспанное лицо в окне второго этажа и крикнула мне что-то по-гречески, показывая вопросительно на дыню. Изо всех сил свистел полицейский, но на него никто не обращал внимания. Водитель «веспы» пытался непрерывными гудками проложить себе дорогу в толпе хаотично снующих во всех направлениях людей.



В ожидании на крыше маленькой гостиницы в Эдесе

Я глубоко вдыхал в себя эти поднимающиеся запахи лука, цветов, навоза, пряностей, зажаренного на углях мяса и гор овощных отходов. Неописуемое ощущение счастья охватило меня при виде этой сочной, кипящей внизу жизни. С каким наслаждением обнял бы я всю эту по-брейгельски великолепную рыночную картину!

— Жизнь прекрасна! — завопил я из окна.

Кое-кто удивленно поднял голову. Но я уже исчез, направляясь к умывальнику. Я опять вспомнил про черные как смоль глаза! Я умылся, сложил вещи, купил у приветливой рыночной торговки дыню и отправился в путь, выйдя на шоссе, которое вело на Эдесу.

До маленького городка на севере Греции я добрался во второй половине того же дня. Справившись, где находится обязательный для каждого греческого города променад, по которому ежевечерне прогуливается молодежь и все знакомятся друг с другом, я снял там в маленькой дешевой гостинице номер, взобрался по лестнице на крышу, где горничная гладила постельное белье, уселся со своей гитарой у самого парапета и принялся бренчать одни и те же аккорды.

Как я и предполагал, все гуляющие с любопытством глядели наверх, и я отчетливо видел их лица.

Надо было терпеливо ждать. Три вечера подряд провел я на крыше, бренча на гитаре. Три вечера жители Эдесы задирали кверху головы, а я глядел на них сверху вниз. Меня одолевали сомнения. Она действительно сказала «Эдеса»? И смогу ли я узнать ее здесь, при другом освещении, вдобавок сверху, с крыши, а что, если она будет в другом платье, не в ярко-синем? И вдруг она запрятала свои кудряшки под платок?

И тут я увидел ее! Это была она! С четырьмя подружками, взявшись под руки, прогуливалась по улице. На ней было ярко-синее платье! Я крикнул: «Привет!» — и кинулся по лестнице вниз на улицу.

Подружки с любопытством разглядывали меня. Она представила меня им по-гречески, довольно равнодушно, как мне показалось. Мне позволили влиться в ряды гуляющих. Подружки хихикали. Одна из них вполне сносно говорила по-английски. И стала играть роль переводчицы. Я спросил, когда бы я мог встретиться со своей черноокой богиней наедине, если можно? Подружки захихикали.

«Never!» — последовал через переводчицу ответ. Я шел рядом подавленный. Трижды продефилировали мы по «проспекту». Мне ничего не удалось из нее вытянуть. Она трещала как сорока, болтая с подружками. Я молча шел рядом с ней и не мог даже взглянуть в ее прекрасные черные очи.

Наконец все стали прощаться, им пора было домой. Вот они уже и ушли. Я стоял в вечерних лучах солнца, и меня пробирал озноб. Медленно побрел я к своей гостинице.

Вдруг рядом со мной возникла «переводчица»:

— Она послала меня! Ты должен извинить ее. Она не могла с

тобой разговаривать. Слишком многие смотрели на вас! Завтра в пиниевой роще, за городом, в одиннадцать часов. Она придет. И вы станете говорить про любовь. Она будет точно!

Я хотел еще переспросить, но она уже снова исчезла.

На следующее утро в половине десятого я стоял за городом в пиниевой роще и смотрел на дорогу, которая вела к ней. Я простоял много часов. Она не пришла. Никто не пришел, даже «переводчица».

То, что я испытывал, нельзя было назвать ни печалью, ни яростью — это было пробуждением ото сна: мир вокруг такой теплый, круглый, цветной и даже вполне осязаемый. Да, казалось, нет ничего невозможного. Все в пределах досягаемого! А любовь ли это была?

Я поплелся назад в город, меня погнал туда голод.

В маленькой харчевне я заказал «гирос» (шаурма) и стакан вина, ко мне подсел молодой человек старше меня и представился по-английски студентом, изучающим архитектуру.

Что тебя связывает с этой… (он произнес довольно длинное женское греческое имя). Может, ты ее австрийский «друг»? Я спросил, какое ему до этого дело, и тут мне стукнуло в голову, что я опять не узнал, как ее зовут.

— Ты голоден? — спросил он неожиданно. — Идем, я приглашаю тебя к моей маме. Она приготовит настоящую греческую еду. Идем, ты будешь нашим гостем!

С некоторыми колебаниями я последовал за ним — голодный и съедаемый любопытством.

— Ты должен знать… (опять последовало длинное женское имя) — дочь начальника полиции Эдесы! — принялся он просвещать меня по пути к дому своей матери. — И от него нельзя скрыть ничего, что касается его дочери. Ты хотел встретиться с ней? Так он отослал ее сегодня с подружкой в свой загородный дом, это три часа езды от Эдесы.

— Когда она вернется?

Он только пожал плечами.

Я остался в Эдесе еще на неделю. Перезнакомился с друзьями моего приветливого «просветителя» и побывал у всех в гостях. Почти каждый из них следил за моими «приключениями» с момента неожиданного появления на крыше маленькой гостиницы. Кто-то доложил им о влюбленности молоденького «австрийца»(!) из белградского «экспресса».

В этом маленьком городе тайн не было!

Наступил день, когда пора уже было продолжить свое путешествие. Я опять стоял на шоссе. Колыхающийся фургон взял меня только до Пеллы, а здесь жизнь словно замерла. Я стоял и

ждал час за часом.

В Пелле жил когда-то Александр Великий. Несколько развалюх и фундамент дворца великого грека — больше ничего. Я меланхолично обошел остатки стен, где когда-то находился центр мира. Ощущение величия не снизошло на меня. Я слишком мало знал об этом примечательном античном месте и его роли в истории.

Дно так называемой бани Александра — каменный квадрат двух-трех метров глубины, наполненный из подземного источника кристально чистой горной водой, — было усеяно монетами, которые набросали туда через левое плечо суеверные туристы. Полуденное солнце припекало, несмотря на весну. Кругом не было ни души.

Я скинул одежду и нырнул голышом в баню Александра Великого. Вода обжигала. Я бешено колотил руками, пытаясь дотянуться до дна, чтобы собрать немного монет. Но из этого ничего не вышло. Внизу вода была еще холоднее. Когда я снова вынырнул, то до смерти испугался. С десяток вооруженных до зубов солдат окружили бассейн, наставив на меня винтовки. Они вытащили меня из воды и прямо голым посадили в военный грузовик. Отбиваясь от них и громко крича, я все-таки добился, чтобы они хотя бы подобрали мою одежду и закинули в машину мой рюкзак. По дороге в палаточный военный городок я снова оделся.

Ушло несколько часов, прежде чем мне наконец удалось объяснить говорящему по-немецки офицеру, что никакой я не коммунистический шпион и не заброшенный из Албании провокатор. Наконец они меня отпустили. Оказалось, что я искупался в резервуаре с питьевой водой на территории военного лагеря!

До Салоник я добрался в тот же вечер. И отправился в ту же ночлежку, что и десять дней назад. Только на этот раз все показалось мне еще более убогим и грязным. Ранним утром следующего дня я покинул город, даже не бросив на него прощального взгляда. Белый жеребец уже снова бил копытом. Дорога, неизвестность и романтика звали меня в путь. Полный храбрости и надежды, я вытянул навстречу катившемуся мимо меня потоку машин правую руку с поднятым кверху большим пальцем.

Дряхлый разваливающийся грузовик, грохочущий бортами, затормозил передо мной. Я влез в кабину водителя. От дизельного мотора между сиденьем водителя и моим исходила такая невыносимая жара, что, несмотря на опущенные боковые стекла, дышать в кабине было нечем. Усатый шофер в драной

майке сидел на самом краешке сиденья и время от времени утирал грязным полотенцем потное лицо.

Через несколько километров дороги на обочине появился еще один такой же с поднятым большим пальцем и потребовал, чтобы его тоже взяли. Водитель остановил машину и махнул ему, чтоб забирался. Я был в бешенстве — во-первых, из-за невыносимой жары, во-вторых, потому что «автостопщики» становились на малолюдных дорогах друг для друга конкурентами. Я вылез, предоставляя новичку место поближе к раскаленному мотору. Целый час мы так и ехали — не произнеся ни слова. Из-за чудовищного шума мотора разговаривать все равно было невозможно.

Пыхтя и сопя, допотопный грузовик с трудом преодолел крутой подъем, откуда дорога прямиком вела в долину вниз, где через ручей был перекинут узенький каменный мостик в одну колею. По другую его сторону дорога опять резко уходила вверх.

Наш грузовичок покатился наконец-то быстрее. Навстречу нам шел точно такой же и, казалось, тоже набирал обороты. Похоже было, что оба водителя считали делом чести первым добраться до моста. Ни один из них не сбавлял скорости. Напротив, чем дольше мы спускались под горку, тем стремительнее неслась наша колымага «античных» времен! Мы, «конкуренты», впервые взглянули друг на друга. Потом на нашего водителя. Тот сидел обливаясь потом и намертво вцепившись в руль, одержимый только одной мыслью — удержать его.

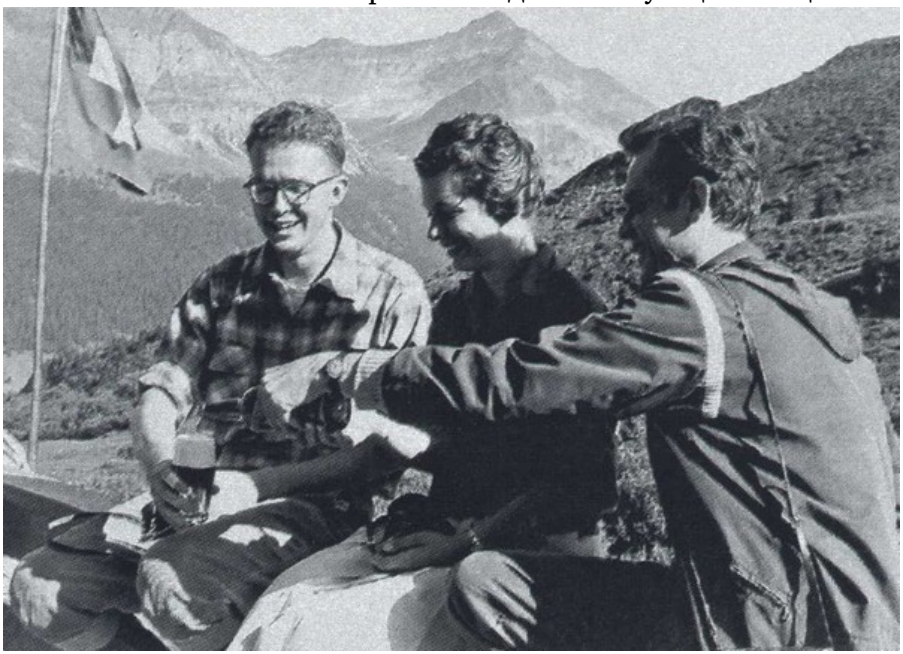
Оба грузовика сближались на бешеной скорости, находясь в равной удаленности от моста. Подъехав еще ближе, мы увидели, что с нашей стороны нет перил и части моста тоже. Я закрыл глаза и вцепился как можно крепче в приборную доску. «Сначала любовь, а теперь еще и смерть», — успел подумать я. Раздался свист, потом короткий удар, левое боковое зеркало влетело в кабину, послышался страшный грохот. Машина накренилась, словно ехала по глубокой выбоине. А в следующий момент мы уже снова выбрались на прямую, которая вела наверх. Пыхтя и фыркая, эта уродина доползла до самой верхушки. Там водитель остановил машину, откинулся назад и начал обтирать грудь грязным полотенцем.

Мы с «конкурентом» минуту молчали, словно окаменев. Потом, как с цепи сорвавшись, одновременно обрушили свой гнев на шофера — один по-английски, другой по-немецки. Он что, спятил? Почему не тормозил?

Бедный человек посмотрел на нас с тоской, потом опять подвинулся на самый краешек сиденья и несколько раз нажал на педаль тормоза, которая в конце концов клацнула.

Мы выползли из кабины полуживыми и бросились на выжженную траву сбоку от дороги. Добродушный «смертник» отправился дальше в путь уже без нас.

Дэвид Лестер оказался студентом из Сиэтла, США. Это был эталон американского студента: высокий, сильный, в веснушках, с густой шевелюрой курчавых каштановых волос. Одет был в джинсы, кеды и клетчатую рубашку лесорубов — будничная одежда, которая только через десять лет станет у нас обязательной частью экипировки каждого хиппующего юнца.



С Дэвидом Лестером, попутчиком в поездке «автостопом» по Турции, несколько лет спустя, когда он навестил меня в швейцарском колледже им. Альберта Швейцера

Дэвид закончил учебу в университетском колледже и путешествовал по Европе «автостопом» от Испании до самой Турции. Мы стали друзьями не только на время этого путешествия, но и на многие последующие годы. Не так давно мы сидели за бокалом вина в одном будапештском винном погребке, и он, вспоминая прошлое, рассказывал, как хипповал в шестидесятом в Венгрии.

«Избежав смерти», мы решили или продолжать путешествие вместе, или назначать дни и места встреч, где сможем найти друг друга вечером.

Так у нас все отлично и получалось благодаря помощи

многочисленных греков, устремившихся в восточную часть Стамбула, где они собирались провести Страстную неделю и отпраздновать Пасху вместе с греческим патриархом православной церкви в храме пещерного монастыря. Мы благополучно добрались до города и через два с половиной дня встретились, как и договорились, на ипподроме в Стамбуле и поселились затем недалеко от него в маленьком чистеньком пансионате.

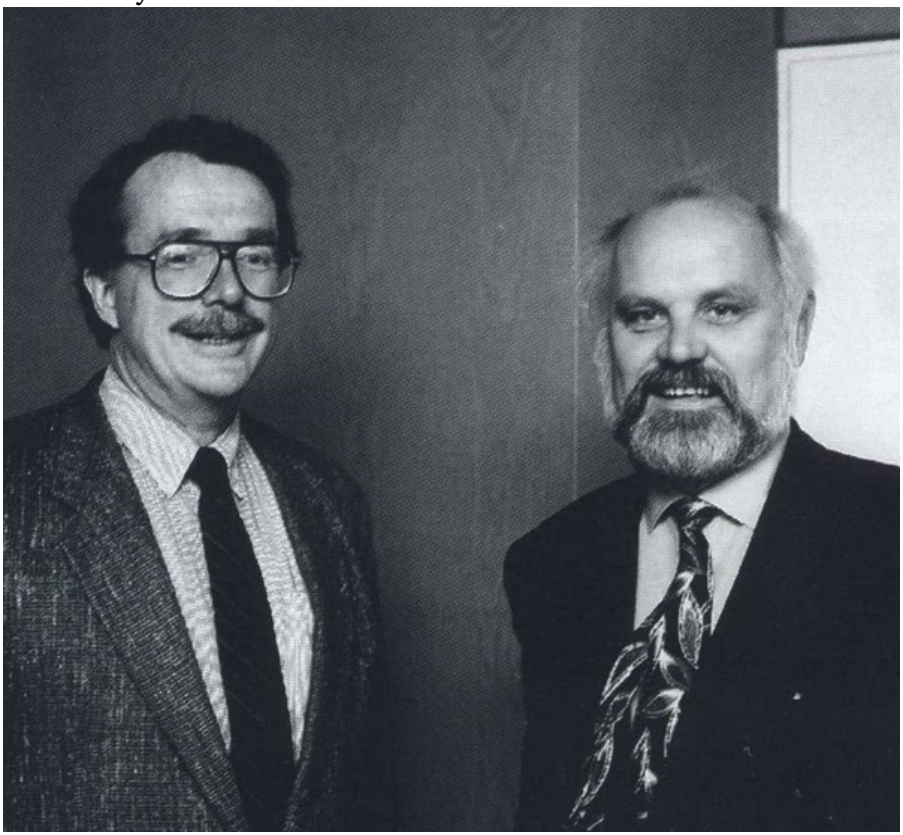
В тот же вечер мы оба стояли в страшной тесноте среди сотен верующих греков, держа перед собой, как и они, по толстой зажженной свечке, и слушали прекрасное, хотя и монотонное литургическое песнопение греческого патриарха и его помощников-священнослужителей. Когда богослужение закончилось, выходившие из базилики греки стали поздравлять друг друга, восклицая: «Christos anesti!», они обнимались и целовались, и мы оба чувствовали свое родство и причастность к этому единению верующих и не возражали, если нас тоже обнимали и целовали, особенно молоденькие сестры во Христе!

Дни в этом удивительном городе на берегах бухты Золотой Рог таяли, как турецкий мед. Мы без конца бродили по дворцу Топкапы, взбирались на минарет Голубой мечети, часами сидели возле Галатского моста на ступенях мечети султана Ахмеда — месте встречи всех «автостопщиков», которые перебирались из Европы в Азию и из Азии в Европу, обмениваясь здесь советами, предостережениями и премудростями своей путаной жизненной философии. Мы смотрели на рыбаков, съедали их улов, отменно приготовленный в маленьких ресторанчиках под Галатским мостом, и восхищались щуплыми носильщиками, которые с помощью кожаных ремней переносили на спине столы, стулья, шкафы, диваны и даже целые мебельные гарнитуры.

Я провел бы здесь еще не одну неделю, но даль и дорога звали меня. К этому добавилось то, что Дэвид не переносил турецкую еду и сутками не отходил от ближайшего туалета, постепенно созревая к отъезду из этой «не перевариваемой» им страны. Я помогал ему лекарствами из своих запасов, но они вскоре закончились, и потому во время наших совместных походов по городу Дэвид то и дело исчезал в маленькой лавочке или ресторанчике и выходил оттуда через бесконечно длящиеся пятнадцать минут белый как смерть.

Наступил день, когда мы пожелали друг друга счастья в пути и расстались. Дэвид собирался добраться до Бурсы, а оттуда как можно скорее вернуться в Грецию. Я все еще видел себя в мечтах на пути в Индию и потому ранним утром сел на паром, который перевез меня через Босфор, так что через час я впервые вступил

на азиатскую землю.



…35 лет спустя после нашей встречи в Турции во Франкфурте на книжной ярмарке 1955 г.

Кто же мог предположить, что в самом недалеком будущем я по тем же причинам последую по стопам Дэвида, но только доберусь до Греции с куда большими трудностями!

Пока же я впервые находился в восточной Турции, которая внешне ничем не отличалась от остальной. Я стоял на выезде из местечка Юскюдар, уверенный, что хорошо подготовился к встрече с водителем-турком — те с удовольствием брали нас, но требовали небольшую мзду, — повторяя заученную фразу: «Talebe alman, param njok!» («Я — немецкий студент, платить не буду!»), но первый остановившийся грузовик оказался польским, марки «Варшава».

— Ты — немец? — спросил мужчина с усталым небритым лицом.

Я утвердительно кивнул.

— Ты — водительские права?

Я снова кивнул.

— Показать! — приказал он.

Я вытащил свое водительское удостоверение. Он дважды повертел его в руках.

— Хорошо! Залезать! — И он пересел на сиденье рядом с водительским, показал мне ручку переключения скоростей и ручной тормоз, свернул свою куртку, подложил ее под голову и закрыл глаза.

— Ты — ехать Анкара! — буркнул он и тут же громко захрапел, провалившись в глубокий сон.

И вот я сижу за рулем незнакомой машины, передо мной пятьсот километров дороги, в стране, о дорожных правилах которой я не имею ни малейшего представления. Хоть я и получил три года назад водительские права, но, кроме двенадцати часов учебной езды, никакой практики у меня не было. Тем не менее такой поворот в моей бродяжнической судьбе пришелся мне по душе — все-таки что-то новенькое. Я осторожно выжал сцепление, машина медленно тронулась с места. Уже через полчаса скованность ушла, и я напевал себе под нос песенки.

За десять часов езды я благополучно довез поляка, а заодно и себя в его грузовике до Анкары. Водитель был одним из тех, кто перегонял машины из Европы в Тегеран. И из Германии многие машины тоже проделывали этот путь. Мой «шофер» тут же предложил мне ехать с ним до Тегерана — мы могли бы подменять друг друга в пути. Но я с благодарностью отказался: я намеревался получить в Анкаре визу в Израиль.

В Анкаре никакого посольства Израиля не было, а глава официального израильского представительства, несколько дней подряд принимавший меня в своем кабинете одетым только в пижаму и замызганный халат, в конце концов так и не смог добыть мне въездной визы. Он посоветовал попытаться получить ее в Ларнаке на Кипре. Это, к тому же, единственно возможный путь для въезда в страну. Оттуда ходят фрахтовые суда, они могут взять студента на борт.

Я опять стоял на обочине. Притом на пустынной дороге, проходившей через Анатолийское плоскогорье, покинутое всеми способными передвигаться духами. До сих пор, вплоть до огромного соленого озера Туз, все шло гладко с помощью моей турецкой фразы и улыбающихся в ответ водителей. Но сейчас я стоял посреди забытой Богом соленой пустыни и не замечал кругом никаких признаков жизни — ни одной машины, и дорога в одну и другую сторону упиралась в бесконечный горизонт.

Подбадривая себя песенкой, я два раза переложил все вещи в рюкзаке, исполнил, не сходя с места, жизнерадостный танец,

подстриг ногти на ногах. Когда вдали появлялась машина, я слышал ее еще до того, как видел. Поспешно похватав свои вещички, я занимал исходную позицию. Но — жиг! — и машина проскакивала мимо, уносясь в даль, и я еще долго слышал шум мотора, прежде чем вокруг снова воцарялась безмолвная тишина.

Один раз мимо меня проскочил форд «таунус» из Кёльна. Через двести — триста метров он затормозил и попятился назад. Любезный турист из Кёльна вылез со своей толстенной мамашей из забитой доверху машины и спросил, как я себя чувствую, потом они угостили меня горячим кофе из термоса, пожелали счастья и отправились дальше, принеся тысячу извинений, что не могут взять с собой.

Наконец — когда без всякого перехода сгустились сумерки — какой-то крытый фургон принес мне избавление, забрав из этой неприветливой местности. Водитель, еще до меня приютивший наверху на брезенте с дюжину турецких попутчиков с мешками и кульками, потребовал, несмотря на мое волшебное заклинание, плату в несколько лир, после чего позволил залезть к остальным наверх.

Там было невыносимо холодно. Позднее, ближе к полуночи, когда машина подпрыгивала на мрачной каменистой дороге в горном ущелье, освободилось теплое местечко в кабине водителя, я перебрался туда и постепенно отогрелся. Много раз за ночь мы делали остановки возле чайханы — сидя каждый раз на улице, пили сладкий горячий турецкий чай и ели сваренные вкрутую яички, посыпая их спекшимися комочками морской соли и заедая турецким хлебом.

На рассвете мы прибыли в Адану, и я тут же направился в старый караван-сарай, куда устремились и другие мои попутчики, и лег в постель.

Еще засыпая, я чувствовал, как жесткий костяной кулак уперся мне в бок под ребра. Но я слишком устал, чтобы придать этому значение. В полном изнеможении я заснул и проснулся в полдень весь в поту, и только жуткие позывы заставили меня встать и добраться до грязного «очка» на постоялом дворе. Турецкая диарея поразила и меня.

Свой запас таблеток я израсходовал на Дэвида. А кроме того, к поносу добавился еще и грипп, который я заработал, продрогнув ночью в горах наверху фургона. Мое состояние ухудшалось с разительной быстротой.

Войти в караван-сарай можно было только через большие ворота. В замкнутом квадратном внутреннем дворе отдыхали раньше вьючные животные. Теперь он был заставлен сотнями бочек и чанов, в некоторых из них цвели цветы. Гостевые номера

— комнаты с двумя, четырьмя и восьмью кроватями — находились на втором этаже, по которому вокруг здания шла крытая галерея, откуда можно было попасть в номера.

По внутренней стороне обветшалой деревянной галереи проходил желоб, в него стекала вода из незакрывающихся кранов, страшно тарахтевших, когда их открывали. По утрам здесь можно было умыться, стоя рядом с другими постояльцами, или ополоснуться до пояса.

Чтобы добраться до «очка», мне надо было пробежать полгалереи до угла по фасаду, где вниз во двор вела деревянная лестница, а там вдоль той же стены назад в противоположный угол двора, где находился вонючий сортир.

Десять дней и ночей провел я на этом постоялом дворе в изнурительной лихорадке — с грохотом несся по лестнице вниз, когда терпеть уже не было сил, и, слабея с каждым разом, медленно и тяжело дыша, с трудом карабкался назад, добираясь до своих нар и впадая в тяжелое забытье.

Я не различал ни дня ни ночи. Лихорадка и галлюцинации переносили меня в другое измерение, не имевшее ни начала, ни конца. Только муэдзин ронял время от времени в это безграничное пространство свой монотонный клич «Аллах иль акбар!», прерывая царившую в моей голове путаницу внеземными ритмическими паузами.

Через десять дней я настолько оправился, что смог подойти к желобу с кранами и немного помыться. Надев чистое белье, я вышел с постоялого двора, чтобы раздобыть себе какой-нибудь легкой еды. В течение десяти дней я только пил воду и сильно истощал.

Я купил цыпленка, чтобы попросить кого-то сварить бульон, и немного хлеба. Но стоило выйти из лавочки, как бесконечный туман, не отпускавший меня десять дней, снова навалился на меня, и я вынужден был сесть прямо на землю, чтобы не упасть.

Мне помог встать какой-то молодой человек, поднявший не только меня, но и цыпленка, выпавшего у меня из рук. И когда я жестами, а потом по-английски объяснил ему, чего хочу, он приветливо взял меня за локоть и, поддерживая, осторожно и медленно довел до дома своей матери, которая сварила мне восхитительный бульон.

Я пробыл в этом гостеприимном доме четыре дня, его заботливая мать сделала все, чтобы поставить меня на ноги. Здесь же я узнал, что из затеи добраться из Мерсина пароходом до Кипра и дальше до Израиля ничего не выйдет. В Турции началась «революция». Власть взяли военные и свергли правительство премьер-министра Мендереса, а все границы на замке. И тот, кто

попытается покинуть страну, может надолго угодить в тюрьму.

Мои обеспокоенные хозяева, которые постепенно занервничали, что незаконно и без разрешения укрывают у себя иностранца, посоветовали поехать все же в Мерсин, сесть там на пароход в Измир или Стамбул, где было больше возможностей, чем здесь, покинуть страну.

Я так и сделал. Еще в тот же день я очутился в пароходном агентстве в мерсинском порту. Через два дня из Израиля должно было прибыть пассажирское судно «Мармара» и отбыть потом через Аланью, Анталью и Фетхие на Измир. Я купил на имя «Talebe» (Немец) за четырнадцать марок восемьдесят пфеннигов билет на нижнюю палубу и укрылся на два дня в маленьком пансионате, где только спал, набираясь сил.

Предстоящее морское путешествие сулило мне все то, о чем я мечтал, думая об Индии: романтическую отрешенность, встречи с людьми, фантастические миражи, необыкновенные пейзажи, горы, море…

Усилившаяся в эти дни способность глубокого эмоционального восприятия окружающего мира наверняка объяснялась моей физической слабостью и связанной с этим сверхчувствительностью. У меня была ясная голова, я воспринимал все происходящее вокруг чрезвычайно отчетливо — каждый удар волны о борт, любое покашливание мучающегося бессонницей пассажира, каждый крик чайки. И бег времени остановился. Стерлось одномерное чередование суток, сопровождающее нас, когда мы прокладываем наши пути по жизни. Все происходило одновременно, и так же одновременно мне удавалось все это воспринимать.

Судно встало на якорь в мерсинском порту, когда опустились вечерние сумерки. Я отыскал для себя защищенное от ветра местечко на передней палубе, пристроил там, насколько это было возможно, вещички и стал ждать, пока суета на палубе уляжется и большинство моих попутчиков — турецкие крестьяне с семьями — устроятся на ночлег. Тогда я встал, пробрался на цыпочках на середину корабля и вскарабкался по бортовой веревочной лестнице наверх, в солярий первого класса. Там я перенес шезлонг в защитную тень от трубы и стал любоваться ночью.

Под монотонное «тук-тук-тук» в машинном отделении «Мармара», переваливаясь с одного бока на другой, медленно прокладывала путь по морю. Почти круглая луна освещала серебристо-голубым светом контуры Тавра, мимо которого мы проплывали под тихое постукивание механизмов. Дул легкий ветерок и шевелил мои тогда еще густые волосы. Я был счастлив. Блаженно ловил мгновения. Небесное пространство надо мной

все ширилось, оно было бесконечным. Чавканье морской воды, шлепавшей по днищу судна и бортам и бившейся вдали о скалы, как музыка, ласкало мой слух.

Музыка доносилась и из глубины судна. Из бара то взмывали, то опускались иногда гуттуральные, иногда визгливые, часто повторяющиеся пассажи типичных мелодий в ритме танца живота, их выводил женский голос в сопровождении турецких музыкальных инструментов.

Я слегка задремал в затаенном укрытии, а может, слишком погрузился в свои мысли, от которых очнулся, увидев неожиданно появившуюся у поручней певицу, пропевшую последние такты в ночную тишину моря, навстречу медленно проплывавшему мимо нас Тавру.

Силуэт мужчины с цветком в руке приблизился к неутомимой певице. Галантный кавалер склонился, как на оперной сцене, и протянул даме цветок. Но она даже не взяла его, а обрушила на мужчину словесный шквал, с каждым мгновением набиравший силу и темп и звучащий все громче и громче, а под конец, излив тоску, вырвала у него цветок и бросила за спину — прямо мне на колени.

Я боялся дышать, испытывая, однако, удовольствие при взгляде на отвергнутого любовника, который вскоре после этого исчез. А прекрасная певица — так я предположил в ночи — осталась одна и принялась горько рыдать.

Я был уверен, что все это сентиментальная комедия и сплошной театр, однако все же подумал, не встать ли и не обнять ли ее в утешение. И отнюдь не нелегальное пребывание на палубе первого класса удержало меня от этого шага, а исключительно боязнь, что мне достанется не меньше, чем предшественнику, а то еще и побольше. Так я и остался сидеть в своем укрытии со сладко пахнущей розой в руках. А когда дама перестала наконец плакать и скрылась внутри корабля, я подошел к поручням и, обрывая красные пахучие лепестки один за другим, дал им исчезнуть в морской пучине. Чувство упущенной любви повергло меня в глубокую печаль.

На следующий день солнце стояло уже высоко в небе, когда я проснулся в своем шезлонге. Голубоглазый и белокурый молодой человек стоял прислонившись к поручням и смотрел на меня.

— Что ты здесь делаешь, ты ведь с нижней палубы, да?

Так как на нем был темно-синий пиджак с золотыми пуговицами, я подумал, что он член команды, и стал отвечать ему заикаясь. Он засмеялся и позвал кого-то, кто находился на другом борту корабля. Он крикнул на каком-то языке, которого я никогда раньше не слыхал, но определенно не по-турецки. Появилось

четверо или пятеро молодых людей и одна девушка — все чуть старше двадцати — и принялись меня с улыбкой разглядывать.

— Не бойся, мы тебя не продадим, — сказал опять блондин по-английски. — Ты уже завтракал?

Я отрицательно покачал головой, находясь в сильном смущении. Они позвали меня с собой. Я пошел за ними, полный сомнений.

— Мой друг! — сказал блондин стюарду. — Принесите ему мой завтрак!

Здесь за чашкой чая сидели еще несколько человек из их группы, углубившись в разговоры, в которые мой новоиспеченный «друг» время от времени вмешивался.

— На каком языке вы говорите? — отважился я наконец спросить.

Блондин повернулся ко мне:

— На иврите. Древнееврейском языке. Мы — израильские студенты, все — сабры. Ты знаешь, что такое сабр? — Ответа он дожидаться не стал. — Это колючие и сочные плоды одного из суккулентов, то есть мы — «кактусы». Так у нас в Израиле называют уроженцев страны, потому что они — колючие снаружи и нежные внутри!.. А ты, твой английский не британский, откуда ты родом?

Я оцепенел. Вот он, момент, которого я так боялся. Поэтому и только поэтому я так стремился в Израиль. «Голландец!» — мелькнуло у меня в голове. «Я — голландец! Голландцы тоже иногда плохо говорят по-английски. И немецкий они знают!» Я часто выдавал себя во время походов за голландца, опасаясь излишних дискуссий по поводу немецкого характера или рассуждений о милитаристском духе немцев. «Я родом из Голландии. Голландец я!» — кричало все у меня внутри. Меня охватил панический страх, словно я и есть тот самый виноватый — я, этот отощавший «автостопщик», вот уже много лет убегающий от своей несчастной родины, потому что не может снести вины, которая лежит на всех — его родителях, соседях и на возможных «авторитетах». «Я из Голландии, я родом из Голландии: тюльпаны, сыр, Анна Франк! Нет!»

— Я — немец! — выпалил я излишне громко. Группа умолкла, и все как один, посуровев, стали смотреть теперь на меня. Я встал и пошел на палубу, где лежали мои вещи, и сел на свой рюкзак. Вокруг меня кипела громкая и неумолчная жизнь. Палубные пассажиры-турки обихаживали своих детей, курили, болтали с соседями. Во мне все как будто вымерло.

«Я — немец». Немец! — отзывалось эхом в моей душе. Впервые я публично признал свою причастность к тому, от чего,

подспудно сознавая свою совиновность, бежал из года в год. Это было так просто: «Я — немец!» Звучало, правда, не очень хорошо. Вроде как «Я один из Гиммлеров, Гейдрихов, Эйхманов». Или: «Я один из тех, кто навечно отмечен клеймом преступника, тот, кто вечно должен нести на себе чудовищную вину, которую взвалили на себя немцы по отношению к евреям». Признав свою идентичность, я почувствовал себя совершенно спокойно, хотя не испытал ни облегчения, ни радости.

Ближе к вечеру он пришел ко мне на нижнюю палубу, этот блондинистый «кактус» из Израиля. Мы долго молча стояли у поручня и смотрели на пенящуюся морскую воду.

— Мои родители смогли убежать в 1938 году, — заговорил он вдруг без всякой связи. — У них была отличная аптека в Люнебурге. Все остальные члены моей семьи были уничтожены — бабушка, дедушка, дяди, тети!

У меня перед глазами встали фотографии из «Желтой звезды»: бабушки, дяди, тети на грузовиках! Он опять замолчал. Мы смотрели на море. Почти все время нашего совместного пребывания на корабле и потом, когда мы жили с ним в Измире в одной комнате, мы молчали. Мы любили друг друга. Нас тянуло друг к другу. Но мы не могли преодолеть то, что стояло между нами: я — немец, он — еврей!

Это было его первое путешествие за пределы Израиля. И это была его первая встреча с молодым немцем послевоенного поколения. Был бы я из старых закоренелых сородичей, сказал он мне однажды после целой недели знакомства, ему все было бы ясно, а так…

На судне не было кошерной еды, и он все время приносил мне вниз то, что полагалось ему. Он садился напротив, но на меня не глядел. Вечерами мы долгие часы сидели друг подле друга на моем любимом месте в тени трубы и неотрывно смотрели на море.

Мне так хотелось рассказать ему о себе и своей жизни, но как только я пытался связать слова воедино, они начинали звучать фальшиво тщеславно или как оправдание. «Оправдание — в чем?» — думал я потом и злился на самого себя. И он тоже делал попытки о чем-то поговорить со мной, но так ничего и не сказал. Так мы и сидели, держа свои мысли при себе, и между нами зависала неподъемная тяжесть, для которой новая жизнь до сих пор не подобрала подходящего слова.

Мы прибыли в Аланью. И могли сойти на берег. Группа израильских студентов решила совершить экскурсию на гору, возвышавшуюся над городом. Морские разбойники воздвигли там во II веке до Р. Х. неприступную крепость. Примерно через сто

лет, в 67 году до Р. Х., римляне отправили туда Помпея и с ним значительные боевые силы, чтобы разбить пиратов, державших под угрозой всю восточную средиземноморскую торговлю. В средние века сельджукский султан Ала-ад-дин Кей-Кубад завоевал этот маленький город и расширил его.

Я присоединился к студентам, мы пешком взобрались на эту историческую скалу и уселись на покрытом скудной зеленью холме неподалеку от вознесшейся над морем остроконечной вершины. Израильтяне предались оживленной беседе на своем языке. Я же сидел немножко в стороне от них, и тут со мной это и приключилось.

Я задремал, и мне приснился сон.

Гора расступилась передо мной, и я заглянул в глубокий круглый кратер. На стенах этого кратера я увидел рыцарей, солдат, панцирные латы и шлемы — воинов всех времен и народов! Все пришло в движение. Казалось, каждый сражается по законам своего периода истории: рубит, колет, стреляет. Я как бы заглянул в историю человечества. И увидел распри и раздоры, беду и нищету народов, победы и поражения, надежды и отчаяние как людей сегодняшнего времени, так одновременно и средневековья, и античности.

Я все видел, и меня вдруг осенило. Я понял, что движет людьми с незапамятных времен. Я постиг закон истории. Я познал закон жизни.

Что это со мной было? Но увиденная мною картина вдруг исчезла. Я поднялся, словно оглушенный, и побрел, пошатываясь, вслед за группой, которая уже начала спуск.

Это было неописуемо! Может, мне, ослабленному болезнью и ставшему сверхчувствительным, было видение? С беспримерной ясностью мне открылась сама жизнь. На «Мармару» я возвратился другим человеком. Последующие часы я сидел на палубе как одурманенный и думал о том, что только что пережил. Что же со мной произошло? Такое ведь не могло мне просто присниться! Это было нечто большее. Оно захватило и изменило меня. Это могло быть только воспоминанием о чем-то, что я уже однажды раньше «знал», некое изначальное, «примальное» воспоминание.

Я не мог себе этого объяснить и, что еще хуже, не мог сформулировать в словах то, что познал. Все было во мне, но я не мог ничего сказать. Мне не хватало для этого слов. Я узнал что-то, что находилось за пределами возможностей языка. И я не знал, как это выразить.

Но с этого момента я наверняка «знал», что жизнь развивается по собственным внутренним законам. С этого момента я «осознал», что жизнь не бессмысленна и не

разрушительна, а только следует своим правилам, которые нам предстоит открыть и познать.

Неважно, при каких обстоятельствах случилось это тогда со мной на вершине горы Аланья, но и сегодня, после стольких лет, картины эти кажутся мне даже еще невероятнее: было ли то видением или галлюцинациями, но они стали для меня исходным душевным потрясением, жившим во мне и оказывавшим на меня влияние многие годы. Я все время искал во всем, что приключалось со мной в жизни, объяснение виденному мною на горе Аланья.

Однако наше путешествие продолжалось. Мы прибыли сначала в Анталью, потом в Фетхие, Бурсу и на четвертый день добрались наконец до Измира.

Мы с «люнебуржцем» направились в один пансионат. Я тут же принялся разузнавать, какими путями можно покинуть это заблокированное государство. Похоже, намечалась возможность перебраться через Чесму, расположенную на полуострове в восьмидесяти километрах от Измира, на греческий остров Хиос, до которого оттуда было всего одиннадцать километров.

Я решил испробовать этот вариант. Мой израильский друг стоял на ступеньках пансионата. Мы не простились, не пожелали друг другу счастья и не выразили надежды встретиться однажды снова. Я просто пошел, а он стоял и смотрел мне вслед, пока я не исчез за углом. Мы никогда больше не виделись.

Я сел в маленький автобус, до отказа набитый турками и их домашней скотиной: козами, овцами, курами… Через несколько часов он должен был прибыть в Чесму. Я уступил древней турчанке с трудом отвоеванное при штурме этого тарантаса место и стоял теперь в проходе ковыляющего и подпрыгивающего на ходу рыдвана на одной ноге между ящиками и мешками.

Примерно через сорок минут, отъехав от Измира восемнадцать километров, дряхлый мотор диковинной колымаги начал чихать. Еще через несколько сотен метров он заглох, и все пассажиры вывалились со своим скарбом и скотом наружу, чтобы стать свидетелями того, как водителю удастся запустить это «автоископаемое», испускающее вместе с паром и дух. Вскоре, однако, выяснилось, что водитель просто-напросто забыл заправиться, и тогда все спокойно стали наблюдать, как он пошел с пятилитровой бутылью из-под вина назад в Измир, чтобы наполнить ее горючим.

Мои нервы были словно оголенные провода! Я высчитал, что все это ожидание растянется по меньшей мере часов на пять. Я видел перед собой асфальтированную дорогу и был убежден, что преодолею это короткое расстояние примерно за то же время на

попутке. Я догнал шагавшего вразвалочку водителя и потребовал назад свои деньги. Еще и сегодня вижу его удивленный и недоумевающий взгляд, когда он, покопавшись в кармане брюк, отдал мне (в перерасчете) две марки восемьдесят пфеннигов. Довольный, я перекинул рюкзак через плечо, взял гитару и, полный надежд, зашагал навстречу желанной цели.

Начало моросить. Одна, две машины проскочили мимо, и все стихло. Через несколько километров асфальт закончился, и дорога превратилась в скользкую колею, покрытую грязным месивом. Я продолжал бодро шагать, все еще надеясь, что какой-нибудь грузовичок или фургончик ускорит мое продвижение. Навстречу мне шел караван из одногорбых верблюдов и мулов.

— Салам алейкум! — приветствовал проводник, ехавший впереди на осле.

— Салам алейкум! — ответил я.

Местность начала меняться. Обе стороны непроезжей дороги окаймляли теперь рыжие глинистые холмы. Я шел и шел. Постепенно спустились сумерки. И вдруг я кожей ощутил, что вокруг меня — библейский пейзаж. Может, за этими мрачными холмами, громоздящимися с обеих сторон моего пути, и хищные звери водятся? И иду ли я вообще по дороге в Чесму, или уже давно заблудился и не заметил этого?

Меня обуял страх. Теперь я не просто быстро шел, я бежал. И вдруг увидел впереди слабо вспыхивающий свет. Я еще прибавил скорости, двигаясь все время навстречу свету — это оказался разведенный костер. Измученный вконец, я направился к костру. Передо мной расположился на отдых караван. Собаки обнюхали меня, когда я подошел. Тот, кто поддерживал огонь, пробормотал «салам алейкум», на что я, не ответив, сел к огню. Я вытащил из рюкзака кусок сыра. Турок подал мне кожаный мешок с водой. Я поблагодарил его поклоном. Потом раскатал свой спальный мешок, накрылся плащом и заснул мертвым сном.

Когда я наутро проснулся, то был уже один — каравана и след простыл. Огонь еще немножко теплился. Я скатал свой мешок, сложил пожитки и пошел искать дорогу, обнаружив ее вскоре в виде изрытого глубокими колеями непроезжего пути, и бодро зашагал, испытывая радость от только что пережитого «библейского приключения».

Часов около одиннадцати я наткнулся на деревню и решил там позавтракать. В каждой турецкой деревне есть что-то вроде сборного пункта, так называемое «кафе», где, сидя на улице под тентом от дождя и солнца на расшатанных стульях за расшатанными деревянными столиками, можно получить чай, сваренные вкрутую яйца, соль и немного хлеба. Я сбросил с себя в

таком «кафе» рюкзак, заказал чаю и одно яйцо и спросил неуверенно обступившую меня деревенскую молодежь про автобус на Чесму, постукивая при этом по циферблату часов и обращаясь к стоявшим поближе с просьбой показать мне время отправления. «Четыре часа», — последовал единодушный ответ, подтвержденный потом и уличными прохожими. Я принялся приводить в порядок вещи, пострадавшие от дождя и грязи, сделал дорожные записи, все время заново справляясь у заходивших в «кафе» людей и показывая на часы.

— Автобус — Чесма?

— Четыре часа, — следовал неизменный ответ.

Было уже три часа, потом четыре и, наконец, пять.

— Автобус — Чесма? — спрашивал я все более нервно.

Наконец мне попался более пожилого возраста житель деревни, повидавший «мир». Он тоже показал на четыре часа на моем циферблате.

— Четыре часа, четыре часа! — заорал я, как безумный. — Но где же тогда этот ваш автобус?

Он прошел в четыре часа, попытался объяснить мне этот деревенский «знаток», но в стороне от деревни, в одном километре отсюда, где дорога на Чесму, там он проехал! Взбешенный, я закинул за спину рюкзак и кинулся бегом из этой дурацкой деревни. Опять я месил грязь на дороге. Потому что опять шел дождь.

Я дошел до хибары, в которой жили с дюжину турецких солдат. Подсел к костру, разожженному у порога, и выпил с ними предложенного мне чаю.

Наступила ночь, и они пригласили меня переночевать вместе с ними. Внутри домика ничего не было, кроме стола и стула. Однако я согласился, потому что события прошедшей ночи подсказывали мне, что нет смысла отказываться от ночлега в сухом месте.

Когда костер потух, мы направились в дом. Я разложил мешок и устроился в нем на ночь. Но из этого ничего не вышло. Стоило последней свече погаснуть, как послышались какие-то странные звуки и стоны. И вот уже один из тех, кто лежал рядом со мной, зашарил по моему спальному мешку. Вот их уже двое, потом трое! И тут до меня дошло, в чем дело. Я выбрался, пустив в ход кулаки и раздавая налево и направо удары, из спального мешка, схватил вещи и бросился на улицу.

Опять я маршировал в одиночестве сквозь этот ночной библейский пейзаж. Опять начало тихонечко моросить. И дождевые капли сбегали по моим щекам, словно слезы.

Вдруг я услышал рычание мотора. Я увидел, как вспыхивают

фары — то тут, то там. Как сумасшедший кинулся я бежать, петляя по скользким холмам. Это был мой последний шанс выбраться отсюда. Да, но где дорога? Никогда еще меня не охватывала такая паника. Если машина проедет мимо меня, я не переживу ночи в этой дикой пустыне. Я кидался то в одну, то в другую сторону, где видел вспыхивающий свет фар медленно приближающегося транспорта. Наконец я встал на дороге непосредственно перед слепящими меня фарами и стал призывать водителя, дико размахивая руками, остановиться.

Машина остановилась. Водитель вылез из кабины и подошел ко мне. Это был тот же самый водитель и тот же самый автобус, от которого я в своем возбужденном состоянии отказался накануне. Человек посмотрел на меня печальными глазами, потом покачал головой и медленно повел меня в автобус, в нем было совершенно пусто. Водитель уложил меня на заднее сиденье, укутал одеялом и принес кусочек сыра, перед тем как тронуться дальше.

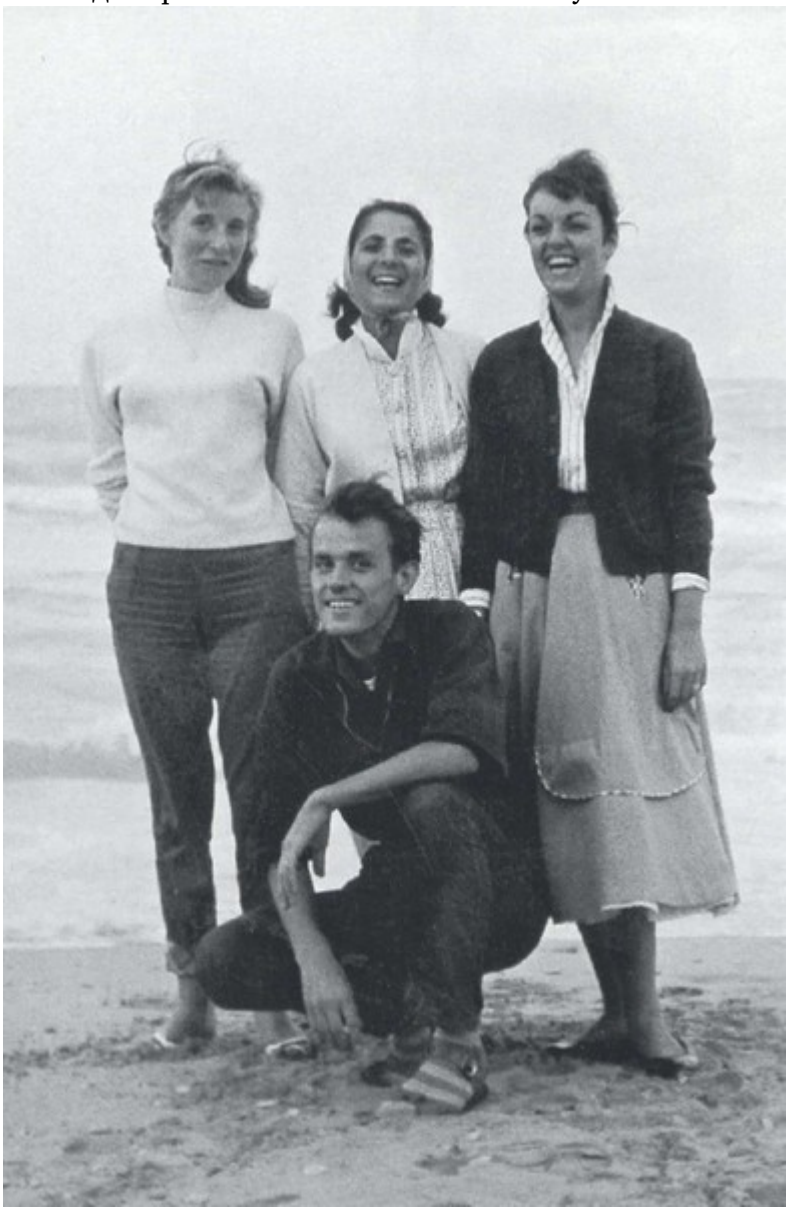
Примерно в одиннадцать часов утра он ссадил меня перед пансионатом в Чесме. Шатаясь, я вошел вовнутрь. Бросаясь на кровать, я успел только заметить, что все четыре ножки стояли в консервных банках с водой. Я слишком устал, чтобы удивиться этому. Измученный, я заснул в ночлежке, перенаселенной клопами и вшами.

Прошло три дня, прежде чем я нашел рыбака, согласившегося перевезти меня за внушительную по тем временам сумму ночью на Хиос.

В тот же день я сел на пароход, отправлявшийся в Афины: опять место на палубе, но на сей раз никакого шанса забраться на верхнюю палубу первого класса — его просто не было. Мы добирались до Пирея одиннадцать часов, и все это время я держался подальше от пассажиров. Я был весь во вшах. Кроме того, изо рта шел ужасный запах — начиналось цингообразное воспаление десен. И это еще не все — мои кишки тоже не желали «отставать»: перенесенная мною, как я думал, «турецкая болезнь» снова давала о себе знать, да еще и как громко! Это переполненное событиями и горестями путешествие неотвратимо приближалось к концу. Я это чувствовал. Вряд ли у меня хватит еще сил взять в Афинах новый старт и попытаться добраться в обход Турции до цели моей мечты — Индии.

Сойдя в Пирее с корабля, я уже смирился с тем, что это — конец «великого похода» и одновременно одна из завершающих фаз моего жизненного пути. Я не отправился, как раньше, на протестантское кладбище в Афинах, чтобы переночевать там среди могил и собрать на следующее утро у голосующих на

дорогах хиппи новейшую информацию о дешевых ночлежках, кратчайших маршрутах передвижения и о покладистых «девицах» вдоль выбранного пути, — вместо этого я купил пачку продававшегося тогда повсюду ДДТ, снял комнату в маленькой чистенькой гостинице и на другой день отправился к говорящему по-немецки зубному врачу, который в тот же вечер пригласил меня — настолько я уже привел себя в порядок — в немецкий клуб «Филадельфия» на богатый витаминами ужин.



Под Фоджей мне снова повезло…

В Афинах я оставался десять дней, пока мое здоровье не пришло окончательно в норму, правда, я угодил там в ловушку к контрабандистам, промышлявшим бриллиантами, от которых избавился, сбежав на паром, курсировавший между Пиреем и Бари.

Под Фоджей «удача на дорогах» снова покинула меня. Я простоял целые сутки на оживленной туристской трассе, и никто ни разу не остановился. В конце концов поздним вечером я решил устроиться на ночлег на пляже и встретил там трех молоденьких итальянок, пустивших меня переночевать в их летний домик. Потом они целую неделю с любовью ухаживали за мной и всячески баловали.

Утешенный, окрепший и с большей внутренней уравновешенностью вступил я в последний этап этого отрезка моей жизни, в течение которого с лихвой изведал эмоциональные взлеты и падения. Я искал бегства на стороне. И это не было только жаждой приключений или желанием увидеть чужие страны. Что-то толкало меня, будто хлыстом выгоняло из дома. Я выскочил и разорвал этот маленький и тесный мирок провинциального рурского городка.

Я словно искал романтический «голубой цветок», скитался по свету, как юный рыцарь в поисках Грааля или «золотого руна», пытался найти какие-то ответы на свои вопросы. Из всего перечисленного я не нашел ничего. Зато познал, что есть другой мир.

Друзья на родине удивлялись, когда я рассказывал им о том, что увидел и пережил, но ни один из них так и не последовал моему примеру, кроме друга Ади, который после моего рассказа в 1957 году о греческом острове Санторин ездит туда постоянно.

Родина обрела некую относительность. Она перестала быть для меня единственно возможным местом и соответственно мироустройством на земле. И я отправлялся назад домой с некоторой уверенностью, что, возвратясь с чужбины, сумею воссоздать там что-нибудь для себя, что сможет с гарантией дать мне чувство принадлежности к этому историко-культурному пространству.

Глава 6
Возвращение

Говорят, жизнь складывается из временных скачков, каждый из которых длится семь лет.

Мое детство — первый временной отрезок от годика до семи (1938–1945) — я не могу обозначить иначе как «счастливое». Война воспринималась как романтическое приключение. Благодаря заботам родителей я не испытывал лишений. Бомбежки Берлина до 1942 года казались увлекательным зрелищем для маленького мальчика, которого «квартальный» брал иногда с собой на вахту перед входом в бомбоубежище, чтобы показать фейерверк из «рождественских свечек» — сыпавшихся с неба искрящихся ракет, освещавших перед налетом местность и цели бомбежки.

Позднее, когда отец перевез семью в Австрию, в маленький домик недалеко от Браунау, я рос в саду, на свежем воздухе и под солнцем. За эти годы я окреп, во мне накопилась здоровая естественная физическая сила, и я по сей день черпаю ее оттуда.

Артобстрел американцев в последние дни войны с другого берега реки Инн, ночной гул американских танков, пролетевшая по воздуху коза, рядом с которой разорвался снаряд, бреющий полет штурмовиков над нашими головами, когда мы, школьники, возвращались с уроков домой, полуголодные русские пленные, которых тысячами гнали мимо нашего дома к лесу, — все это воспринималось мною с большим удивлением, но отнюдь не с точки зрения исторического значения событий или глубины человеческих трагедий.

Друг нашей семьи, инженер-строитель и офицер вермахта, часто приходил тогда к моему отцу. Шестилетний мальчуган, невольно зараженный разговорами родителей о войне и бесперебойной трескотней военных корреспондентов по радио, останавливал появляющегося в гражданском «дядю» возле садовой калитки окликом: «Стой! Кто идет? Пароль!», наставляя на него свое деревянное ружье — обыкновенную толстую палку с веревкой, чтобы ее можно было вешать через плечо. «Дядя» отодвигал «ружье» в сторону, гладил мальчика по головке и внушал ему:

— Петерхен, никогда не направляй оружие на человека!

Однажды с хитростью невинного младенца я ответил:

— Дядя, но это же обыкновенная палка!

— Этого никогда нельзя знать наверняка! — произнес он

глубокомысленно. — Кто знает, а вдруг и такое ружье может выстрелить?

И попросил меня поставить под яблоню пустую бутылку, а за ней приладить досочку. Я все старательно проделал, будучи уверенным, что этот эксперимент закончится для «дяди» полным конфузом. «Дядя» занял позицию примерно в десяти шагах от яблони, приставил к плечу мое деревянное ружье и медленно прицелился. Вдруг оглушительный выстрел разорвал тишину, и бутылка разлетелась на тысячи осколков. Опечаленный, он протянул мне ружье, которое я потом, вытащив пулю из досочки под яблоней, разобрал на мелкие кусочки, чтобы узнать тайну выстрела.

Деревянное ружье…

Этот воспитательный «трюк» нацистского офицера, находившийся в полном противоречии с господствовавшей тогда идеологией, потряс меня до глубины души.

С другой стороны, я вспоминаю, что под влиянием национал-социалистической пропаганды и комментариев моих родителей на тему терпящего крах «немецкого рейха» и поставленных перед ним военных задач, все еще воспринимаемых как славные и высокие цели, в сознании подрастающего мальца формировалось безграничное сочувствие к иностранцам, не принадлежавшим к возвышенному и благородному миру непонятых и преследуемых немцев!

В 1945 году мы «бежали» на другой берег Инна в Зимбах, где мой отец обменялся с австрийцем на прелестную квартирку в особняке на две семьи сразу непосредственно за дамбой. И этот второй семилетний отрезок жизни, оставшийся в памяти огромным полем подсолнухов перед окном и быстрыми водами реки Инн, на берегу которой я играл, привнес в мой характер много естественного, укрепив также жизненные силы. Я ухаживал за кроликами, плавал и нырял в реке, собирал осколки бомб, «сражался» с бандами беженцев-подростков, делавших набеги со стороны вокзала, и, как единственный в «прусской» семье говоривший «по-баварски», мешочничал, раздобывая у местных крестьян сливочное масло, яички, фрукты и овощи.

Однако отец, получивший место инженера на фирме «Сименс» в Мюльхайме-на-Руре, приезжал к нам только раз или два в году. Матери какими-то непонятными усилиями удавалось внешне сохранять видимость порядочной семьи, но она не сумела стать для подрастающего, «как сорняк», мальчишки твердой опорой и дать ему необходимые ориентиры в жизни.

Народную школу я еще закончил как «один из лучших». Но потом, став учеником частной школы Гюльденапфеля, занятия в которой за отсутствием школьного помещения проходили в пивной, я почувствовал, как во мне нарастает протест, драчливость и жажда разрушения. Перед глазами не было примера или авторитета, который мы, «молодые щенки», еще готовы были признать и уважать. Я прогуливал школу, придумывал сногсшибательные отговорки, участвовал во всяческих проделках и был рад, когда снова оказывался у себя на «дикой природе» — на берегу реки за дамбой — и мог предаться своим воображаемым исследовательским экспедициям или пиратским вылазкам.

Река магически притягивала меня — ее глинистое дно, мутная, быстротекущая вода, множество островков и заводей, образующихся после паводка, запах стоящих на якоре баркасов, пахнущих свежим дегтем. Насекомые, рыбы, тритоны и змеи, приковывавшие мое внимание, были в сотню раз интереснее невразумительного бормотания утративших в себя веру учителей.

Я думаю, что все, кто занимался тогда моим воспитанием, были убеждены, что я окончательно одичал.

Когда в 1949 году отец забрал наконец семью в Мюльхайм-на-Руре, у всех появилась надежда, что меня все же удастся «обуздать» и я наконец займусь уроками в школе, вняв призыву «стать человеком» и «найти свое место в обществе». Но я и здесь не оставил того вольного образа жизни, к которому привык. Школа и мои обязанности по отношению к обществу были мне безразличны. С гораздо большей охотой я ходил на «тайные сходки» подростков, собиравшихся то на старом кладбище, то перед открытой городской эстрадой, то в тихом парке удаленной от городского шума больницы, возле пруда старой каменоломни, чтобы понырять за тритонами, а то и просто среди руин на втором этаже сгоревшего дома, где на восстановленном первом жила семья моего лучшего друга Ади Шефера.

В итоге у меня все больше накапливалось проблем со школой, пока наконец отец, которого вскоре после нашего переезда в Мюльхайм перевели в Эрланген во Франконию, не запретил мне в один из своих редких наездов домой «болтаться» и дальше с разными группировками, называвшими себя кто «бойскаутами», кто «перелетными птицами» или — и это уже придумал я сам — «Товарищеское содружество мальчиков и девочек», внушавшее, кстати, моим родителям в связи с появившимся у меня настойчивым желанием поездить и побродить подальше от дома, некоторое успокоение, поскольку как бы имело официальный статус организации. Это восстановило меня еще больше против основных патерналистских авторитетов — школы и родительского дома. Все кончилось тем, что я завершил этот семилетний этап жизни первым «побегом из дома». Мне было тогда четырнадцать. Шел 1952 год, и я вступил в третью фазу своей жизни, закончившуюся только что описанным последним «великим походом» в Турцию.

Стояло еще лето, когда я возвратился из Турции и Греции в Мюльхайм. Для начала я пошел «на стройку», нанявшись разнорабочим в одну строительную фирму, чтобы пополнить отощавший за поездку кошелек и обеспечить себе существование, зарабатывая деньги на арендную плату за чердачную комнату на несколько ближайших месяцев.

Прораб на этой стройке не любил «худосочных студентов», которые, как он считал, воображали из себя бог весть что и только отбирали у честных работяг заработок. При первой же возможности он изыскивал для меня унизительные и изнурительные работы, чтобы показать, что я не гожусь для настоящего дела и должен подобру-поздорову убраться туда,

откуда пришел. Он отправлял меня по наружным стропилам на третий этаж с мешком цемента на спине весом не меньше центнера и при этом наблюдал за мной: само собой, на втором этаже я ронял мешок, и тот лопался прямо перед ним. Я действительно не был силачом и не мог выдержать такую физическую нагрузку, хотя и пытался, собрав волю в кулак, доказать прорабу обратное.

Когда же после этого он давал мне в руки кувалду и тяжелое долото и приказывал, стоя на стремянке, выдолбить в цементной стене углубление в тридцать сантиметров глубиной и двадцать шириной, гнев и ожесточение против «несправедливости мира» объединялись во мне с личным отчаянием по поводу собственного положения. Стиснув зубы и непрерывно обливаясь потом, превращавшим мое покрытое цементной пылью лицо в маску зебры, я пытался выполнить это тяжелое задание, но после целого часа непрерывного долбления и стука мне удавалось углубиться только наполовину. Прораб подходил, вытаскивал свою дюймовую линейку, делал замеры и качал головой. А когда он засек меня на полу возле стремянки за маленьким перекуром, то дернул за рукав и сказал:

— Здесь, господин студент, такое не положено. Отдыхать будем в университете, а здесь люди работают!

И он заставил меня влезть на стремянку и еще наблюдал какое-то время, как я распухшими руками бил кувалдой по долоту.

Наконец мне все это осточертело. Я понял, что должен заняться нормальной человеческой работой, которая сможет меня прокормить и обеспечить более или менее сносный уровень жизни. В летнее время я буду каждый год сматываться отсюда, чтобы повидать другой мир. Но сейчас мне нужна солидная, надежная работа, возвращающая меня к привычным жизненным масштабам, соизмеримым с моим происхождением.

Только где она, эта родственная по духу работа? Может, мне заняться коммерческой деятельностью? Пойти работать в контору? А возможно ли такое, что я выдержу в этих учреждениях, да еще с их иерархией подчинения, больше пары месяцев? Это при моих-то нестандартных амбициях и при всех тех проблемах, которые сидят во мне, словно заноза? И где гарантии, что я могу рассчитывать одновременно на приобретение приличной профессии и маленькую зарплату, покрывающую издержки моего скромного жизненного содержания?

На следующее утро я встал со своего развороченного ложа, где прометался всю ночь, страдая бессонницей и жгучими болями в распухших суставах и раздираемый терзавшими меня

вопросами. Я вымылся, как сумел, над маленьким умывальником в каморке, оделся посолиднее, исходя из возможностей небогатого гардероба, и поехал на трамвае в соседний Эссен, к другу отца, многолетнему редактору газеты «Вестдойче альгемайне цайтунг».

Седовласый приветливый старик-редактор, с которым я познакомился в винном погребке, куда любил захаживать, многозначительно полистал страницы, которые я принес с собой. Потом встал, вышел из-за письменного стола и присел на край.

— Вполне возможно, что у тебя есть журналистский талант, — сказал он после того, как долго изучал меня взглядом, — но этого недостаточно, чтобы стать хорошим журналистом! Надо сначала чему-нибудь выучиться и узнать, что такое жизнь. Если ты и после этого захочешь работать в газете, милости просим, приходи!

Не успел я оглянуться, как снова стоял на улице. Начало накрапывать. Засунув руки глубоко в карманы брюк, я задумчиво брел по неопрятным улицам этого «угольного» городка. Теперь я уже не помню, был ли я в отчаянии. И не помню, какие мысли бродили у меня в голове, когда я вдруг остановился перед витриной большого книжного магазина.

Я вошел туда, спросил, как пройти к директору, и осведомился у него, не может ли он взять меня в ученики. Он оглядел меня сначала так же, как и тот редактор, сверху донизу, сказал «нет» и посоветовал обратиться к одной из его коллег «там-то и там-то».

Выйдя на улицу, я увидел свое отражение в витринном окне: мокрые, склеившиеся сосульками волосы, высоко поднятый воротник куртки, несколько размокших листков бумаги под мышкой.

Я поспешил на главный вокзал, нашел там туалет, просушил худо-бедно волосы и гладко причесал их. Затем сел на ближайший поезд в Дуйсбург и прямиком направился к тому книготорговцу, у которого, учась в школе, часто рылся на полках и покупал по рекомендации этого старого человека кое-какие важные для себя книги.

Господин Зельбигер был глубоко убежден в духовном призвании быть книготорговцем. Он жил жизнью своих книг и не уклонялся ни от одного, даже самого «абсурдного» разговора с покупателями. Он также близко принимал к сердцу все, что касалось нас, «молодых людей», и старался помочь советами и книгами. Его книжный магазин «Атлантида» очень скоро стал литературным и художественным центром Дуйсбурга, в котором частенько толклись недоедавшие интеллектуалы и художники,

почти ничего не оставлявшие в кассе этого неравнодушного к своему делу книготорговца. Злые языки поговаривали, что этот «еврей»(!), возвратившийся в Дуйсбург из концлагеря, в своем книжном магазине «имеет навар» не только с денег, полученных в качестве возмещения ущерба за понесенные страдания, но и подпитывается еще из каких-то других источников («кто знает, каких?»).

К этому человеку я испытывал величайшее доверие и именно у него хотел бы научиться «прекрасной профессии книготорговца». Он встретил меня в своей обычной манере — чрезвычайно приветливо и проявляя ко мне интерес, потом потащил в маленький, заваленный стопками книг кабинетик и спокойно выслушал просьбу. К сожалению, он не мог мне помочь, как бы этого ни хотел. Он только что, неделю назад, взял себе третьего ученика, и на этом его финансовые возможности были исчерпаны.

Мы стали вместе думать, что можно предпринять. И в конце концов он посоветовал мне обратиться к его самому злейшему конкуренту — в «Книжный магазин Брауна». И хотя господин Браун книготорговец совсем другого склада, чем он, но если я действительно хочу выучиться профессии книготорговца, то это самое лучшее место. А на то время, когда я выучусь, он с удовольствием припасет для меня местечко в своем магазине.

С тяжелым сердцем вышел я из магазина этого доброго человека и направился в расположенный в ста метрах от него «Книжный магазин Брауна». Там царила ровная деловая атмосфера, очень отличавшаяся от книжного развала в магазине господина Зельбигера. Ко мне тотчас же подлетела маленькая высокомерная продавщица и спросила, что я желаю.

— Господина Брауна, пожалуйста!

— Вы записаны на прием?

— Нет!

— По какому делу вы хотите переговорить с господином Брауном?

— По личному!

— Не могли бы вы выразиться несколько конкретнее?

— Хочу поступить к нему в обучение!

— Я доложу о вас господину Друде, нашему прокуристу!

Господин Друде, человек лет сорока, непрестанно потиравший руки, почти целый час разглагольствовал передо мной о важности профессии книготорговца, о той ответственности, которую несет за воспитание, образование и духовное развитие народонаселения книготорговец, и о том, что эта профессия не резервный вариант для несостоявшихся

писателей или неудачников, отступивших перед трудностями, а важное торговое дело, к которому надо относиться ответственно и серьезно. Все еще продолжая говорить об ответственности и серьезности, он вдруг вскочил и бросился в коридор со словами:

— Я представлю вас господину Брауну!

Я с грохотом кинулся к двери, едва поспевая за ним, и вскоре очутился в кабинете господина Брауна, сидевшего в маленьком стеклянном «колпаке» наверху магазина, откуда ему был виден каждый входящий.

— Господин Браун, я хочу представить вам нашего нового ученика, завтра утром он приступит к работе!

Вот так я и угодил в ловушку, которую расставил сам себе. Скоро я, однако, привык к ежедневной работе и ее размеренному ритму, благодаря чему ушла внутренняя напряженность и даже выработалась некоторая раскованность: больше не надо было каждый день снова идти в бой, собираться с духом на какие-то решительные действия, доказывать свое. Рабочий день в книжном магазине начинался в восемь утра, а в семь вечера я освобождался.

Из чего сложится этот рабочий день, практически всегда можно было предвидеть: до одиннадцати в подвале — распаковывать новые поступления и запаковывать книги, подлежащие отправке почтой. С одиннадцати до половины первого — смахивать пыль с книг. Вынимать книгу за книгой с полок и прочищать по обрезу маленькой кисточкой. После обеда расставлять, переставлять и отсортировывать книги, не пользующиеся спросом, отбирать книги для рассылки по договорным ценам, наклеивать ярлычки с новой ценой, выписывать счета, отправлять заказы на оптовый книжный склад.

Ничего мудреного в том, чему меня учили, не было: например, как составлять библиографию, записывая в карточку сведения об издательстве и о предоставлении особых скидок, но главное — это как обращаться с книгами: профессионально распаковывать, профессионально упаковывать или особо заворачивать книгу, купленную в подарок.

Иногда работа доставляла мне даже радость. Например, когда доводилось долго и подробно информировать заинтересовавшегося покупателя и тот в конечном итоге следовал моему совету. Правда, вокруг меня все время мельтешила с озабоченно наморщенным лбом продавщица номер один в нашем магазине фройляйн Вагнер (она настаивала на таком обращении, несмотря на свой продвинутый возраст!), то задвигая после меня книгу на полку, то поправляя стопку на столе, и все время подавала мне недвусмысленные знаки, что я должен в первую

очередь продать бестселлер вроде «Анжелики» или последнего Зиммеля, пятьсот экземпляров которого мы закупили по выгодной цене и в подвале все еще лежит огромная стопка. Но я не думал об этом, а предлагал покупателю книги, от которых сам был в восторге, и потому считал, что они понравятся и другому человеку. В этом заключалась моя маленькая свобода, которую я здесь себе позволял. И постепенно дирекция сдалась и перестала навязывать мне свои правила торговли, тем более что покупатели все чаще спрашивали именно меня, когда снова заходили в магазин.

В те дни я много читал, чего, собственно, от меня и ждали при моем обучении. Я читал всех классиков от первой строчки до последней, философов, поэтов, их биографии.

Но в первую очередь я интересовался научной литературой и брал книги с психологическим уклоном, пытаясь найти в них ответы на собственные вопросы. Узость замкнутого мирка этого книжного магазина давила на меня. Все начиналось с пересушенного удушливого воздуха, который ударял в нос каждое утро, стоило переступить порог магазина. Я распахивал настежь дверь, чтобы проветрить помещение, но шум интенсивного уличного движения затруднял общение с покупателями.

Я смотрел на давно работающих продавщиц, обрушивавших на людей с несокрушимой надменностью свои полуграмотные суждения о книгах, почерпнутые ими из рекламных текстов на клапанах суперобложек, словно они действительно могли сообщить что-то дельное. Этот книжный магазин стал для них «пупом» земли. Их суждения о коллегах и ближайших конкурентах, особенно о высокоценимом мною господине Зельбигере, были уничижительными. Этим людям не давала покоя слава знатоков литературы, и я понял, отчего у покупателей, которые страшатся переступить порог книжного магазина, возникает этот широко известный синдром — они боятся таких «всезнаек».

Но моя собственная проблема того времени заключалась не в этом. Она таилась в моей биографии, а следовательно, сидела во мне самом.

Я сделал в своей жизни резкий поворот руля — отказался слепо идти на поводу у собственного желания непременно вырваться отсюда на волю и уехать в неизведанную даль, потому что понял: то, что я ищу, я там не найду. А кроме того, я поставил перед собой цель стать книготорговцем и хотел, чтобы ничто на свете не отвлекало меня от этого.

Так-то оно так, но внутри все бродило и бурлило, как в жерле вулкана. Я каждый день ждал извержения, взрыва, который, того

и гляди, разломит меня пополам. Все во мне противилось и восставало. Я был словно плененный зверь, готовый броситься на решетку клетки. Мне хотелось бежать, выйти на дорогу, уехать автостопом куда глаза глядят, только подальше отсюда. Особенно весной, когда запахло жасмином и олеандром, появились первые зеленые побеги и в воздухе повеяло первым слабым дуновением ветра, подгонявшего меня в спину, когда я с мрачным видом спешил на вокзал.

Что, собственно, случится, если я не сойду в Дуйсбурге с поезда, а просто останусь сидеть до конечной станции и потом тронусь дальше, все время прямо и прямо, до самого моря?

Эта мысль сжигала меня. Конечно, я изо дня в день сходил в Дуйсбурге, пересекал вокзальную площадь и шел к книжному магазину, чтобы дышать там застоявшимся пыльным книжным воздухом, и даже просил разрешения, борясь с самим собой, остаться вечером для оформления витрины, так что в свою чердачную комнату я возвращался только в два часа ночи, совершенно опустошенным и выжженным изнутри, и тут же проваливался в летаргический сон.

Прошло не так много времени, и я стал реагировать на свою судьбу головной болью, развившейся на нервной почве. Я точно знал, что со мной происходит, но не знал, как помочь себе. Поэтому я погрузился в изучение специальной литературы по психологии, читал Фрейда, Карла Густава Юнга, Адлера, пробовал заниматься аутотренингом по системе Шульца, прибегал к «дзэну» и йоге. Кончилось тем, что я отправился на прием к психотерапевту и описал врачу свою беду.

Мне принесло облегчение, что я смог рассказать кому-то о той сверхтяжести, которая камнем давила на меня. Словно приоткрылся маленький клапан и позволил ослабить столь мощное давление. Женщина-врач терпеливо и с пониманием выслушивала меня в течение нескольких недель, не навязывая своего мнения по поводу моей ситуации. Головные боли поутихли, и я уже настроился протянуть оставшиеся мне полтора года обучения с помощью этого защитного компетентного сочувствия.

Но слабой надеждой я тешился недолго. На мою беду врач-психотерапевт заболела и призналась мне в своей любви, и тогда я бросился наутек, пока не поздно.

Вообще ничего больше не понимая, я бежал по улицам Дуйсбурга, пока не запыхался. Потом зашел в первую попавшуюся пивную, где сидел и вливал в пересохшую глотку одну кружку пива за другой.

Во время учебы на курсах книготорговцев во Франкфурте

Обучение в «Книжном магазине Брауна» я прошел до конца. 31 марта 1964 года я держал в своих руках диплом помощника книготорговца. Еще летом 1963 года я окончил также шестинедельные курсы по книготорговле во Франкфурте, в течение которых сумел почти полностью изжить болезненное неприятие этой профессии. Я все-таки выдержал и испытывал сейчас удовлетворение, был даже счастлив, словно все проблемы моей жизни наконец-то разрешились.

Однако я всего только месяц проработал помощником продавца в том книжном магазине, где так настрадался, хотя и испытал триумф, заслужив признание покупателей. Получив свою зарплату (420 немецких марок без вычетов!), 1 мая я уже опять стоял с рюкзаком за спиной на автобане и голосовал проносившимся мимо попутным машинам, не в силах унять рвущуюся наружу радость.

Естественно, мне необходимо было наконец-то вырваться из этого магазина и из этого города — прочь от монотонного ритма жизни, которому я три года подчинял себя, напирая на жесточайшую самодисциплину. Я не собирался убегать, как прежде. Не хотел возвращаться к своей былой бродячей жизни. Я хотел лишь вознаградить себя, какое-то время отдохнуть, расслабиться, чтобы, окрепнув, продолжить потом тот путь в

цивилизованном мире, на который уже вступил. Я собственными силами преодолел свой жизненный кризис. Впервые в жизни чувствовал себя победителем. В двадцать шесть лет (что другие уже свершили в эти годы?!) со скромным профессиональным почином я ощущал в себе «исполинскую» силу.

В годы ученичества, в полном одиночестве, я часто испытывал неодолимую потребность поразмышлять аналитически: о себе самом, о своем окружении, о времени. Мне не давало покоя многое из того, что я не понимал, особенно в себе самом, и мне хотелось разобраться с этим, и как можно скорее. Теперь я раскаивался, что из-за своего поведения в прошедшие годы закрыл сам себе дорогу к дальнейшему учению. Поэтому, когда я услышал от своего американского друга Дэвида Лестера, проходившего военную службу в Германии, об одном колледже в горах Швейцарии — колледже имени Альберта Швейцера в Курвальдене, — где проводились летние шестинедельные курсы по философии, психологии и политике, я решил пожертвовать свободой «дикаря» и поехать туда на лето.

Но прежде чем поехать, я еще прилежно подал заявление о приеме на работу по конкурсу в один из самых знаменитых книжных магазинов Берлина — «Киперт», где хотел продолжить сразу после окончания лета свою карьеру книготорговца в качестве «заведующего отделом», получая за это 1000 марок.

Не только из-за экономии денег, но и потому, что я не привык пользоваться при дальних поездках скучным общественным транспортом, я опять стоял на автобане при выезде в южном направлении и, едва сдерживая распиравшее меня чувство свободы, ждал новых романтических приключений, которые вот-вот должны были свалиться на меня нежданно-негаданно. Однако это путешествие прошло вполне пристойно, без неслыханных авантюр, при рассказе о которых у людей волосы вставали дыбом.

На своем твердо намеченном пути в Швейцарию я посетил три алеманнских собора — во Фрейбурге, Страсбурге и Базеле, поразился таким разным скульптурным изображениям в христианском храме и синагоге, согласно Новому и Ветхому Завету, строгой классической готике в Страсбурге и упитанным алеманнским святым в Базеле и провел целую ночь в маленькой капелле, построенной Ле Корбюзье под Бельфором, чтобы наблюдать на рассвете проникающие сквозь узкие, похожие на бойницы окна первые солнечные лучи. Я на самом деле стал заметно задумчивее, спокойнее и рассудительнее.

В Курвальдене я встретил пестрое сборище молодых людей четырнадцати национальностей в возрасте от 18 до 30 лет, все нонконформисты, ищущие и нуждающиеся в совете, — среди них

были серьезные, сентиментальные, веселые, трудные в общении, жадные до жизни, бесшабашные и уравновешенные люди. Нас было около тридцати пяти юношей и девушек, собравшихся в бывшем трактире на краю деревни в живописной горной местности. Лекции по политике читали в трактирном зале молодые американские профессора, проводившие здесь свой sabbatical — оплачиваемый годовой отпуск в целях научного эксперимента. Для лекций по психологии и философии приглашались профессора из университетов Цюриха и Женевы.

Этот коктейль из высококаратных академических докладов и требующих физической выносливости многочасовых дневных походов по горам и ежевечерних дружеских посиделок за крепким вином в деревенской харчевне, где подавалось знаменитое на весь мир граубюнденское вяленое мясо, действовал как бальзам на мою израненную душу: наконец-то я чувствовал свою принадлежность к обществу людей, которое целиком и полностью принимал сам и которое принимало меня. Там завязались незабываемые дружеские связи, не обрывавшиеся долгие годы, пока естественный бег времени не унес их, к сожалению, с собой.

Чем ближе подходил день отъезда, тем неразговорчивее и грустнее я становился. Я знал, что сейчас мне нужно нечто другое, чем размеренный рабочий день в книжном магазине. Слишком многие вопросы остались еще открытыми: я по-прежнему не разобрался со своей немецкой сущностью и своей уродливо порушенной национальной идентичностью. Вот ведь и здесь я был единственным немцем среди всех участников!

В последние дни я не вылезал из огромной библиотеки колледжа, располагавшей по темам «холокост», «национал-социализм», а также «психология масс» богатым набором американской и английской специальной литературы. Здесь я встретился с господином Амштуцем, профессором теологии из Женевы, которому поведал о том, что меня мучило, и он предложил мне записаться на весенний семестр, начинавшийся сразу после наступления Нового года. Я мог бы тогда изучать под присмотром «супервизора» — научного куратора — в течение нескольких месяцев исторические и политические причины, а также проблемы психологии масс, приведшие к тому непостижимому, что произошло в истории Германии и что не давало мне покоя. Он пообещал даже проследить, чтобы я получил стипендию!

Когда через неделю я нашел в своей чердачной каморке отказ из фирмы «Киперт» — прокурист, обещавший мне работу, внезапно умер, — то воспринял это как знак свыше. Несколько месяцев я снова ходил «на стройку», чтобы скопить немного

денег, потом ликвидировал свое скромное «житье-бытье» в Мюльхайме-на-Руре, сложив в рюкзак только самое необходимое, и отправился в наступившем новом году опять в Курвальден.

Глава 7
Кружными путями

Я хотел вернуться назад — в страну, откуда вышел родом, вернуться в эту «ноябрьскую» страну! Хотел научиться понимать отцов и любить матерей!

Аушвиц не мог быть родиной ни для кого. Даже для потомков нацистских преступников, уж для них-то и тем более нет. Поэтому большинство моих соотечественников делали вид, что Аушвица вообще никогда не было. Я говорю не о тех, кто все отрицал, я говорю о миллионах немцев, которые просто смотрели при этом в сторону — не хотели чувствовать себя виноватыми.

А я глаз не отводил. И потому не мог справиться с тем, что видел. Только без оглядки убегал из страны как можно дальше, чтоб глаза мои ни на кого и ни на что не смотрели.

Разве я имел к этому отношение? Разве мои родители не были порядочными людьми, за которых я всегда мог поручиться? Какое мне до всего этого дело?

Я всматривался в прошлое. И оттуда навстречу мне раздавались убийственные приказы по уничтожению людей, резкие, как удары хлыста, и они звучали по-немецки. И бездушные приказы о товарных вагонах и селекции человеческой породы тоже отдавались на языке, в среде которого я пытался жить. «Смерть — маэстро из Германии!»[7]

Мое возвращение на родину, возвращение домой, туда, к чему я принадлежал по рождению, не могло свершиться как формальное вхождение в обыденную жизнь лишь путем успешной реализации только что освоенной профессии. Мне необходимо было справиться с картинами и образами, поселившимися в моей душе. Заново обрести этот язык как свой родной, поскольку именно он позволял мне мыслить пространственно, выражаться глубинно, а не поверхностно прямолинейно, как я это вынужденно делал в Курвальдене по-английски, где преподавание и общение из-за абсолютного большинства ненемецкоязычных студентов проходило на этом «lingua franca»[8].

Предполагал ли я, что все, что делал, начав осваивать профессию книготорговца, что изучал теоретически и чему учился практически, приведет меня к моей последующей деятельности? Чувствовал ли, что эта тема, которой я так серьезно хотел заняться в Курвальдене, ляжет через несколько лет в фундамент всего того, чем я стану заниматься в будущем:

распространение немецкой культуры, литературы и немецкого языка во всем мире во благо примирения мира с этой жесткой страной — Германией — и чопорным немецким менталитетом?

Конечно, ни о чем таком я не думал. Естественно, я проделывал все это, не преследуя определенной цели, а только решая проблему собственного существования и пытаясь ответить на сверлящие душу вопросы. Однако задним числом я знаю, насколько важным оказалось для всей моей дальнейшей деятельности то мое последовательное прохождение темы и мое тогдашнее стремление обрести немецкую идентичность.

Три классика по изучению «психологии масс» (Гюстав ле Бон «Массовое общество и распад культуры»; Хосе Ортега-и-Гасет «Восстание масс»; Дейвид Рисмен «Одинокая толпа») были той платформой, с которой я начал с помощью своего «научного куратора», седого профессора цюрихского университета, нащупывать возможные пути вхождения в многоотраслевую науку психология, чтобы в один прекрасный день осознать, что лишь в области психологии ответа на свои жгучие вопросы мне не найти.

И тогда я ринулся разбираться с тем, что бралось за историческую основу захвата Гитлером власти: я начал с условий Версальского договора и последовавшего за ним роста инфляции и стал нащупывать путь назад — к вине Германии в развязывании Первой мировой войны, а через физически и психически сломленную фигуру Вильгельма II, оказавшего такое пагубное влияние на германскую политику конца девятнадцатого века, еще дальше назад, к Бисмарку, поражению революции 1848 года и к Франкфуртскому национальному собранию, пока наконец не добрался до специфически немецкой фигуры Мартина Лютера, снова поняв, что все равно не найду удовлетворяющего меня ответа на вопрос о корнях немецкой национальной идентичности, в чем крылось главное беспокойство моей жизни: «Как такое стало возможно?» Но тут семестр как раз и закончился.

Окончательного ответа на позорное клеймо «Аушвиц» настойчиво докапывавшийся до сути молодой немец так тогда и не нашел. Но одно стало ясно:

Аушвиц, Треблинка, Бухенвальд и другие места уму непостижимых массовых насилий, совершенных немцами, никогда не могут быть забыты нами и вытеснены из нашей памяти. Мы, немцы, должны обустроить нашу жизнь в тени этой вины, даже если каждый из нас в отдельности и не принимал в том участия и в этом смысле преступником не является. Если я хочу в свете этих преступлений выжить как более или менее здоровая личность, значит, эта рана в моем сердце никогда не должна зарубцеваться и ничто не должно быть забыто! Невзирая

на тот факт, что и другие народы совершали чудовищные преступления по отношению к человечеству и все еще продолжают их совершать!

В холокосте виноват весь народ, а не только его отдельные представители власти или правительство. Аушвиц стал возможен из-за беспредела власти, «захват» которой допустил, сделав это возможным, погрязший в аполитизме народ. По своим жизненным нормам и формам их проявления немецкий народ наверняка был сопоставим с любым другим цивилизованным народом, однако именно он стал совращенным народом.

И то, что на пути к этому не оказалось никаких преград, никакого цивилизованного «намордника», потрясло меня. Как и то, что защитный слой между высочайшими культурными достижениями народа и его варварским презрением к жизни других оказался таким тонким, — эта мысль, додуманная до конца, грозила сползанием к сарказму и цинизму. Но я сопротивлялся этому, ставя вопросы и пытаясь найти на них ответы.

Мои личные кризисы, которые я, будучи возмутителем собственного спокойствия, сам вносил в свою жизнь, всегда подстегивали меня к их преодолению — так я поступил и сейчас. Разобравшись с диффузным чувством вины, активизировав и признав ее для себя, я нашел путь, как жить со своей немецкой идентичностью, не бегая с утра до вечера с посыпанной пеплом головой.

В этом мне помогли те научные познания, которые я вынес из интенсивного обучения в Курвальдене. Благодаря им я сделал следующий шаг, чтобы выбраться из собственной изоляции и вернуться назад в свое проблематичное отечество.

Но одновременно с этим мне был брошен там еще и другой вызов, чуть неожиданно круто не изменивший направление выбранного мною жизненного маршрута.

По подсказке американских студентов я открыл для себя в библиотеке колледжа имени Альберта Швейцера двух авторов, которые только через несколько лет проникли в наши широты и стали путеводными звездами студенческой молодежи: Эрих Фромм и Эрик Эриксон.

Я стал читать их. И день за днем внутренне вырастал на несколько сантиметров, начиная глядеть вокруг себя с возрастающим чувством испытываемого освобождения. То, что излагали эти авторы, не было умозрительной абстрактной философией, наоборот, было живой и приложимой к нашей повседневной жизни. А мы были молоды и хотели жить! Мне следовало бы сейчас перечитать эти книги, чтобы я смог сказать,

что же в них такого было, что действовало так освобождающе на меня и на души всего нашего разношерстного коллектива. Помню только, что, читая их, я каждый раз ударял кулаком по столу и восклицал: «Да, это так! Долой пережитки прошлого!»

Мы были близки к тому, чтобы там, наверху, в одиноких горах Швейцарии, зажечься, опережая события, от той искры, которая только через несколько лет воспламенит студенческие сердца равнинной Европы. Вообще американские студенты, составлявшие половину от общего числа участников семестра, а нас было 45, внесли в наше маленькое сообщество много свободомыслия и независимости в общение и мышление. Беркли и мощный протест студентов против войны во Вьетнаме, да и «дети цветов» уже проснулись в США, намного раньше, чем в Париже, Франкфурте и Берлине поднялись на баррикады сотни таких, как Даниэль Кон-Бендит, К. Д. Вольфф или Руди Дучке.

Чего же тут удивляться, что и мы в нашей маленькой ячейке начали вести политические дискуссии и в конечном итоге лишили и так весьма либеральное американское руководство колледжа их административных постов, а директора выкинули из окна (не пугайтесь, с первого этажа!) и взяли управление колледжем в свои руки. Не обошлось без жарких многочасовых политических дебатов, зачастую продолжавшихся до самого утра. Маленький колледж среди спокойных швейцарских гор походил на сумасшедший дом, но по сути он стал лабораторией общественных отношений, где мы еще В 1965 году во всех деталях проиграли то, что в других местах вылилось в громкую реальность 1968 года.

К моему великому счастью, этот драматический разворот событий как следует набрал силу только в последние недели моих занятий. Был выбран студенческий совет: китаец Ли, англичанин Вилли и я, немец. Мы должны были заменить руководство колледжа. Все трое изо всех сил старались поддерживать нормальное функционирование колледжа, ухитряясь при этом подвергать время от времени сомнению все существовавшие до нас структуры управления, в конечном же итоге в день своего отъезда мы вернули все бразды правления прежнему надежному руководству.

Это был бунт, буря в стакане воды. Все мы пережили процесс высвобождения личности в группе, так сказать в «коллективе». И мы не дали этому взрывному процессу закончиться в границах только одной своей личности, а распространили его, спроецировали на все наше окружение, на «общество», которое мы составляли. Это был потрясающий опыт групповой динамики поведения: низвержение традиционных авторитетов также

входило в программу действий. Наверняка консервативные в своем большинстве профессора в столь же малой степени акцептировали это обретение нами сверхсамостоятельности и наше извращенное толкование их педагогических взглядов, как и через несколько лет их коллеги, возмущавшиеся левацкими требованиями студенческой «сексуальной революции» 1968 года. Я, во всяком случае, вступил в то бурное время уже в известной степени подготовленным и не испытывал панического страха перед контактом с разбушевавшейся молодежью, отрицавшей всех и вся, и выплеснувшимися на улицу эмоциями, сопровождавшими их групповую динамику поведения.

Но для меня самого возникла тогда еще и другая проблема, и я, опасаясь «расспросов», ни с кем не хотел ею делиться: я влюбился!

— Ну и где же здесь проблема? — спросите вы.

До того *она* была подругой моего американского друга Дэвида Лестера. Нежная и слабая, она должна была часто оставаться в постели.

— Так проблема была в этом?

Нет, конечно же нет!

Я не просто влюбился. Я был безумно увлечен. Она притягивала меня, как мощный магнит. Я противился. У меня были свои цели, свой план. Я приехал сюда, чтобы учиться. И не хотел себя связывать. Старался держаться от нее подальше. Но она завораживала меня. Не шла из головы.

Она была очень красива: блондинка, с карими глазами, женственная, очень нежная и с сильной потребностью к кому-нибудь прибиться. Ее звали Биргитта. Двойное «т» она выговаривала как двойное «д», при этом очень мягко. Она была датчанкой — мягкая речь и певучая датская интонация.

Дэвид уже бывал здесь, в горах, с нею раньше, в предыдущий весенний семестр. И немного рассказывал мне о ней. Он заинтриговал меня. Она приехала не сразу, только через две недели — опять болела, какая-то история с почками.

Когда я наконец увидел ее, впервые поговорил с ней, то смертельно испугался. Мне показалось, я знаю ее. Уже лет сто, а то и больше. Мне захотелось тут же осторожно заключить ее в объятия и сказать: «Вот ты наконец и пришла!»

Конечно, я этого не сделал, а сделал то, в чем у меня уже был накоплен солидный опыт: при первой же возможности я убежал. И держался от нее подальше, только иногда косился во время еды. Я избегал ее, словно у нее была заразная болезнь. Нет, конечно. Просто на меня она действовала как перманентно засасывающая воронка, как безотказно функционирующий

водоворот — стоит мне только приблизиться, и она без труда проглотит меня.

Однажды студенты затеяли в перерыве между лекциями снежный бой в парке, один снежок так неудачно выскользнул у меня из рук, что полетел вправо, в направлении террасы, где она сидела и загорала, и попал ей в голову. Мне пришлось на ватных ногах подняться к ней и извиниться заикающимся голосом. После этого я опять неделю-другую держался от нее на расстоянии.

Но однажды все-таки случилось то, что и должно было случиться: наступила первая теплая весенняя суббота. Все наши сокурсники уже разлетелись кто куда, и мы вдруг оказались в зале за завтраком вдвоем.

Она спросила из-за своего стола:

— Что ты собираешься сегодня делать?

— Читать!

— В такую погоду?

— Да!

Наступила пауза.

— А ты не хочешь поехать со мной в Кур?

Я ответил слишком поспешно:

— Конечно, с удовольствием!

Я вытащил свой костюм — единственный, который у меня был, старый, совершенно немодный, уже обветшалый, присланный мне вдогонку матерью, — и расфуфырился «по-городскому». С противоречивым чувством сидел я рядом с ней — она выглядела обворожительно в своем легком весеннем платьице, и от нее пахло хорошими духами — в почтовом автобусе, медленно спускавшемся по извилистой горной дороге вниз.

Приехав в Кур, я помог ей выйти и потом все время прилагал неимоверные усилия, чтобы, беседуя с ней, ни в коем случае до нее не дотрагиваться. Мы медленно бродили по улицам старого города и наконец дошли до канатной дороги, которая поднимала туристов на «персональную» гору этого городка, откуда открывался чудесный вид на Кур и долину Рейна.

— Ты хочешь?

Она кивнула. И вот мы уже плыли над маленьким тесным мирком, оставшимся внизу. А мне казалось, что эта раскачивающаяся кабина несет нас наверх, на наше общее небесное ложе. Что не складывается на земле, осуществляется на небесах!

Так оно и случилось. Поднявшись на гору, мы сели на край скалы и долго молча смотрели вниз на долину реки Инн. Наконец мы заговорили на одну из тем, которая в данный момент

занимала всех студентов колледжа. И естественно, радикальная немецкая точка зрения тут же натолкнулась на относительно умеренную, стремящуюся к равновесию датскую.

В долине тем временем сгустились сумерки, возвещая о наступлении вечера, и тогда мы наконец поднялись, чтобы отправиться в обратный путь. Я хотел помочь ей спуститься со скалы и расставил пошире ноги, да так неудачно, что мои ветхие от старости парадные брюки лопнули сзади по всей длине, издав громкий неприличный звук.

Прошло немало времени, прежде чем мы смогли передохнуть от напавшего на нас смеха. Лопнули не только мои штаны, но и искусственная натянутость наших отношений. Полные веселья и задора, мы зашагали в ногу друг за другом — она прикрывала меня со спины — назад к канатке, вместе с многими другими отдыхающими, направлявшимися туда же.

Проходя мимо небольшого ресторанчика, она вдруг потянула меня туда и попросила там нитку с иголкой. Меня заперли в туалете, а возлюбленная и хозяйка занялись ремонтом штанов. Это продолжалось какое-то время. Наконец меня выпустили из не очень удобной «приемной», и обе женщины принялись крутить меня, как манекен, восхищаясь своей работой, а когда мы потом не спеша подошли к станции канатной дороги, оказалось, что последняя кабина спустилась в Кур, не дождавшись нас.

Есть ли пешеходная дорога вниз? Нет, такой дороги нет! И что теперь? Да, что теперь?

Мы возвратились к приветливой хозяйке. Нет, комнат на ночь она не сдает. Но у нее есть знакомая соседка, у той высоко в горах есть шале, куда она уже не раз пускала таких же застрявших наверху туристов вроде нас. Но только женаты ли мы?.. Словно сговорившись, мы оба кивнули. И кивнули еще раз, когда тот же вопрос задала нам соседка.

Когда я на следующее утро поднял на окнах нашего «небесного» шале деревянные планки жалюзи, мне почудилось, что я на облаке и смотрю с него на искрящиеся подо мной скалы и залитую солнцем долину внизу. Потом пришла соседка с ароматным кофе, свежим воздушным деревенским хлебом и клубничным конфитюром.

Я был без ума от Биргитты В. Может, она и не была так красива, но я видел в ней писаную красавицу! Меня завораживало ее спокойствие. Бурные перипетии последних дней не коснулись ее. Она сидела на наших дискуссиях не то чтобы безучастно, но как бы излучая необъяснимую для меня, заключенную в ней самой невозмутимость.

Для меня в ней было что-то неземное. Я думаю, от ее

женственности. Никогда до сих пор я не встречал женственности в столь чистой и открытой форме. Биргитта, до того как я ее увидел, провела несколько лет в больницах или в постели дома под постоянным наблюдением врача и окруженная домашней заботой. Видимо, тогда в ней выработалась эта форма женственности, таившая в себе одновременно нежность и силу.

После того, что случилось на горе в Куре, мы сделались «парочкой». При этом я тотчас же взял на себя роль ее слуги и защитника. Но такой, какой я был — вечно ищущий и с душевным раздраем, — я не мог полностью удовлетворить потребность этой женщины в надежности и защите. Когда она через два года покинула меня, чтобы выйти замуж за другого, она сказала:

— Мне нужен мужчина, у которого золотая аура, у тебя же она серебряная и едкая на вкус!

Но прежде чем дошло до разрыва, я посвятил свою жизнь служению этой Прекрасной даме и повсюду следовал за девушкой, которая, собственно, в конце семестра распрощалась со мной, пробыв несколько пыльных недель во Фрейбург-Брейсгау (где я работал разнорабочим на стройке, а потом с трудом пытался с помощью алкоголя забыть ее), и уехала сначала в Ютландию, где провела летние каникулы со своей семьей, а под конец в Копенгаген.

Я хотел только одного — быть рядом с этой женщиной. Иначе я не мог и потому начал внедряться в Копенгагене. Снял маленькую комнатку, нашел коммивояжерскую работу в «Интернациональном книжном магазине Мунксгор» и принялся учить в вечерней школе и дома по ночам с безумной одержимостью датский язык, которым овладел довольно сносно уже через три месяца.

Ее семья приняла меня, хотя и без особого энтузиазма («Ну почему же именно немец?!»), но со свойственной многим датчанам приветливой вежливостью. Вскоре я был вхож в этот гостеприимный дом на Гэнцофтер-Смакегорсвай. И прошло не так уж много времени, когда мама Ина, сердечная, высокоинтеллигентная, с открытой душой женщина, отвела меня с серьезным лицом в сторонку, усадила на стул и неожиданно сказала:

— Вот теперь это уже случилось. Теперь я люблю тебя как сына!

Семья владела переплетной мастерской «Jacob Badens Bogbinderi» на Нордра-Фэзэнвай, обслуживая ряд копенгагенских издательств. Биргитта была любимицей всей семьи, и уже все склонялись к тому, чтобы принять будущего зятя — была даже

назначена помолвка — в семейную фирму, дав ему возможность спокойно подыскать себе такое место, которое соответствовало бы его профессии и позволило бы содержать вновь образовавшуюся семью.

Переплетная мастерская Якоба Бадена размещалась в двухэтажном красном кирпичном доме — типичном промышленном здании начала века — в центральной части Копенгагена. Окна со стальными рамами разного размера ослепли со временем от пыли. Украшением внутреннего двора являлся древний грузовой лифт, ходивший по железной зарешеченной шахте и поднимавший грузы на первый и второй этажи, откуда по нему спускали готовую продукцию — книги в переплетах.

Поднявшись по деревянной с выбоинами лестнице на второй этаж, можно было войти в контору — бухгалтерию мастерской, где старая седовласая женщина буквально лежала на огромных конторских книгах и вписывала от руки пером и чернилами данные о поступлении и вывозе книг и фиксировала доходы и расходы.

Моэнс В., также очень мягкий и любезный человек, но слабый характером для шефа фирмы, сидел во второй конторке за огромным письменным столом, сплошь заваленным калькуляциями, рабочими планами и проспектами типографских машин. Через вращающуюся дверь можно было попасть в мастерскую, в которой сорок переплетчиков — женщин и мужчин — в страшной тесноте выполняли свою работу.

Моэнс показал мне фирму: на первом этаже размещались станки — переплетные, обрезные, фальцевальные, ниткосшивальные и листоподборочные машины. На втором этаже, под самой крышей, где летом было невыносимо жарко, сидели на высоких табуретах женщины, выполнявшие некоторые операции вручную: наклеивали, например, иллюстрации на отдельные листы, зачищали кожу, смазывали клеем уголки, вкладывали закладки. Рабочие зарабатывали аккордно и потому довольно хорошо. Однако во время простоев, ожидая поступление новой партии, они получали относительно низкую почасовую оплату. Уже во время этого первого осмотра мастерской я заметил многих рабочих, стоявших группками и смотревших нам вслед с мрачным видом или отпускавших шуточки.

Вернувшись к себе в кабинет, Моэнс очистил край огромного письменного стола, поставил передо мной на свободный пятачок обыкновенный арифмометр и бросил мне папки с последними рабочими записями, чтобы подвести итоги по выполненным заказам. Вот уже несколько месяцев у него не было времени на

такой «controlling». Я тут же с усердием принялся за работу, и чем глубже я вникал в отдельные заказы, тем непонятнее становились для меня данные, выходившие на поверку. Если эта фирма давно уже работает в таком стиле и с такими результатами, она, собственно, должна была бы обанкротиться.

Я копался в цифрах, навострял уши, когда начальник производства разговаривал с шефом, жадно хватал любую рабочую запись, которую мог отыскать. Производство оказывалось слишком дорогим! Расходы иногда на 30 % превышали доходы!

Каждый заказ включал в себя выполнение отдельных операций количеством от пятнадцати до двадцати — от доставки с городского склада отпечатанных листов книги до загиба клапанов заготовленных суперобложек. При сложных переплетах число операций достигало тридцати, например, при изготовлении составных переплетных крышек с золотым обрезом и особым тиснением на обложке или корешке. И все это при обычных для Дании низких, просто ничтожных квотах, когда тиражи составляли от 200 до 500 экземпляров. Такое производство нуждалось в организации очень высокого класса, чтобы обеспечить бесперебойной работой — включая и загрузку машин — то и дело простаивающих рабочих.

Все производственные операции необходимо было так увязать друг с другом, чтобы процесс не прерывался — заканчивалась одна операция, начиналась другая. При этом в разных заказах, особенно при сложных переплетах, некоторые операции требовали больших затрат времени и медленнее сменяли одна другую: надо было нарезать картон, зачистить кожу, то есть уменьшить кант, промазать клеем уголки, обтянуть тканью нарезанный картон, сделать тиснение на кожаных корешках. Одновременно надо было сфальцевать листы, подобрать по порядку тетради, сброшюровать, проклеить блоки, обрезать, обработать книжный блок под переплет, вложить ленточки-закладки и, наконец, соединить блок с крышкой. И так каждый раз когда для тиража в 250 экземпляров, когда в 700, а если это были брошюры или заказы на мягкие (бумажные) переплеты, то попадались и тиражи от 10 000 до 80 000 экземпляров.

И тут во мне пробудилось желание проявить свою организаторскую жилку! Я попытался упорядочить эту живую мозаику, складывавшуюся из различных возможностей отдельных рабочих (с учетом возрастного снижения темпов работы), из часов машинного производства, своевременной доставки материалов или качества наличного материала: так, например, влажные оттиски, если они уже пошли волнами, зачастую приводили к

многочасовым простоям фальцевальных машин и, естественно, ломали график всего дальнейшего рабочего процесса.

Я тогда еще ничего не слышал о разработках РЕФА[9], да и вряд ли был бы толк от их математических расчетов при таких мизерных заказах. Так что я нашел, можно сказать, «художественное» решение проблемы: я разработал цветные рабочие графики — каждый своим цветовым спектром соответствовал определенной рабочей операции. Так стало легче следить за прохождением единого рабочего процесса и контролировать его.

Само собой разумеется, за чередованием операций необходимо было следить и управлять их сменой, но сделать это при старом, бестолковом и несобранном начальнике производства, которого уже много лет собирались уволить, не представлялось возможным. Ина В. и я обработали добродушного Моэнса и убедили сделать то, что уже давным-давно пора было сделать: поговорить с этим человеком и отправить его на заслуженный отдых, выплатив хорошую компенсацию.

После долгих колебаний Моэнс согласился. Разговор продолжался часа два, пока из кабинета Моэнса не появился наконец сияющий начальник производства, который понял своего шефа так: за хорошую работу ему обещано хорошее вознаграждение в виде прибавки к зарплате!

Развеять это недоразумение было занятием не из легких — неприятным, однако неизбежным. Так через несколько недель работы на этой фирме я вдруг оказался на посту начальника производства, причем нам удалось восполнить пробел в моих технических знаниях тем, что мы привлекли на нашу сторону опытного и высоко ценимого в коллективе профсоюзного лидера, который согласился во всем помогать мне.

Когда я на следующее утро после «перетряски» вошел в мастерскую, все рабочие поднялись, щелкнули каблуками, застыв возле своих рабочих мест, выкинули вперед правую руку и прокричали: «Хайль Гитлер!»

Но бунт против «немца» быстро улегся, когда все увидели, что благодаря лучшей организации труда стали зарабатывать только аккордно, а, следовательно, больше. Теперь и бухгалтерский учет стало вести легче. Так что вскоре все были довольны: и рабочие, и руководство.

Мне самому этот успех принес большое удовлетворение и прибавил уверенности в себе, а мне ее часто так не хватало при моей единоличной инициативе и собственном неприятии, не менее важным в этой датской «авантюре» было то, что меня поняли в здоровом рабочем коллективе, приняли и признали

таким, какой я был.

Я оценил и полюбил датчан за их несломленную гражданскую позицию, и хотя они отчасти консервативны, но за старое не цепляются, в политике же, наоборот, почти всегда прогрессивны, во всяком случае, либеральны и гуманны. Они приняли меня не только с моими способностями, но и со всеми моими страхами и неуверенностью в себе. Я вскоре стал для них своим и не только привык к отвратительно красным poelser (сардельки) с кетчупом и пиву Carlsberg и аквавиту со smoerrebroede (хлеб с маслом), но даже начал вытеснять из себя немецкую жесткость и резкость, замещая ее скандинавской обходительностью.

Я ежедневно занимался на вечерних двухгодичных курсах Полиграфического института Копенгагена, наверстывая теоретически то, с чем ежедневно сталкивался практически.

В конце концов осенью 1966 года «немец» был официально принят в семью — мы отпраздновали помолвку. Для этого был арендован замок, правда, небольшой, но все же замок! Со всей страны, а также из Норвегии и Швеции съехались члены семьи. Впервые в жизни я надел визитку, пусть и взятую напрокат, но тем не менее!

А потом наступил момент, когда родители будущей жены предложили мне стать совладельцем фирмы, и тут моя неугомонная и вечно стремящаяся к самоопределению натура вновь взбунтовалась — я с благодарностью отказался. Мне хотелось и дальше идти самостоятельным путем, попробовать сделать карьеру издателя, а не вставать в мои неполные двадцать семь лет в надежной бухте на якорь. Курсы Полиграфического института я должен был вскоре закончить и хотел попытаться стать на практике полиграфистом в одном из издательств, чтобы самому зарабатывать на жизнь для себя и своей будущей жены.

Я по очереди пробовал наняться на работу в датских издательствах — Munksgaard, Gad, Gyldendal, Samlerens Forlag, — но мне везде предлагали зарплату ниже той суммы, которую платили мне будущие родственники за работу в их переплетной мастерской. С тяжелым сердцем я начал опять поглядывать в южном направлении, где находилась моя родина и где таилась для меня опасность. Биргитта, моя возлюбленная, тоже не была в восторге от моих идей: «на каникулы — это одно, но навсегда?!»

Но мне уже некуда было отступать. Я послал объявление о найме на работу в «Биржевой листок немецкой книготорговли» во Франкфурте. И осенью 1966 года на своем подержанном «жучке» («фольксваген») впервые поехал туда — эту Мекку всего книжного мира, — на Франкфуртскую книжную ярмарку.

Там мне сразу повезло: я получил место в издательстве Георга Тиме в Штутгарте, специализировавшемся на издании научной медицинской литературы, с соответствующим денежным содержанием, обеспечивавшим мне финансовую независимость и дававшим возможность содержать будущую семью.

Штутгарт в солнечное воскресенье осенью 1966 года: я лежу на датской кожаной софе в своей мило обставленной датской мебелью светлой квартирке на Имменхоферштрассе, расположенной наверху, среди виноградников, и чувствую, как мне плохо. Я все утро чувствую себя плохо, у меня совсем нет аппетита — валяюсь в квартире, настроение подавленное и сам не знаю почему.

Вдруг звонок! Я поднимаюсь, открываю дверь — никого! Я подхожу к домофону, но у входной двери внизу желающих войти тоже нет. В результате я, шаркая тапочками, тащусь назад и падаю на софу. Я чувствую себя ужасно!

Снова звонок. Ну и ну, думаю я, кто-то меня разыгрывает! За дверью опять никого!

Эта история повторяется многократно. Но нет же никого, кто мог бы позвонить!

Внутреннее напряжение достигает предела, сердце вот-вот лопнет. Тем не менее следующий звонок пробуждает во мне любопытство: у меня что, галлюцинации? Я взбираюсь на стул, отвинчиваю крышечку звонка, ложусь опять на софу, но так, чтобы видеть внутреннее устройство звонка.

Мне плохо, я чувствую такую тяжесть на сердце! Опять звонят! Я отчетливо вижу, как молоточек звонка ударяет по колокольчику.

Мне мерещится? И становится все хуже! Я достаю свечку зажигаю ее, снова взбираюсь на стул, покрываю сажей то место, по которому бьет молоточек. Я хочу ясности: происходит это только в моем мозгу или кто-то все-таки дурачит меня? Пачкаю сажей кнопку звонка у своей двери и ту, что внизу, у входа в дом. Вот теперь-то уж я все выясню до конца!

Снова ложусь на софу. Настроение хуже некуда! Молоточек вдруг задергался. Я слышу звонок. Взбираюсь на стул: явные следы на корпусе от ударов молоточка. Выбегаю за дверь и потом вниз: ни к той, ни к другой кнопке никто не прикасался!

Меня вырвало.

Я стою прислонившись к двери своей квартиры. Там непрестанно раздается звонок, через равные промежутки времени.

Я зажимаю руками уши.

Вдруг мне все становится ясно. Я рывком открываю свою

дверь, бегу к соседке этажом ниже, та пугается, когда видит мое искаженное ужасом лицо.

— Могу я от вас позвонить?

Набираю Копенгаген. Там долго никто не снимает трубку.

— Биргитта? Что с тобой?

— Я тебе уже написала. Завтра я уезжаю в США. Выхожу замуж за американца Альберта, которого встретила тогда на курсах немецкого языка в Штауффене. Он вернулся. Мне очень жаль, что причиняю тебе боль. Мне очень, очень жаль! Прощай!

Кружные пути окончились, причем жесткой посадкой. Я вновь приземлился дома. Стоял в своей квартире, обставленной для совместной семейной жизни. И звонок прекратил со мной игру в привидения.

На следующее утро я очень рано пришел в издательство и, сжав зубы, весь сконцентрировался на работе. Вечером я лег в постель с телефонисткой издательства.

В Данию я приехал через несколько лет, чтобы произнести речь на открытии «Выставки немецкой книги». Дружеские отношения с моими без-пяти-минут-родственниками не обрывались до самой смерти Ины В. в конце восьмидесятых годов. Биргитту я встретил в 1974 году в Далласе — она стала несчастной американской женой.

Глава 8
«1968 год» и отъезд в Аргентину

Штутгарт — город, похожий на шкатулку для иголок и ниток, тесный, деревянный, без всякого шарма. Каждый день я ехал на трамвае из одной части долины, с Имменхоферштрассе, в другую, в издательство на Хердвег. Люди тоже казались мне словно вырезанными из дерева, какие-то угловатые, жесткие и порой чрезмерно громкие.

Их воинственная одержимость порядком принимала иногда причудливые формы. Я не раз наблюдал картину, как вошедший в раж вагоновожатый гнался под непрерывный трезвон за легковушкой, считая своим долгом уличить водителя в нарушении дорожных правил, начисто забывая при этом о собственных пассажирах — они толпились сзади него и требовали с криками протеста остановить трамвай, где положено. Гнев выведенного из себя вагоновожатого утихал только через несколько остановок, и тогда он с надутым видом опять вел трамвай в предписанном режиме.

Итальянский режиссер Федерико Феллини, фильмами которого я не уставал восхищаться, изобразил всю топорную бестактность поведения этого алеманнского племени в сцене «У вюртембергского трактира» в фильме «Казанова», конечно, в свойственной ему сильно утрированной манере, однако с огромным мастерством.

Я смотрел этот фильм много раз и всегда вспоминал при этом забавном эпизоде в духе американских комиков «Marx Brothers»[10] Штутгарт и те события, свидетелем которых был.

Но не все, конечно, было уж таким отталкивающим, как можно подумать. Было много чуждого, непривычного, не всегда нам понятного — я имею в виду группу молодых издательских работников, из которых почти все были «со стороны», не уроженцы здешних мест (в наших широтах не принято говорить о «коренных!» жителях), по субботам мы иногда отправлялись в расположенный неподалеку от моей квартиры уютный винный ресторанчик «Кохебас», принадлежавший двум старым сморщенным дамам. Отличными здесь были не только подаваемый ростбиф и домашняя лапша на гарнир, не говоря уже о вюртембергских винах, мы ходили сюда, чтобы понаблюдать за «местными»! Когда старые штутгартцы, охотно пропускавшие бокал за бокалом, вливали в себя к десяти вечера уже не одну четверть литра, они начинали перебрасываться через весь зал

солеными шуточками, зачастую рифмованными, в виде прибауток. Иногда это превращалось в грубоватое, но увлекательные зрелище, которое нигде больше не увидишь и не услышишь.

В издательстве «Георг Тиме» царила угнетавшая всех авторитарная атмосфера. Издатель д-р Х., долгие годы находившийся в унизительной зависимости от отца, перенял наконец после смерти патриарха издательство в свои руки. Это был надменный и неуверенный в себе человек, придерживавшийся точно таких же правил авторитарного руководства, от которых сам так долго страдал. Глядя на его правление, куда входили прокурист д-р Гройнер, заведующий редакторским отделом Ахим Менге, отвечавший также за авторские права, шеф отдела распространения господин Хиллиг и начальник производства господин Цимник, у всех находящихся в их подчинении сотрудников складывалось впечатление, что каждый из них хочет подсидеть другого. Лишь только у двух последних, прибывших сюда вместе со «стариком» из Лейпцига, можно еще было заметить иногда улыбку или услышать саркастическую шутку. Милитаристский стиль руководства был взят в этом доме за правило: контроль — это все, любые объяснения — пустой звук!

Производственный отдел представлял собой вытянутое в длину помещение, занимавшее целый этаж здания, в котором располагалось издательство. Оно разделялось на части стеклянными перегородками, где на площади от полутора до трех квадратных метров сидело по пять-шесть сотрудников. Мы горбились там над цветопробами венерических болезней или артрических изменений в суставах, сравнивая их с представленными авторами фотографиями, контролировали цветоделенные пластины, подбирали растры, добиваясь резкости гравирования, чтобы, ни в чем не уступая красочным изображениям на присланных нам из клиник цветных слайдах, четко перенести на высококачественную бумагу «хромолюкс», используемую для иллюстраций в продуцируемых нами учебниках и научных медицинских книгах, изъеденные гонококком половые органы.

Стоило нам хоть на минуту поднять от этой работы, требовавшей усиленной концентрации зрения, голову и дать глазам отдохнуть, переведя взгляд на раскинувшуюся под окнами живительную зелень, как старый Цимник, следивший за нами, словно надсмотрщик, от самого начала галереи, тут же стучал в первую стеклянную перегородку, сидевший там сотрудник передавал этот стук дальше, следующий в свою очередь делал то

же самое, и так до тех пор, пока сигнал не доходил до мечтателя, который тут же с испугом глядел вперед, чтобы внять угрожающим жестам начальника производства, призывающего его — будьте добры! — к рабочему распорядку.

Следствием такого стиля работы явилось, что все сотрудники отдела стремились как можно чаще попадать в излюбленное «укромное местечко», чтобы просто выкурить там сигаретку или почитать «Штутгартские новости».

Но среди нас, покорных и послушных работников, был один такой, кто не только саботировал подобный стиль работы, но и по своей юношеской беспечности самым дерзким образом иронизировал над ним, при этом дурачился и всем мешал. Он был словно яркий попугай в этом чопорном доме и всегда вносил необыкновенное оживление в наши вечерние сборища. Будучи еще очень молодым, чуть старше двадцати, он уже мог поведать разные сногсшибательные истории, приключившиеся с ним за время маленького трудового стажа. Говоривший на чисто баварском диалекте, который невозможно спутать ни с каким другим, он рано выпал из заботливого родительского гнезда, получил после окончания курсов наборщиков место в западноберлинском издательстве «Вагенбах», влюбился там в восточноберлинскую девушку, переехал за ней в ГДР, нашел работу в Восточном Берлине в издательстве «Ауфбау» и после того, как с любовью ничего не вышло, опять появился в Западном Берлине, что по тем временам жесткой гэдээровской политики в отношении тех, кто пытался перейти границу, было целым событием — словно с того света вернулся тот, кого все уже считали мертвым.

Франц Грено — тот самый Франц Грено, который двадцать лет спустя вознесся, словно комета, благодаря своей прекрасно изданной старым способом высокой печати серии книг «Другая библиотека» до любимого издателя средств массовой информации и так же быстро сгорел через несколько лет, словно падающая звезда, — умел, используя юношеский шарм, таившийся в невинных голубых глазах, обвести старого брюзгу Цимника вокруг пальца. Он мог проделать, что угодно, и проделывал это бесконечно.

Вплоть до того дня, пока не вылетел: Франц вел спонсируемый министром здравоохранения специальный журнал тиражом в 20 000 экземпляров, где в выходных данных, естественно, стояла ссылка на эту финансовую субсидию. Какой-то шутник внутри его же отдела, рассчитывая на чтение трех последующих корректур, вписал вместо имени министра фамилию выпускающего — Франц Грено. Тот, кто первым читал

корректуру, от души позабавился этой ребячливой шутке и оставил «шедевр» до следующей корректуры. Но самым последним это читал, по-видимому, сам Франц и подписал так номер в печать — очередные 20 000 экземпляров, отпечатанные и сброшюрованные, вышли в свет, спонсированные новоявленным «министром».

В обычай издательского дома входило, что каждый выпускающий приносил три экземпляра своей свеженькой, еще пахнущей типографской краской продукции лично издателю господину д-ру Х., который тщательно просматривал новый товар своего издательства и редко когда воздерживался от критики. Можно только предположить, какие громы и молнии метал он на этот раз.

Школа, которую я прошел в том издательстве, была для меня важна не столько с точки зрения технических навыков, усовершенствованных или приобретенных там заново. С моими полиграфическими знаниями тех лет я бы все равно не смог сегодня больше нигде в мире делать книги, когда в результате столь стремительного развития компьютерных технологий оригинал-макет готовится к печати электронным способом.

Гораздо большим уроком явилась отпугивающая модель руководства, сделавшая «годы ученичества» в Штутгарте незаменимыми для дальнейшей деятельности. Обращение с нами в тех сферах производства, за которые мы несли ответственность, как с несовершеннолетними, определило нашу модель поведения. Мы чувствовали себя детьми и соответственно так себя и вели в отношении нелюбимого, но поставленного над нами «авторитетного» начальника. Мы жили только ожиданием вечера и выходных дней, когда совершали чудесные прогулки по прекрасным по своей природе швабским пригородам Штутгарта.

Я твердо усвоил тогда для себя одно правило: если мне когда-то доведется занимать руководящую должность, я разработаю другую модель организации труда, чтобы вовлекать сотрудников в сферу производства. Я создам общность интересов путем доступности информации и силой убеждения. Стиль кооперированного руководства, к которому я потом шел целых 30 последующих лет, принцип «единой семьи», обрел здесь первые теоретические аргументы в свою пользу.

Однако это была веселая и беззаботная пора! С самого раннего детства я не жил так раскованно и безответственно. Это была переходная ситуация, промежуточное время. И сколько бы оно ни продолжалось, я хотел им полностью насладить-ся. Я думаю, что все, кто там тогда собрались, прожили этот период своей жизни как заканчивающиеся школьные годы, перед тем как

вступить в настоящую жизнь.

Одновременно это было и как бы временем возврата к прошлому, мы словно окунулись в состояние безвинности, беззаботных увлечений, легкомыслия. Может, в этом была виновата многопудовая тяжесть тамошнего швабского окружения, порожденное притеснениями в издательстве отсутствие профессиональной заинтересованности, а может, и дух времени, приближавший освободительный накал шестьдесят восьмого и сделавший возможной эту краткую паузу аполитичной отключки.

И по этому городу с его неуютными домами-коробками тоже прошли первые шумные колонны демонстрантов с пестрыми, большей частью красными знаменами, скандируя немыслимые в приличном обществе требования. Штутгартцы скорее с удивлением наблюдали за этими новыми веяниями времени, чем относили призывы конкретно к себе. Для нас же в воздухе запахло ожиданием перемен!

Примечательным для сбившихся в кучку сотрудников этого издательства, с которыми я дневал и ночевал, было то, что впоследствии ни у кого из этой группы не завязались друг с другом длительные дружеские отношения. Это был сиюминутный союз, возникший из сложившихся в «горячей» ситуации условий, тут же и распавшийся, как только ситуация стабилизировалась.

Туда входили упоминавшийся уже вначале Гельмут Ган, помощник председателя правления, единственный штутгартец — знаток всех погребков и пивных, а также «замыслов», вынашиваемых руководством. Еще была голландская пара — Фрувайн и Фекко Снатер. Я встретил Фекко еще раз в конце восьмидесятых, когда он ненадолго, но с большим успехом вошел в руководство крупного голландского издательства «Elsevier». Был еще один очень симпатичный голландец, ван Дален, который вскоре после моего отъезда из Штутгарта умер от неизлечимой болезни. Конечно, сюда входил и Франц Грено вместе с графиней фон Финкенштайн, время от времени присоединялась также Эльке Шаар, через два года последовавшая за мной в отдел зарубежных выставок во Франкфурт, секретарша шефа фрау Тойфель и телефонистка, отвечавшая по совместительству за приемы в издательстве, Кристиана А.

Кристиана была тоненьким, как тростиночка, длинноногим существом с детским личиком а-ля Пеппи Длинный Чулок. Только что избежав неудачного брака, она была буквально одержима страстью к эксцентричной жизни.

Кристиана стала для меня, все еще не пережившего утрату амурных отношений, с чем я долго не мог справиться душевно, идеальным партнером, как и я для нее по той же причине. Мы

накинулись друг на друга, как два беснующихся оголодавших зверя, и каждый искал в другом что-то свое, но только не общее для двоих. Мы бросились очертя голову в бездонные пропасти чувственных страстей, взмывали в отчаянии на головокружительную высоту, чтобы вдруг рухнуть оттуда на простыни той самой просторной кровати, которую я приобрел несколько месяцев назад для семейного гнездышка.

Покинув Штутгарт, я покинул и эту женщину. Покинул «друзей» и то удивительное промежуточное время своей жизни, которая до того была отмечена печатью глубинной задумчивости, внутренней борьбы и преодоления душевных противоречий и несогласия с самим собой. Я отправился во Франкфурт без всякого сожаления, без боли расставания, даже ни разу не оглянувшись назад.

Первого июля 1968 года я приступил к работе на оптово-розничной выставке-ярмарке Биржевого объединения германской книжной торговли на Кляйнер-Хиршграбен во Франкфурте, фирме-устроителе Франкфуртской книжной ярмарки, но то, что именно ей я посвящу всю свою дальнейшую жизнь, я тогда не предполагал.

Вторжение в Чехословакию войск стран — участниц Варшавского договора положило внезапный конец полной надежд на пробуждение Пражской весне Дубчека и его прогрессивных соратников. Утром 21 августа отсвет этого кошмара лежал на лицах всех, кто ехал со мной в трамвае из франкфуртского предместья Бонамес, где я жил в меблированной комнате, в город, а там на улицах люди собирались в кучки вокруг прохожих, у которых в руках были транзисторы.

Я вдруг проникся серьезностью политических событий сегодняшнего дня. По телевизору я увидел, как рухнули все надежды моих чехословацких сверстников, я с ужасом смотрел, как они в бессильной ярости кидаются на советские танки. Неужели ничего нельзя сделать? Неужели действительно вообще ничего нельзя сделать?

Я впервые сознательно ощутил присутствие той огромной и мощной империи, где так извратили прекрасную мечту о социалистическом равенстве людей и которая к тому же начиналась совсем близко от меня — на берегах Эльбы, откуда немецкие военные силы, облаченные в прусские униформы, были посланы к тем, кто предпринял еще одну отчаянную попытку спасти хоть что-то от той светлой мечты.

Через год — так было записано в планах отдела зарубежных выставок — я буду стоять на той самой Вацлавской площади в

Праге, где сжег себя в знак протеста отчаявшийся студент Ян Палах. Я использую этот маленький пятачок, тогда еще не полностью изничтоженный варварами-оккупантами, в своем диалоге с читателями на зарубежной выставке немецкой книги карманного формата.

Но как рассказать этим людям, разрывавшим на груди рубашки и подставлявшим голую грудь под направленные на них танковые орудия, что то, что отображено в наших книгах, и есть свобода, которой они, к сожалению, здесь у себя не добились? Уместно ли похваляться перед голодными, что называется, манной небесной?

Во Франкфурте мы тоже выйдем на улицы. И тоже будем требовать свободы, и тоже именем социализма, надеясь, что он принесет нам желанную свободу от реальных и выдуманных притеснений и репрессий со стороны той системы, которую мы клеймим как «капиталистическую» и на которую нападаем особенно за то, что она недостаточно совершенна для нас в вопросах самоопределения, что мы так явственно ощущаем на себе.

Но что меня начало смущать уже в то время, так это то, что когда в ЧССР нежные ростки стремления к свободе были раздавлены от имени социализма танками, наше студенческое движение почти не проявило солидарности — на каждое действительное или мнимое подавление свободы в «своем» обществе мы реагировали бурно и единодушно, а осторожно сформулированную программу Александра Дубчека, выступавшего за демократический социализм, в отличие от культа Че Гевары или Хо Ши Мина, практически проигнорировали, почти не удостоив ее внимания.

Социализм был у всех на уме, но каждый связывал с этим понятием что-то свое: те, кто сидел в танках, те, кто был перед танками, и те, кто вышел в те дни на улицы больших европейских городов.

Для меня помимо этого, собственно, самым привлекательным в той «культурной революции» была попытка взломать косность, противостоять фальши в общественной жизни, подвергнуть сомнению устаревшие нормы и авторитеты в стране «экономического чуда». Возможно, ориентиром мне тоже служила утопическая идея свободного, не основанного на обоюдной эксплуатации и подавлении общества. Но такое общество является, вероятно, скорее той желанной целью, которую надо всячески приближать, но достигнуть которой, по-видимому, так никогда и не удастся.

Я и потом чувствовал себя обязанным питать эту надежду и

стремиться к этой заветной цели, когда работал в странах так называемого реального социализма. Идеологический аспект, отвечает ли моя деятельность социалистическим убеждениям, или я в своей культурной работе в «социалистических» странах занимаюсь бизнесом в пользу «эксплуататорского классового врага», не имел для меня никакого значения.

Чего нельзя сказать про некоторых моих друзей и «товарищей» в том неспокойном, разворошенном городе Франкфурте. Во время жарких вечерних дискуссий меня в последующие годы неоднократно обвиняли и клеймили, навешивая ярлыки вроде «подкупленный классовый враг», «ренегат», «предатель классовых интересов», при этом всегда подразумевалось, что истинными выразителями классового сознания были те, кто громче всех кричал, будь то полиграфисты, студенты общественных наук или юные архитекторы.

Уже в этом году, давшем название целой эпохе, четко выявилось, что между мелкими нарушениями общепринятых «табу» и подлинной политической борьбой за власть зияет колоссальная реальная брешь, что и толкнет потом самых убежденных протагонистов в аполитичную нирвану различных сект или разверзнет перед ними путь, на который встала презиравшая человеческую жизнь террористическая группировка «RAF» (фракция «Красная Армия»).

Но события 1968 года были все же не столько классовой борьбой, сколько бунтом детей против родителей. Больше всего меня восхищали в манифестациях студентов их спонтанность, неуважение к авторитетам, их эпатирующие общество выходки. Политический и революционный момент, иллюзорное провозглашение единства студентов и рабочего класса были для меня частью игры по запугиванию, к чему не стоило относиться серьезно, это не представляло угрозы ни государству, ни порядку. У меня было свое твердое и непоколебимое мнение на счет авторитетов, против которых я бы с удовольствием выступил, но я что-то не видел, чтобы протестующая молодежь сомневалась в них хотя бы в самых смелых своих мечтах. Только после того, как все волнения улеглись, уже в семидесятые годы, я с удивлением, но с ощутимым удовлетворением отметил, что эти авторитеты были все-таки поколеблены.

В двадцатой Франкфуртской книжной ярмарке, первой моей ярмарке в качестве сотрудника фирмы-организатора, я, собственно, участвовал больше как зритель. Работая в отделе зарубежных выставок, я не был связан с непосредственной работой на самой ярмарке, выполнял только отдельные поручения, ходил туда-сюда в роли курьера и потому мог

спокойно наблюдать за событиями на территории ярмарки.

В противоположность Зигфреду Тауберту, которого все происходящее, несмотря на его обратные уверения, глубоко затрагивало как директора ярмарки в его понимании этой своей роли, что, по моему глубокому убеждению, и привело его через несколько лет к решению преждевременно оставить этот пост.

Спокойствия мне было не занимать, а вот охватить все события на ярмарке в целом оказалось задачей недостижимой. В памяти всплывают картины, как я стою сбоку припека от возбужденно жестикулирующих групп, втянутых в дискуссию. Попасть в самую сердцевину спора невозможно — проходы сплошь забиты. И поэтому я по большей части пытаюсь узнать о том, где происходит самое интересное в помещении дирекции ярмарки. Но того же хотят и сотни возбужденных участников и гостей ярмарки. Так что и здесь та же картина, что в павильонах — скопление людских масс, чувствующих себя в сценах азартного противостояния словно на ринге: обычно воспитанные и солидные люди теряют самообладание и начинают орать во весь голос, требуя появления ответственных лиц, чтобы предъявить им свои жалобы и претензии.

Я вдруг оказываюсь в объятиях известного автора, тот, икая на нервной почве, требует чтобы я немедленно позвал директора ярмарки. Или я стою перед брызжущим мне в лицо слюной старым издателем, который тоже чем-то недоволен. В таких случаях я начинал отвлекающую атаку словами: «Кричит тот, кто не прав», оттаскивал не в меру разгорячившегося современника (автора книги «Революция избавляется от своих детей»), вцепившегося мертвой хваткой в бухгалтершу Ингрид Ленц, и тут же сам подвергался яростному нападению: автор орал на меня, добрых десять минут не выпуская из рук воротник моей куртки. Временами на всей ярмарке царила такая фантастическая неразбериха, что вряд ли кто мог заниматься в эти моменты делами, ради которых, собственно, и прибыл сюда.

Только вечером мы, сотрудники, могли узнать от вконец измотанного директора, что где происходило на ярмарке в течение дня. На следующее утро мы получали прессу с разудалыми репортажами, в которых изложение материала частенько резко отличалось от того, что мы знали изнутри.

Книжная ярмарка началась в четверг, с точки зрения практического хода событий он еще прошел относительно спокойно. После недавних и довольно спонтанных антишпрингеровских выступлений и захвата в прошлом году национального стенда Греции Наблюдательный совет выставки и правление Биржевого объединения установили строгие правила

распорядка на ярмарке, введение которых с самого начала смахивало на провокацию. Они касались любого посетителя, при входе на территорию подвергавшегося строгому контролю. Плакаты и транспаранты конфисковывались прямо на месте.

Но руководство ярмарки и Наблюдательный совет решились пойти чуть дальше, прибегнув к классическим мерам: на территории ярмарки появилось несколько сотен полицейских с обычным для них набором из оперативных групп, водометов и полицейских машин — «черных воронов».

Когда в пятницу Франц Йозеф Штраус — автор книги, министр финансов и неоднозначная как политик фигура — настоял на том, что даст интервью ZDF, второму каналу западногерманского телевидения, только у стенда «своего» издательства «Seewald», нервный и утративший самообладание Зигфред Тауберт лично отправился сопровождать министра по подземному проходу к месту его выступления. А придя туда, приказал полицейским удалить всех дожидавшихся журналистов, как своих, так и иностранных, без всякой на то провокации с их стороны. Правда, он заметил в толпе обоих предводителей студенческого союза — Даниэля Кон-Бендита и Ганса-Юргена Краля, а также с полдюжины лиц, похожих на тех, кто устраивает беспорядки.

В своих мемуарах он описал потом это так:

«Я взял мегафон… и встал перед сворой, тон в которой задавали Даниэль Кон-Бендит и Ганс-Юрген Краль. У меня не было иллюзий, что я чего-то добьюсь от них своими речами. Как одиночка, я был бессилен перед этим сборищем. Напрасно я взывал к ним и просил освободить проход, где размещался стенд издательства. Так что пришлось распорядиться, чтобы свободу продвижения обеспечила полиция».

Но если этот конфликт ограничился непосредственно рамками издательства «Seewald», имевшего стенд в огромном павильоне 5 (ныне павильон 8), то на следующий день, в субботу, события в павильоне 6, где размещались стенды немецких издательств художественной литературы, приобрели совсем другие масштабы.

Социалистический союз немецких студентов призвал, в субботу, 21 сентября 1968 года, к teach in[11] в 16 часов, в павильоне 6, на стенде 1148 издательства «Diederichs-Verlag», издавшего произведения Лауреата премии мира этого года Леопольда Сенгора, чтобы развернуть дискуссию о его роли в собственной стране Сенегал и об афроамериканской революции.

Тауберт:

«Я не мог рассчитывать на то, что находящиеся в шестом

павильоне издательства художественной литературы будут благосклонно взирать на громкий многочасовой митинг Социалистического союза немецких студентов и молча терпеть, тем более одобрять пассивное невмешательство дирекции ярмарки. Я счел своим долгом тактично вмешаться в назревавшую ситуацию».

И он отдает полиции распоряжение закрыть с 14.00 — время, когда широкой публике открывается доступ на ярмарку, — павильон 6. Кто оказался внутри, вынужден был там оставаться. Кто был снаружи, не мог туда войти. Исключение делали только для участников ярмарки и журналистов. Но один человек, который не был ни тем, ни другим, полицией не задерживался и мог беспрепятственно входить и выходить из павильона 6: председатель партии неонацистов Адольф фон Тадден, по-видимому, заранее обеспечивший себе журналистскую аккредитацию. Само собой разумеется, этому побочному факту было придано символическое значение, что охотно муссировалось прессой, а толпы протестующих студентов с неменьшим энтузиазмом выплеснули все это на улицы.

Перед входами в павильон разыгрывались неописуемые сцены. Кто знаком со сверхчувствительной интеллектуальной публикой, посещающей нашу ярмарку, тот может себе примерно представить реакцию, вызванную таким внезапным ограничением свободы передвижения.

Когда Зигфред Тауберт наконец-то выяснил, что *teach in,* как и было задумано, затронет только небольшую часть павильона 6, он снял оцепление и открыл входы.

Но на следующий день, в воскресенье, случилось нечто гораздо более худшее: до того и во время самой церемонии вручения Премии мира Леопольду Седару Сенгору сбежавшийся к Паульскирхе [12]Социалистический союз немецких студентов устроил под руководством умевшего манипулировать массами главаря майских парижских студенческих волнений Даниэля Кон-Бендита настоящие уличные бои с полицией. Почетные гости, такие, как президент ФРГ Генрих Любке и его супруга Вильгельмина, как и сам лауреат, смогли попасть в Паульскирхе только после принятия невиданных до сих пор мер безопасности.

По окончании церемонии большая часть демонстрантов двинулась от центра города по направлению к ярмарке. И тут нервы у дирекции окончательно сдали: Зигфред Тауберт распорядился закрыть ближайший к городу восточный вход на ярмарку.

Распоряжение надо было как-то выполнять: раз уж взяли за правило поддерживать порядок на ярмарке традиционными

средствами государственных силовых ведомств, то, учитывая наблюдающуюся эскалацию волнений, надо было учесть, что назревала опасность, что своих сил для маневренных действий может не хватить. К этому добавлялось еще ощущение полной незащищенности. Главные силы полиции были стянуты в городе. На территории ярмарки оставалась только обычная охрана да несколько десятков сотрудников. Перестроенное на военный лад мышление гуманитариев логично требовало поднять мосты, укрепить стены и ждать снятия осады.

Все эти фигуральные меры взяли на себя своевременно прибывшие несколько сотен полицейских. А «гражданская война», начатая у стен Паульскирхе, продолжилась у входов на ярмарку: демонстранты пытались проломить ворота или перелезть через забор; тяжело ранили одного сторожа павильона, когда тот захотел быстренько захлопнуть перед беснующимися студентами ворота бокового входа (впрочем, его задела полицейская машина, о чем довольно невнятно написала пресса!); срывались флаги иностранных государств — участников ярмарки; порой дело доходило до рукопашной. Само собой понятно, что при таких обстоятельствах нельзя было обеспечить более или менее нормальную работу ярмарки. Из-за массовых действий полиции руководство ярмарки и Биржевое объединение все больше попадали под недовольный пресс со стороны влиятельной группы издателей, частично закрывших свои стенды и даже грозивших преждевременным отъездом. Вход на ярмарку в это бурное событиями воскресенье был закрыт почти три часа, его открыли заново незадолго до окончания рабочего дня ярмарки.

Такой чувствительный инструмент, как Франкфуртская книжная ярмарка, которая, собственно, живет беспрепятственным общением специалистов книжного дела друг с другом, бесперебойно налаживаемыми и осуществляемыми между ними контактами, оказалась раненной в самое сердце из-за подобных помех и вынужденного грубого вмешательства полиции.

Однозначная реакция ведущих издательств была только верхушкой айсберга. Недовольство зрело практически среди всех участников ярмарки и работавших на ней специалистов. Никто не остался безучастным, даже те, кого это непосредственно не коснулось. Впервые наглядно обнажился тот круговорот, который, непрерывно циркулируя, невидимо, но эффективно охватывает и связывает воедино участников ярмарки, общественность и посетителей через публикации в средствах массовой информации. Никто не захотел остаться в стороне, каждый занял определенную позицию — был «за» или «против» нового возможного вызова со стороны левых или правых, «за» или

«против» политических мер руководства ярмарки по наведению порядка.

По прошествии стольких лет ясно видно одно: если не вся книжная отрасль, то уж Биржевое объединение определенно было в 1968 году оплотом несокрушимого, ретроградного и консервативного мышления. Преемником главы правления господина Фридриха Георги, остававшегося во время ярмарки еще на посту, привыкшего оперировать военными мерками и высоко ценившего военные качества (между прочим, он входил в группу противников Гитлера, возглавляемую Штауффенбергом), стал как раз в этот год резкой критики в адрес представленного отчета известного своими правонарушениями газетно-издательского концерна Акселя Шпрингера именно человек Шпрингера — уже не очень молодой Вернер Э. Штихноте, директор издательства «Ullstein». Председатель Наблюдательного совета ярмарки Рольф Келлер, либерально-консервативный штутгартский издатель, распорядившийся впоследствии похоронить себя в своей бывшей униформе ротмистра, тоже не относился к светилам мировой общественности.

О позиции члена Наблюдательного совета Зигфрида Унзельда в свое время ходило немало толков. Он, правда, сделал свой «Suhrkamp Verlag» основным местом публикации теоретических работ левых авторов, но это было все же скорее его достижением как издателя, за содержание печатной продукции отвечали прогрессивный левый редактор Вальтер Бёлих и издатель «edition suhrkamp» Гюнтер Буш. Сам Унзельд всегда отличался консервативностью, хотя и не был закоснелым ретроградом, просто он с большей любовью обращал свой взор на старые непреходящие ценности. И в эти дни он умело лавировал среди бурных событий общественной жизни, не выражая четко своей позиции.

А сам лауреат Леопольд Седар Сенгор, президент государства Сенегал, лирик-франкофил, выдумавший литературное направление «негритюд»[13] («Выражает ли тигр свой тигритюд?»), эстет, почитатель прекрасного, предложенный Таубертом на Премию мира? Разве не был он одним из тех типичных представителей неоколониальной элиты стран так называемого третьего мира, испытывавший гораздо большую привязанность к своей культурной родине, Франции, чем к собственному «мизерному» отечеству? И разве не было решение о присуждении ему Премии мира, учитывая все радикальнее становящиеся на фоне вьетнамской войны дискуссии о зависимости стран третьего мира как бывших колоний от своих бывших метрополий, продуманной провокацией в духе времени,

проявившейся в этой несокрушимо евроцентристской и патерналистской позиции?

Я думаю, что те, кто принимал тогда это решение, понятия не имели о политической тенденции тех дней. Они находили стихотворения Сенгора прекрасными в классическом смысле, кроме того, этот «негр» имел превосходное европейское образование. Что он там делал «под нами», в Африке, это никого не интересовало. Подобная позиция олицетворяла собой тот ход мыслей, который не для всех был бесспорен.

События той ярмарки, ставшие испытанием терпения и нервов для моего предшественника, лично меня коснулись в малой степени. То, что бушевало вокруг и давало себе выход, не удивляло меня, я был внутренне готов и даже в какой-то степени ждал этого. Идеи носились в воздухе, они стали веянием времени, по крайней мере, для нас, молодых, жаждущих нового. Кроме того, мне нечего было терять, в активе еще ничего не было записано. Так что мне лично вызова никто не бросал, а мое ощущение растущей лояльности к новому месту работы не исключало того, что по мере разворачивания событий я даже начал испытывать что-то похожее на сожаление. Правда, скорее это было сожалением по поводу «наших» промахов, а не в связи со «зловредными» выходками студентов, реакция которых была мне абсолютна понятна.

Когда ярмарка закончилась, потребовалось еще несколько недель, прежде чем я сел в самолет и отправился навстречу собственным приключениям, бросившим вызов уже лично мне. 4 октября я поднялся вместе с Клаусом Тиле на борт «Боинга-727» международной авиакомпании «Aerolineas Argentinas», чтобы с промежуточными посадками в Дакаре, Сан-Паулу и Монтевидео приземлиться наконец в Буэнос-Айресе — месте моей первой зарубежной выставки немецкой книги.

Глава 9
Год тысяча девятьсот шестьдесят девятый

Я вернулся с пустынного уругвайского пляжа Ла-Палома назад во Франкфурт. И провел Рождество и последнюю неделю этого неспокойного 1968 года в размышлениях, все время возвращаясь мысленно назад, но с нетерпением ожидая, что принесет новый, 1969 год.

Клаус Тиле нашел для меня маленькую мансарду в восточной части города, где я снова с усердием занялся устройством гнездышка для новой семьи, которую собирался создать весной.

Германия была на пути перемен. Запал, подожженный в 1968 году, привнес в консервативные в своем большинстве властные структуры, традиционно опиравшиеся на принципы немецкого правопорядка, не претерпевшего существенных изменений с времен нацизма, и отмеченные к тому же печатью аполитизма, характерного для восстановительного периода пятидесятых годов, сначала неподдельное удивление, потом растерянность и наконец неуверенность, а в 1969 году дал почувствовать во всех сферах общественной жизни свою освободительную и раскрепощающую силу.

В политике благодаря новой ориентации Свободной демократической партии (начатой со съезда партии в 1968 году во Фрейбурге новым председателем Вальтером Шеелем, сменившим на этом посту правого консерватора Эриха Менде) стало возможным сенсационное избрание политика от социал-демократической партии Германии Густава Хайнемана президентом ФРГ вместо «невезучего» Генриха Любке.

28 сентября, на следующий день после неожиданных результатов выборов, Вилли Брандт не упустил шанса создать правительство в коалиции со Свободной демократической партией новой ориентации, коснувшись в своем правительственном заявлении также требований радикалов относительно общественных отношений в Федеративной Республике Германии:

«Мы хотим больше демократии… Мы хотим такого общества, которое предоставит своим гражданам больше свободы и потребует от них большей ответственности».

Продекларированные студенческим движением отмена табу на сексуальность и сексуальная свобода вместо ханжества были, к

сожалению, очень быстро растиражированы низкопробными бульварными журнальчиками, а также коммерциализированы соответствующими рекламными и рассылочными фирмами.

«Совокупление — часть политики первостепенной важности! Спальни — это склепы буржуазного общества! Давно уже пора изображать половой акт в натуральном виде! Авторы и художники, которые лишь „переводят“ эротику в тексты и картины, — настоящие онанисты, подглядывающие в замочную скважину, формалисты и фетишисты!

Долой постыдные кулисы! Мы — за тотальный театр! Долой непроницаемость стен! Мы — за прозрачное стекло! за единую тотальную политику для всех!

Мы, во Франкфурте, требуем: объявите станцию метро Хауптвахе туннелем любви! Ни одного подземного поезда без спальных вагонов!..»

Таков был манифест провоцирующих левых, пытавшихся играючи связать политическую и сексуальную революцию и опубликовавших свой «Призыв сношений» во Франкфурте-на-Майне в 1969 году.

Как неожиданный и не столь желательный результат стали расти словно грибы бары, где посетителей обслуживали молоденькие барменши с голой грудью. Новая продукция бульварной прессы наводнила республику, например «Вести из Санкт-Паули — эротическая газета мирового города», «Свободный секс» или «Встречайтесь в секс-центре» общим тиражом в пять миллионов экземпляров еженедельно. Еще семь миллионов человек читали каждую неделю с продолжениями в иллюстрированном журнале «Новое ревю» серию Освальта Колле на тему полового просвещения, озаглавленную «Что испытывает женщина во время акта любви».

«Make love, not war», «Love ins», «Happenings», «Репортаж школьницы», «Голые из коммуны I», «Сексуальная революция» — вот крупные заголовки на первых страницах газет. А ежегодный доход рассылочной фирмы Беаты Узе, предлагавшей покупателям предметы секса и просветительские книжонки эротического толка с доставкой товара на дом, достиг 30 миллионов.

Но дело не ограничилось одними только этими сомнительного рода последствиями: 10 июня Кете Штробель (СДПГ), боннский федеральный министр здравоохранения, лично представила в телевизионной программе для женщин «Сексуальный атлас-справочник», который предлагалось использовать в качестве единого учебного пособия во всех федеральных школах на уроках вновь введенного в школьную программу предмета «Сексоведение».

Правда, этот атлас тут же раскритиковали зачинщики и авторы мифа о сексуальном раскрепощении за то, что он кроме «двух с половиной строк об онанизме и тридцати двух строк о половом сношении» содержал «только информацию о биологическом продлении рода и способах предотвращения беременности». Но уже сам по себе сногсшибательный факт введения сексоведения во всех школах (согласно рекомендации совещания министров по делам культов земель ФРГ!) ясно свидетельствовал о том, в какие глубокие сферы государственного суверенитета проникли способные разложить любой консервативный образ мышления лозунги внепарламентской оппозиции.

Следующим шагом в либерализации идеологии сексуальной свободы, провозглашенной движением 1968 года, явилась (со вступлением в законную силу принятых в уголовно-правовом кодексе изменений) отмена § 175 и тем самым признание безнаказанности гомосексуальных половых сношений между мужчинами, достигшими зрелого возраста. Этот введенный Бисмарком в 1871 году параграф о гомосексуалистах был ужесточен в 1935 году режимом гитлеровских фашистов — согласно нему бесчисленное количество людей данной половой ориентации было заточено в тюрьмы строгого режима и брошено в концентрационные лагеря, откуда многие из них живыми не вернулись. И эта формулировка закона нацистского уголовного кодекса (во что просто с трудом верится!) без малого почти четверть века после конца нацистской диктатуры все еще действовала в 1969 году на территории Федеративной Республики Германии.

Менее важно, но все же, по-видимому, достойно упоминания и то, что в результате реформы уголовно-правового кодекса отпали и некоторые другие предписания, признанные как больше «не соответствующие духу времени». Так, например, перестала быть судебно наказуемой супружеская измена, которая до сих пор каралась тюремным заключением до шести месяцев. И законодательные акты о внебрачных половых домогательствах также были отменены «за отсутствием их практического значения».

Символическим событием так называемого движения «Love and Peace» («Любовь и мир») стал концерт под открытым небом в Соединенных Штатах Америки, получивший свое название от расположенного к северу от Нью-Йорка маленького городка Вудстока, где он, согласно официальным данным, вовсе даже и не состоялся, а прошел во владениях фермера Макса Ясгура недалеко от городка Бетел на огромной поляне на берегу

удаленного от Вудстока на 80 километров озера White Lake. Вместо ожидавшихся 60 тысяч на фестиваль в Вудстоке прибыло полмиллиона молодых людей, которые упорно оставались там целых три дня и три ночи, несмотря на ужасную временами погоду, — мирные и довольные, слившись в любви к сексу, наркотикам и рок-музыке.

Меня никогда особенно не занимала эта англо-американская рок-, поп- и фолк-музыка, но такие имена, как Джоан Баез, Джо Коккер, Джими Хендрикс, просто нельзя было не знать, или названия рок-групп Country Joe & The Fish, Crosby, Stills, Nash & Young, The Who, Jefferson Airplane, The Butterfield Blues Band и Mountain, сотворивших это «трехдневное чудо» для такого числа молодежи всего мира, ставшее потом мифом.

Под конец фестиваля Джими Хендрикс «выдал» непотребный вариант государственного гимна США. Под пальцами гениального гитариста национальная мелодия американцев превратилась в визгливое, завывающее объявление войны войне (во Вьетнаме) и всем властям вообще.

Война во Вьетнаме, прежде всего известие о массовом уничтожении американскими джи-ай беззащитных мирных жителей вьетнамской деревни Май-лай, усилила ненависть к США и намертво связанной с этой страной «империалистической» системе, вызвав в Германии всплеск волны солидарности с «третьим миром» — движение, которое, впрочем, без всякой дифференциации и возражений с чьей-либо стороны награждало любого «цветного», случайно забредшего в наши широты, венцом борца сопротивления и героя-мученика. В последующие годы я сам присутствовал на многих собраниях и мероприятиях различных групп и каждый раз удивлялся, сколько сомнительных фигур, особенно среди приехавших потом эмигрантов из стран Латинской Америки, делали себе карьеру на заседаниях этих, пребывающих в полном неведении и путах наивного идеализма людей.

«Битники» и сторонники рок-культуры были не политическим, но очень сильным эмансипированным движением молодежи тех дней. В 1969 году мюзикл «Hair» («Волосы»), можно сказать, буквально завоевал ФРГ. Эссенская «Новая Рурская газета» назвала его «переведенной в сценические образы и танцы философией молодежи, которая с тоской ждет исцеления мира…».

30 января «Битлз» дали концерт для фильма «Let it be». Просуществовавшие очень недолго Cream вместе с Эриком Клэптоном, Джинджером Бейкером и Джеком Брюсом считались супергруппой на мировой музыкальной рок-сцене. «Роллинг

стоунс» включили в свою долгоиграющую пластинку «Let it bleed» хиты «Gimme shelter» и «Midnight rambler». «Hot Rats» назывался диск американского гитариста Франка Заппы, важнейшего представителя так называемого андерграунда.

С другой стороны, дородные мамаши судорожно хватались за прошлое: голландский «звездный» мальчик Хендрик Симонс, известный как Heintje, завоевал четыре миллиона слушателей песней «И опять светит солнце», а король шлягеров Рой Блэк открывал все хит-парады слащавой песенкой «Вся в белом».

Литература же, напротив, на фоне общего взрыва социальных и политических настроений двинулась в сторону политизации своего литературного процесса, что, однако, привело к частичной потери творческой ориентации. Новый роман Гюнтера Грасса — «Под местным наркозом», в котором он ставил политические вопросы времени, в литературном отношении значительно уступал его ранним вещам. И вторая заметная новинка — «Урок немецкого» Зигфрида Ленца, где он изобразил спор полицейского с политически преследуемым художником времен нацистской диктатуры, — тоже не нашла безоговорочного признания литературной критики. Я же прочитал «Урок немецкого» с большой симпатией — роман давал как материал, так и повод, чтобы разобраться с нацистским прошлым.

Образованное в 1964 году в Западном Берлине издательство Клауса Вагенбаха обозначило вехи времени серией своих *красных книжечек* карманного формата. Оно хотело этим «развернуть дискуссию, сделать проблемы, несмотря на неравенство партнеров, достоянием гласности, вместо келейной публикации мнений распространить правду, предложить пути изменения общества».

Вплоть до весны 1969 года вышли «красные книжки» на тему: демократия советов, колониализм, антиавторитарное мышление, анархизм, а также две работы Мао Цзэдуна.

Кружок «Литература рабочего класса», куда среди прочих входили Гюнтер Вальраф и Макс фон дер Грюн, призывал рабочих описывать их будни и труд на рабочем месте.

В Кёльне был создан Союз немецких писателей, избравший председателем правления учредителей Дитера Латмана. Новый Союз писателей рассматривал себя как объединение в защиту интересов своих членов. Генрих Бёлль провозгласил на конгрессе в знаменательной речи «конец излишней скромности»: Союз потребовал создания типового договора для авторов, изменений в законе о налогах и выплату авторам «библиотечного гроша» за каждую выдачу их книг в публичных библиотеках.

В ГДР отнюдь не испытывали радости по поводу признания в

ФРГ успехов «левого» движения. В партийном органе СЕПГ газете «Нойес Дойчланд» ее литературный шеф Клаус Хёпке, с которым я в восьмидесятые годы еще войду в контакт, определил основные задачи художественной литературы так:

«Сознательно стремиться к образцовому воздействию художественных образов. Существует закономерная необходимость, чтобы революционеры с соответствующими чертами характера, мыслями и чувствами все чаще становились героями наших телевизионных спектаклей, фильмов и театральных постановок, наших романов, рассказов и стихотворений».

На съезде немецких писателей в Берлине (ГДР) после этого подверглись энергичным нападкам такие авторы, как Криста Вольф («Размышления о Кристе Т.») и Райнер Кунце, за «субъективистскую оторванность от жизни» и «культ внутреннего мира».

Это был бурный год, когда сомнению подвергались все имевшие законную силу правила и нормы. Многое из того, что давно изжило себя, без труда развалилось. А на остальное со знанием дела обрушилась мощная общественная критика, ломавшая и крушившая все вокруг. Дух времени обозначался словом «прорыв», но уже отчетливо виделось, что по вопросу «куда?» консенсуса не было. Все были едины только в одном: все, что есть, надо проверить, обо всем «порасспросить» и разрушить то, что не отвечает духу и требованиям готового к «прорыву» поколения.

Собственно, в этом и заключалась подлинная заслуга той *культурной революции*! Она разгребла и вымела устаревшие и закоснелые формы общественных отношений, доставшихся от старых эпох нашей истории. Никто не смог устоять против сильного влечения к новой модели общественного поведения и понимания ее необходимости. Даже те, кто лучше оставил бы все по-старому.

И на книжной ярмарке тоже была заметна потребность обдумать и организовать кое-что по-новому, из обусловленного событиями прошлого года предписания по наведению порядка получилась «Инструкция для посетителей Франкфуртской книжной ярмарки 1969 года». Полицию строго ограничили в ее действиях и видимости присутствия на территории ярмарки. При выборе лауреата Премии мира, которую в этом году присудили немецкому психоаналитику и публицисту Александру Мичерлиху, придерживались только общего согласованного права на выдвижение кандидатуры. На бесчисленных совместных заседаниях издателей, собраниях Союза писателей, рабочих

комитетов так называемых *литературных продуцентов* родилась наконец идея *Совета ярмарки,* который должен был олицетворять собой мнение общественности и который — после долгих колебаний и сомнений относительно своих юридических прав и ответственности — отважился наконец предложить своего спикера Гельмута М. Брема, способного утихомирить не в меру разгорячившиеся сердца противоборствующих сторон, в качестве партнера в Наблюдательный совет Франкфуртской книжной ярмарки.

И ярмарка 1969 года прошла вопреки опасениям организаторов на удивление спокойно. Конечно, возникали кое-какие протесты по отдельным пунктам, например по поводу стенда Южной Африки, со стороны издательства «Goldmann» или от рекламного агентства Эльверта и Мойрера, где редактор-радикал от профсоюза торговли, банков и страховых компаний Ханнес Швенгер требовал для своих учеников участия с правом решающего голоса.

И в зал Конгресса, где проводилось общее собрание Биржевого объединения, ворвалась примерно сотня *литературных продуцентов*, после чего председатель правления Биржевого объединения прервал собрание и перенес его на следующий день в Церемониальный зал на Гросер-Хиршграбен. Было решено отныне вообще не проводить общего собрания во время Франкфуртской книжной ярмарки, а делать это весной в специально учрежденный День книготорговца.

Так что во всем проявлялось гибкое реагирование и стремление избежать стычек со все более возбужденно выдвигающими свои требования студентами. Зигфред Тауберт мог облегченно вздохнуть, что он и сделал. Если в прошлом году он неожиданно оказался между жерновами двух непримиримо конфронтирующих сторон — старого и молодого поколений, то теперь, получив поддержку авторитетного большинства, он мог полностью посвятить себя разработке либеральных принципов и положений.

Я принял и научился уважать эту его либеральную позицию, которую он до самого своего ухода в 1974 году отстаивал с твердым убеждением. Но еще большее впечатление произвела на меня его стойкость в споре, связанном не столько с теми беспокойными временами, сколько с принципами политики самой ярмарки.

Чтобы как-то пойти навстречу наплыву посетителей, всегда устремляющихся к стендам с художественной литературой, было решено расширить проходы между ними и сами стенды тоже расположить посвободнее. Это было возможно, только если

арендовать еще один павильон выставки, расположенный несколько в стороне от главного, павильона № 5, и при этом распределить эту группу издательств по двум павильонам. Чтобы не нарушать ничьих сложившихся соседских отношений, Зигфред Тауберт просто провел черту между стендами и отправил вторую половину целиком в новый павильон 5a. К этой выселенной части относилось и издательство Ullstein, руководитель которого Вернер Э. Штихноте занял пост председателя правления Биржевого объединения и в этом качестве был, естественно, также членом Наблюдательного совета ярмарки. Несмотря на бурные высказывания Вернера Э. Штихноте и менеджера издательства Ullstein, Тауберт остался тверд, и издательство в знак протеста покинуло книжную ярмарку 1969 года, оставив на ней только маленький информационный стенд.

Я уже тогда находил позицию Тауберта достойной уважения, не предполагая ни в малейшей степени, что через несколько лет подобная борьба за место на ярмарке коснется вплотную и меня и что отстаивание раз принятого решения без всяких «но» и «если» является стратегией выживания для любого директора ярмарки. Потому что стоит только раз сделать одно исключение для какого-нибудь издательства, как все, недовольные месторасположением своих стендов, начнут ссылаться на этот прецедент, требуя предоставить им другое место. В конечном итоге разумное и системное размещение издательств на ярмарке вообще окажется невозможным.

Но от подобных основополагающих мыслей, лежащих в основе политики ярмарки как таковой, меня отделял в тот момент еще не один световой год. Хотя я уже и сделал маленький шажок в этом направлении:

Я только что вернулся из Южной Америки, когда Клаус Тиле вдруг объявил мне, что разошелся с женой и собирается переехать в середине года к индейской подружке Беатрис в Мехико, чтобы снова вернуться там к книжной торговле в чистом виде. В качестве преемника на должность начальника отдела зарубежных выставок немецкой книги он выбрал меня, и Зигфред Тауберт согласен с этим.

Я не был в особом восторге от такого сообщения. Собственно, я не собирался делать карьеру на этой фирме. Я все еще искал душевного равновесия в себе самом. Дух времени требовал «быть», а не «иметь». Я хотел многое узнать, изведать что-то новое, найти родину в такой семье, корни которой пущены не на немецкой почве, что уже, без сомнения, должно было стать авантюрой особого рода. Однако я согласился, принял должность начальника отдела из тех соображений, что еще неизвестно, кто

может прийти на это место, уж лучше я буду на нем сам, пока живу здесь и работаю.

Назад в Южную Америку

Но до того мне надо было завершить начатый еще в Буэнос-Айресе проект зарубежных выставок в Чили, и потому я снова отправился в дальнее путешествие — в Южную Америку. Я провел несколько дней в Кордове, со «своей» семьей, и отбыл потом в Чили в Сантьяго, где меня уже ждали разобранные стенды и коробки с книгами, отправленные мною морем в конце декабря прошлого года из Монтевидео и проделавшие за это время путь через Магелланов пролив мимо архипелага Огненная Земля в Вальпараисо и оттуда на грузовиках в Сантьяго.

Настроение в Чили, где правил Эдуардо Фрей Монтальва, было напряженным, шли ожесточенные политические дискуссии и споры. Блок левых Народное единство, состоящий из Социалистической и Коммунистической партий, Движения единого народного действия и др., повел наступление на латифундистов (помещичья олигархия) и предпринимателей, угрожая им земельной реформой и национализацией всех монополий.

Люди из сфер книжной торговли, экономики и прессы, с которыми я общался во время подготовки выставки, группировались, как правило, вокруг председателя партии христианских демократов Радомира Томича, от которого ждали, правда, уже без особого оптимизма, спасения, с опаской поглядывая на «народного предводителя» марксиста Сальвадора Альенде.

Перед самым открытием выставки я был приглашен на выходные одним чилийским немцем на его «асьенду» примерно в пятидесяти километрах от Сантьяго, где он собрал круг своих друзей из этой «крупнобуржуазной» провинции. Когда я прибыл в его довольно обширный загородный дом — хозяин послал за мной в Сантьяго свой лимузин с шофером в ливрее, — то увидел на террасе примерно два десятка изысканных дам и господ, оживленно ведущих беседу.

Хозяин дома напыщенно приветствовал меня как «посланца Германии»(!) и потом представил своим гостям. Это были адвокаты, предприниматели, судьи, фермеры — все уважаемые и милые люди, как показалось мне после второго «pisco-saur» — чилийского национального напитка, состоящего из водки из сахарного тростника и лимонного сока, — он пришелся мне по

вкусу и позволил заметно расслабиться. Кое-кто из этих милых людей был немецкого происхождения и помогал мне в разговоре с другими гостями, которым я с восторгом рассказывал о выставке и сопутствующей ей культурной программе, подготовленной совместно с Институтом имени Гёте.

Наконец хозяин пригласил нас в дом к столу. Через боковую дверь мы вошли в вытянутую в длину залу, где в середине стоял празднично накрытый стол. Хозяин занял место во главе стола. Меня пригласили сесть по правую руку от него. Мне было приятно ощущать внимание к себе этого приветливого и вежливого человека, и я даже немного гордился, что мне за такое короткое время удалось войти в эти влиятельные круги и заинтересовать их своим проектом. Оживленные разговоры на одном и другом конце стола крутились в основном вокруг «политического кризиса» в стране и всеобщего опасения победы «левых».

Подали суп, я повернулся к хозяину… и тут вдруг увидел это. За спиной приветливо улыбающегося человека на стене висела картина, написанная маслом в коричнево-красных тонах, изображавшая «его» — величайшего полководца всех времен Адольфа Гитлера.

Я уже и раньше видел на этом континенте похожие портреты немецких полководцев прошлого — Мольтке или Тирпица, например, в Немецком клубе в Буэнос-Айресе, но *это* здесь переходило уже всякие границы.

Я сидел как громом пораженный, сосредоточенно уставившись в суповую чашку. Как мне поступить? Достаточно ли только просто не смотреть туда, не замечать «убийцу народов»? Приветливый голос соседа по столу прервал мою задумчивость: «Что-то не так?» Я взглянул на картину, потом в его вопрошающее лицо:

— Простите, не могли бы мы ненадолго выйти на террасу?

Держа салфетку в руке, он пошел за мной.

— Мне очень жаль, — сказал я, — но там, на стене, висит картина, я хотел бы попросить вас снять ее, иначе я не смогу сидеть с вами за одним столом.

Тут его лицо снова просияло.

— Ах, вот что! Какая ерунда! Но вы же немец, а этот человек был великим немецким полководцем. Или вы думаете, что кто-нибудь из французов стал бы волноваться, если бы там у меня висел один из портретов Наполеона? А ведь он тоже был далеко не паинька, ха-ха-ха!

Кое-кто из гостей вышел из-за стола, чтобы узнать о причине нашего отсутствия. Все смотрели на меня с удивлением: тоже, что

ли, один из этих, зараженных левацкими бациллами? Уже и на немцев нельзя положиться!

Настроение гостей резко изменилось. Ситуация с каждой минутой делалась все невыносимее. Я настаивал на том, чтобы меня отвезли назад в гостиницу. Разгневанный хозяин вернулся в столовую. Гости последовали за ним. Я остался на террасе один. Прошли бесконечные 30 минут. Наконец подъехала машина с шофером в ливрее.

Через несколько дней, вечером 10 апреля, на торжественное открытие нашей книжной выставки в Национальной библиотеке пришло 400 приглашенных. После того как гостей поприветствовали хозяин дома профессор Эстебан Скарпа, отличный знаток Томаса Манна, Зигфред Тауберт как представитель немецкой книжной торговли и германский посол Рудольф Залат, чилийский министр просвещения и культуры Максимо Пачеко открыл выставку, традиционно перерезав ленточку. И вдруг из-под купола зала, где разместилась выставка, полетели, порхая в воздухе, тысячи маленьких листовок, оседая на книгах — поперек изображенной шестиконечной звезды было написано: «Немецкая книжная выставка еврейской нации».

Чилийское общество, каким я его узнал тогда, во время моего пребывания в 1969 году, было очень неоднородным. А там, где мнения и убеждения принимают прямо противоположные радикальные формы, сбитая с толку и утратившая чувство надежности людская середина всегда ищет правдивой информации. И наша выставка от этого только выиграла. Она закрылась 30 апреля — ее посетили десять с половиной тысяч человек.

В слившемся с Вальпараисо городе Винья-дель-Мар я только провел подготовительную работу, а сама выставка была собрана и открыта через неделю уже местными силами.

Вальпараисо, наконец-то Вальпараисо! — и никаких следов рая, как я себе представлял это в Штутгарте, нет даже в помине. Шел дождь, мы ели чудесные ракушки на черном от грязи песчаном пляже Вальпараисо. Как это все давно было: и то решение, и те стереотипные представления о райской долине! Но теперь это уже не имело никакого значения.

Я побывал еще в Консепсьоне на юге Чили, где выставку должны были показывать позже. Ехать еще дальше, на «немецкий» юг, например в Вальдивию — конечный пункт выставочного маршрута, — мне уже не захотелось. Вместо этого я сел в Сантьяго в экскурсионное такси и пересек с «коллективом» за восемнадцать часов поездки Анды, поднявшись на высоту 5000 метров, — незабываемое впечатление!

В Буэнос-Айресе я познакомился с еще одним южноамериканским «явлением» — policia federal сполна продемонстрировала нам свой бюрократизм и коррумпированность. Две недели торчал я с Дорой В. и ее двухлетней дочкой Вероникой в вонючем помещении с зелеными стенами — удручающего вида центральном управлении полиции, где меня совершенно по-кафкиански посылали от одного зашоренного полицейского чиновника к другому, пока я через несколько дней снова не возвращался к первому. Мы хотели только одного — получить заграничный паспорт для Доры и ее малышки. Дора подала заявление в Кордове еще несколько месяцев назад, но паспорта так до сих пор и не было.

Через две недели мои финансовые ресурсы исчерпались, мне пришлось вернуться домой во Франкфурт, а их обеих я оставил на попечение друзей — дальше им предстояло бороться с бюрократией в одиночку.

Пока я был в Чили, умер мой отец. Так вдруг у меня на руках очутилась семья, а я сам оказался теперь в роли «отца». Отец и начальник — обе сферы жизни требовали принятия решений и накладывали на меня ответственность. Разве я не старался вечно увернуться от отца? Разве не были связаны нарушенные отношения между мною и отцом с утратой его авторитета для меня? Разве я не идентифицировал себя с ним, как это делает каждый мальчишка? С тем отцом, который оставил мать и семью и потому был во всем виноват? Разве я не возлагал и на своего отца тоже ответственность за все, что произошло в гитлеровской Германии? И разве я был виноват, что винил его во всем этом?

Неожиданно я столкнулся в новой жизненной ситуации с внутренними конфликтами, которых не ждал. Что-то противилось во мне: я не хотел, не мог взять на себя роль отца, роль авторитета в семье. Все авторитеты, кто бы это ни был и откуда ни происходил, всегда казались мне коррумпированными. Разве не это стало истинной причиной того, что я ребенком «выпал из гнезда», поднял потом бунт против учителей, против родителей? И разве не связывала нас всех, кто ощущал свое единение с движением шестьдесят восьмого года, эта ненависть к отцам?

И я снова попал в весьма неприятное и затруднительное положение: женщина, которую я привез из такого далека и с которой хотел жить вместе, после очень короткого отрезка времени начала любить во мне сверхволевого отца, какой был у нее самой, и одновременно бороться с ним в моем лице, на фирме мне тоже достался отдел с весьма своенравными и самоуверенными сотрудниками, и надо было научиться руководить ими, если я не хотел с позором провалиться.

Опять я должен был бороться, и я боролся.

Почва плывет у меня из-под ног, я шатаюсь, как боксер, на которого сыплется град ударов. Мои нервы напряглись от боли. Ночью я не могу спать. Надо постараться провести бой с невидимым противником и отразить удары.

В кабинете я вцепляюсь руками в письменный стол. Я знаю, что несу всякую чушь. Любой может выбить меня сейчас из седла. Любой…

Сроки путаются у меня в голове, вот опять какие-то сроки. А «негритосик» говорит, я веду себя не как деловой человек:

— Не ори, это не убеждает!

— Боже праведный! Разве я ору?!

Такие вот дела. А дни уходят, словно вода в песок И я ничего не добиваюсь, не нахожу решений. Время летит впустую. Каждый день — попытка продержаться. Если бы я хорошо выспался, то, пожалуй, подумал: а-а, да и так сойдет!

(Из записей тех лет)

Прага

Следующая выставка привела меня в Прагу. Международная организация журналистов устраивала раз в два года в Праге выставку, показывая на ней все, что было связано с выпуском газет, — от типографских печатных машин и линотипов до карандаша и ластика редактора. Выставка называлась «Интерпресса». Благодаря тому, что она была международной, нам удалось всего через год после ввода «братских войск» показать там образцы наших книг, получивших название «карманные издания», — в Чехословакии они тогда еще не были известны.

Для этой выставки небольших книг в мягкой обложке — paperbacky — Дитер Латман, председатель нового Союза писателей, отобрал из 92 книжных серий 50 издательств экспозицию в 1000 экземпляров. График из Мюнхена Герхард М. Хотоп представил оригинальный эскиз плаката и взял на себя также художественное оформление каталога. Показав целую серию портретов писателей — авторов современной немецкой литературы — и известных немецких ученых, а также плакатную графику художников Хорста Янссена, Йошуа Райхерта и Хайнца

Эдельмана, мы придали нашей экспозиции живой и привлекательный вид. Этому способствовало также предоставленное помещение, выгодно оттенявшее нашу идею. Дирекция пражской выставки распорядилась разделить большой зал для заседаний пополам, выстлать пол паласом и поставить удобные стулья.

На открытии выступили секретарь МОЖ Аурелия Нестор (Румыния) и Зигфред Тауберт. И после этого хлынул поток посетителей, какого я никогда больше не видел на наших зарубежных выставках. Люди почти не задавали вопросов. Молча и сосредоточенно изучали они выставленные книги. Эмиль Затопек, мировой рекордсмен и олимпийский чемпион пятидесятых годов в беге на 10 000 метров, всемирно известный «локомотив» чешской сборной, а к тому времени уже без всякого почета уволенный из рядов армии диссидент, трижды приходил к нам и подарил под конец «другу-спортсмену Петеру Вайдхаасу» одну из своих книг. Я видел лица многих пражан, их безмолвная сосредоточенность потрясла меня. Выставка закрылась 18 июня — ее посетило пятьдесят с половиной тысяч человек.

Я познакомился также с самой Прагой — городом Кафки, Верфеля и Рильке. Одно скорее комическое происшествие вынудило меня несколько дней держаться подальше от выставки, вот их-то я и использовал для интенсивного знакомства с городом. Я привез из Чили изводившую меня сыпь, от которой никак не мог избавиться в Германии, где врачи объясняли ее вполне вероятной болезнью печени. Хуже того, Дора, которая приехала с маленькой Вероникой вслед за мной в Прагу, заразилась от меня тоже. Кожная экзема быстро распространилась и у нее.

Мы решили обратиться в Праге в клинику кожных заболеваний. Врач-кожник только взглянул на нас и тут же махнул рукой. Мы получили успокаивающий ответ, что это обыкновенная чесотка — болезнь, которая была распространена у нас в послевоенное время и которой все страшно боялись, хотя она излечивается за три-четыре дня с помощью известной мази.

Когда мы с большим облегчением доложили нашим чешским сотрудникам о результатах обследования, они в ужасе разбежались, их словно ветром сдуло, и тогда было решено не контактировать с ними до полного выздоровления и не появляться на выставке. Так у нас получился неожиданный отпуск, и мы посвятили его усердному знакомству с Прагой.

Я с жадностью вбирал в себя атмосферу этого города, прошло еще так мало времени после тех трагических политических событий, на которые мы взирали — пусть и с зубовным

скрежетом, но издалека.

Старая Прага, Пражский Град, Карлов мост — суетная толкотня городского транспорта кажется здесь бессмысленной. Я люблю Прагу, старую Прагу — застывшее в камне время. Но мне кажется, что люди здесь находятся в опасности. Странное напряжение, беспокойство на лицах. Внешняя картина безмятежно проезжающего трамвая обманчива.

Я никогда не видел столько людей со сломанными ногами, руками, пальцами. Похоже, нервы у всех напряжены до предела.

Старая Прага показала нам свое приветливое лицо, но она не хочет, чтобы его видели грустным. Старая Прага как остановка в пути, вот она уже исчезает, исчезает.

(Из собственных заметок)

Бухарест

За Прагой последовал Бухарест. «Современная немецкая литература» — маленькая книжная выставка, всего 400 наименований, составленная германистом Эберхардом Леммертом и совсем недавно без всяких проблем показанная в Белграде.

Мы поехали втроем: профессор Леммерт, Гюнтер Грасс и я. Все было хорошо подготовлено. Выставку должны были разместить в Casa Scriitorilor — Доме писателей. Гюнтера Грасса радостно приветствовал его коллега — немецкоязычный румынский писатель. А потом началась бюрократическая волынка. Никак не могли договориться о дне открытия, пока наконец все не вылезло наружу: от нас потребовали удалить с выставки книги Альфреда Канторовича, Уве Джонсона и Вольфа Бирмана, а также переписку Грасса с Когоутом «Письма через границу». Без всякой на то мотивировки.

Я впервые столкнулся с проблемой цензуры. Мое решение не открывать выставку было отвергнуто. Гюнтер Грасс, который должен был произнести речь на открытии, сразу не согласился с этим. Меня поразила его позиция. Впервые я увидел человека, действовавшего ясно, четко и масштабно, а главное, не по подсказке.

Румынское руководство! А кто это, собственно, был, так и осталось неясным: кто-то, кто стоял за нашими партнерами по

переговорам, Правлением Союза писателей и дергал за ниточки. Румынские писатели выкручивались, как могли, были смущены, но все время пытались склонить нас к компромиссу.

Мы решили продолжить разговор в поездке по Румынии. Бухарест мы покинули на четырех черных «Волгах». Поездка все время прерывалась тяжелыми обильными трапезами в гостиницах, где нас потчевали национальными румынскими блюдами (пышные усы Грасса так и блестели от бараньего жира) и большим количеством сливовицы.

Вечером нам предстояло ночевать в Сибиу. Когда мы выбрались там перед отелем из машин и еще не разобрались по прибытии, что к чему, к Гюнтеру Грассу подошел мальчик.

— Это вы немецкий писатель Гюнтер Грасс?

Грасс ответил утвердительно, и тогда мальчик взял его за руку и потащил за собой за угол. Последний участок пути мы ехали в одной машине, и Грасс позвал меня:

— Вайдхаас, идите сюда! Я не знаю, чего хочет мальчуган.

Я догнал их и последовал за ними. Мальчик завернул еще за один угол, вошел в дом, пройдя его насквозь, и через несколько шагов снова повернул за угол, опять вошел в дом, спустился по лестнице вниз и прошагал коридором до белой двери. Потом он открыл эту дверь, и мы очутились в сводчатом подвальном помещении, где сидели человек сто и выжидательно смотрели на нас. Поднялся старый и белый как лунь человек и медленно приблизился к нам. Он поклонился и, показывая на зал, сказал:

— Евангелическая община города Сибиу собралась здесь и ждет вас уже много часов. Я приветствую немецкого писателя Гюнтера Грасса! Пожалуйста, садитесь!

Мы сели напротив членов общины. Все смотрели на нас. Стояла мертвая тишина. И в эту тишину Гюнтер Грасс произнес:

— Здесь тихий ангел пролетел.

Послышался шепот, и замелькали улыбки. Старик сказал:

— Господин Грасс, пожалуйста, почитайте нам что-нибудь из ваших произведений!

— Но, друзья мои, как вы себе это представляете? У меня же нет с собой текстов!

И в тот же момент мальчик подвинул к нему по столу целую стопку книг — все произведения Грасса.

Этот небольшой эпизод остался у меня в памяти до мельчайших нюансов: почтение к написанным книгам и их творцу, которое выражали даже позы людей, мужество и терпение, проявленные этими совсем простыми людьми, только чтобы услышать своего любимого «немецкого писателя», — все это глубоко поразило меня. Еще никогда мне не доводилось

испытывать такое сильное эмоциональное чувство от встречи с литературой.

Гюнтер Грасс читал двадцать минут. И после этого мальчик без всяких приключений доставил нас назад в гостиницу, где уже все были охвачены беспокойством по поводу нашего внезапного исчезновения. Пресловутая тайная полиция — securitate — «проспала» нас.

Выставку «задвинули» на вечные времена. После якобы «открытой» лекции Гюнтера Грасса в университете, на которую сбежалось полно студентов, хотя никакого объявления нигде не было и во время которой культуратташе немецкого посольства д-р Кайль и я усердно раздавали каталог выставки, мне сообщили, что я ближайшим рейсом должен покинуть страну.

Хочется еще рассказать об одной дружбе, зародившейся во время этой бесполезной, но полной впечатлений миссии. Одним из авторов в Правлении румынского Союза писателей, который даже в поездках не переставал отпускать свои саркастические, порой злобные и циничные замечания по поводу шансов интеллектуалов на выживание по-румынски в этой стране, был пишущий по-венгерски, блистательно говоривший по-немецки румынский автор Янош Сас. Я полюбил Яноша и увидел в этом интеллектуале, отмеченном печатью бесчисленных баталий, очень тонкого и сердечного человека. Он уже тогда был похож на сучковатое дерево, а язвительные и изощренные реплики этого жилистого человека, острые, как стрелы, всегда метко поражали цель.

Янош много раз навещал нас во Франкфурте со своей женой, немецкоязычной поэтессой Анемоне Лацина. Однажды холодным зимним вечером, точно установив, насколько слабы мои контакты с современной немецкой литературой, Янош решил немедленно это исправить. В ту же ночь мы все уселись в наш «фольксваген» и поехали сначала в Дюссельдорф, где оставили у друзей ребенка, а сами отправились в романтическое путешествие в Берлин, причем по обледенелой дороге, и нас все время заносило то влево, то вправо. Там мы по очереди ввалились в квартиру к Гюнтеру Грассу, Клаусу Вагенбаху, гэдээровскому поэту Хайнцу Калау и под конец к Вольфу Бирману на Восточноберлинской Шоссештрассе.

И когда Вольф Бирман запел наконец в своей гостиной, я единственный должен был встать и со всеми распрощаться, потому что, как западный немец, обязан был перейти границу в Западный Берлин через контрольно-пропускной пункт на Фридрихштрассе до 12 часов ночи. Взбешенный, я месил снег берлинской зимней ночью на исходе 1969 года.

Глава 10
«Отчуждение»

я хочу подняться с колен
стать изнутри другим
а может
стать собой самим

я плыву
мертвой птицей
в отравленном нефтью море

мертвых привычки
душат меня
но тут
и там
бьет через край
энергия жизни
товарный знак
понятия «я»
однажды как тавро выжженный
на мне проштемпелеванный
потребует от мира понимания меня

там
где ветер качает пальмы
там
где в ночи
зияют черные дыры
где смеется злорадно страх
и не знает удержу любовь
где пеликан в падении
рассекает воздух
где сладкое пение
и горит огонь желания
там
нет меня

(1970)

Так говорил Нахтигаль. В свои «годы учения» и «годы

странствий» я худо-бедно еще держал его под контролем, особенно после того, как в пятидесятые и начале шестидесятых позволил ему выплеснуть на меня свои эмоции. Но он вдруг опять вылез из тихого закутка, куда я загнал его, решительно настроившись на то, чтобы обосноваться в реальных франкфуртских буднях, занять прочное положение в жизни и заставить себя наконец определиться с моей принадлежностью к этой стране.

Нахтигаль был моим вторым «я», и мне казалось, что я с ним уже справился. Тот нерешительный Нахтигаль, так тонко, хаотично и креативно воплощавший во мне то, на что уже особого спроса не было, частенько стоял подле меня, сделав большие глаза и глядя на все с любопытством и удивлением, но одновременно и с печалью, алкая при этом любви и признания. Обреченный на молчание, он все чаще попадал во власть депрессий и головной боли.

Время от времени я приоткрывал вентиль, позволяя ему высказаться. Он делал это, словно бился в конвульсиях, в форме маленьких пессимистических стихотворений, в которых мечтал перенестись из мира мрачных внутренних переживаний в мир светлый, с хорошими людьми, свободный, не ведающий «отчуждения». Он выражал тем самым то главное чувство, охватившее меня и близких мне по духу молодых людей в начале семидесятых годов.

Надежды на «прорыв» были очень велики. Но наступили годы разногласий и вражды. Было ясно, что начавшаяся с бурного «прорыва» культурная революция ставшего уже знаменитым *шестьдесят восьмого года* застопорилась. Каждый из участников, а в какой-то степени мы все были ими, реагировал на это по-своему. Некоторые стали радикалами в своих риторических требованиях (на словах, во всяком случае!), горя желанием помочь подняться с колен заметно «застоявшейся революции». Некоторые — эти были самыми ярыми ее сторонниками — радикализировались настолько, что пошли на сближение с террористической организацией RAF — фракция «Красная Армия» — или завязли идейно и духовно в маоистских цитатниках и революционных лозунгах Фиделя Кастро. Другие же, более мягкие, душевно тонкие, искавшие в революционной неразберихе прежде всего защиту и свободу от сексуальных и прочих притеснений, ударились в искушающие душу поиски «самого себя», провозглашенные сектантами вроде Райнеша Бхагвана из индийской деревни Поона или дервишами из движения «харикришна».

Такие, как я, кто всей душой разделял надежды, которые

сулили события тех дней, но кто придерживался во всем исключительно только своего пути, испытывали, как и многие другие, трудности прежде всего на рабочем месте, почувствовав вдруг (или опять) на своей шкуре живучесть властных структур и иерархию отношений. Слишком поспешно поверили мы лозунгам о свободном от эксплуатации обществе или «введении» такого в нашем маленьком узком мирке.

Для начала семидесятых годов был характерен большой набор жизненных ситуаций — надежда на прорыв; реставрация старого и стремление убежать от него; попытка, закусив удила, удержать провозглашенные лозунги; становящаяся все безудержнее болтовня политиков; более четкое понимание общественных противоречий и своей зависимости от них; отчуждение, вызванное чрезмерным погружением в работу (одна из излюбленных тем того времени). Я варился в этом кипящем котле позиций и мнений, хотя у меня были еще и собственные проблемы.

Я привез в страну чужую жену-иностранку и ее ребенка, питая надежды — рожденные идеями времени — создать новый, построенный на равных началах, не искаженный немецкими традициями гармоничный дом, маленькую семью, которая благодаря слиянию двух культур обещала стать живым учебным пособием на всю жизнь. Я мечтал об этой романтике столкновений двух разных характеров мышления, быта, манеры поведения в сочетании с интимностью отношений. Я был к этому готов, я все еще хотел стать другим. Это был, вероятно, мой последний романтический «прорыв», на который я пошел в «духе» времени, веря, что все возможно.

Между Дорой В. и мною существовало взаимное согласие пойти на этот «риск». Мы оба были охвачены ажиотажем времени и его всеобещающими перспективами. Но, как вскоре выяснилось, мы переоценили свои возможности стать открытыми друг для друга. И не учли внешних обстоятельств, оказывавших на нас воздействие в те семидесятые годы и в той стране, где мы жили. Мы не придали также значения каким-то ситуациям в нашей совместной жизни и своим личным особенностям, очень скоро угрожающе проявившимся в нас обоих.

Дора с каждым днем чувствовала себя все хуже и хуже, оставаясь только в роли матери. Она скучала в нашей квартире, расположенной далеко от центра, возле Восточного парка. Мои частые деловые поездки за границу были для нее сплошным наказанием. Я брал ее и маленькую Веронику с собой, когда мог это сделать. Но, несмотря на это, она грустнела все больше и больше. Блеск ее черных глаз померк. Она начала испытывать

дискомфорт от себя, меня и той страны, куда ее забросило.

Она искала друзей, с кем можно было бы поговорить, пока не нашла их в эмигрантских кругах и среди тех, кто был с ними солидарен. В мгновение ока наша квартира наполнилась экзотического вида людьми и непривычно звучащими голосами, что поначалу забавляло меня и казалось интересным, но со временем стало утомлять, тем более что мои знания испанского — а почти все они были из испаноязычных стран — находились еще в самой зачаточной стадии, а постоянный хаос, суета сборищ и присутствие стольких посторонних людей не оставляли мне ни времени, ни места для отдыха после напряженного рабочего дня.

Вскоре среди этих людей, каждый из которых покинул свою родину при трудных обстоятельствах и прозябал теперь на задворках чужого общества, я сам себя почувствовал «экзотом».

Немец, к тому же имеющий хорошую работу, зарабатывающий приличные деньги, единственный из всех с «настоящим» паспортом, «Negras Pedro!», собственно, не совсем настоящий немец, потому что настоящие немцы — это те, вне стен нашей квартиры, не принадлежащие к кругу наших знакомых, ненавидящие иностранцев, — словом, расисты! А меня они любовно называли «Alemán degenerado!» («Немец-выродок!»). Но, разумеется, на такой почве никакой дружбы с этими исключительно добропорядочными иностранными «товарищами» возникнуть не могло. Они были единой *ingroup,* к которой я не принадлежал. Постепенно я становился чужим в собственном доме.

Я не был эмигрантом и не был той «священной коровой» — несчастным выходцем из эксплуатируемого «третьего мира», за счет которого, в чем они были уверены, мы все здесь жили в своем «первом мире», как они нас называли. Но она, Дора, по сути, тоже не была из тех. У нее просто была их pinta — внешняя окраска этих людей. Тем не менее она начала полностью отождествлять себя с эмигрантами и все больше эмоционально отдаляться от своего, другого по типажу, партнера по жизни.

А потом мы получили из франкфуртского Ведомства по делам иностранцев судебное предписание о высылке Доры и ее малышки, въехавших в Германию в 1969 году в качестве туристов. Собственно, пришло самое время прервать наш «межкультурный эксперимент», поскольку усиливающийся разлад, как это принято говорить про непрочный брак, явно был налицо. Все больше нарастал гнев Доры против этой страны, которая, казалось, пугала ее. И она уже не стеснялась все чаще идентифицировать меня с «этой» страной и ее жесткими жизненными устоями и формами общения и делать меня ответственным за все реальные

и вымышленные бесчеловечные поступки. Опять я в который уже раз вступал в конфликт со своим непростым отечеством!

Я пребывал в растерянности и был беспомощен. Ее нападки начинались внезапно и каждый раз с неожиданной стороны. Я видел, что она страдает от той обстановки, куда я ее привез. Я не знал, как ей помочь, но сдаваться тем не менее не хотел. Я чувствовал себя ответственным за все, что здесь происходило, и маленькую девочку я тоже уже полюбил; кроме того, на свет должен был появиться еще один житель Земли, что и произошло в августе 1970 года — родилась Анаи.

Мы решили пожениться, чтобы отвести угрозу выдворения Доры из страны. Что, впрочем, было не так-то просто. В Аргентине не существовало разводов, и потому Дора считалась замужней женщиной по первому браку, законность которого признавалась и в Германии. В поисках выхода я написал отчаянное письмо тогдашнему обер-бургомистру Франкфурта господину Вилли Брундерту, и тот неофициально дал мне совет найти другую страну, где нас могли бы обвенчать. Здесь, в Германии, никто не будет докапываться, каким образом произошло бракосочетание, и нас признают мужем и женой.

Я прозондировал почву в Швеции и Чехословакии. Наконец кое-что наметилось в Дании — там с пониманием отнеслись к сложности нашего положения и согласились помочь без всяких бюрократических проволочек.

На страстную пятницу 1970 года, за несколько дней до вступления в силу распоряжения о высылке, нас без всяких формальностей поженил имевший на то право профессор юстиции в присутствии двух уборщиц-свидетельниц в большой пустой аудитории университета Копенгагена.

— Ну, вы прекрасно знаете, о чем идет речь, — сказал датский профессор, — и потому я объявляю вас мужем и женой! Примите мои сердечные поздравления! И с наступающим вас светлым праздником Пасхи! — После этих слов он исчез.

Взрыв и расставание были предотвращены, а проблемы, тяготевшие над нами, остались. Более того, они разрастались, становились все каверзнее и практически неразрешимее. Я пытался понять ее позицию и отношение ко мне. Даже сделал следующую запись, стараясь во всем разобраться:

> Что толкает Д. на этот политический путь? Потребность самореализоваться? Или необходимость истребить в самой себе принципы верховодства? Во всяком случае, тяга к активным политическим действиям исходит из самой ее глубины, и попытка подавить это

может вызвать тяжелые последствия!

Она — самостоятельная личность, которая, однако, не состоялась, потому что внутренняя потребность в зависимости явно помешала этому. Она отождествляет меня с этой своей зависимостью и обвиняет и бессознательно стремится удержать надо мной верх. Солидарность с нелегалами, угнетенными, совместная борьба за их освобождение дают ей ощущение, что она добивается и собственного освобождения тоже.

Чем сильнее я настаиваю на своем, тем больше закрепляю за собой роль угнетателя, которую она мне приписывает. Ее энергия обладает удивительной силой. Временами я совершенно сбит с толку и сломлен огненным ураганом ее идей, которые она обрушивает на меня.

Однажды солнечным осенним утром я сидел с гостями — книготорговцами из Бразилии — в одном, расположенном неподалеку от нашей конторы ресторанчике. Неожиданно быстрым шагом вошла моя сотрудница Петра Орловски — в желтых носках, бледная и очень взволнованная:

— Петер, твоя жена попала в аварию! Тебя срочно вызывают в больницу!

— Что произошло?

— Машина сильно повреждена, больше я ничего не знаю!

— А дети?

— Не знаю!

Я помчался в больницу. К счастью, с детьми ничего не случилось. Для полиции и просто любого смертного — необъяснимая авария. На совершенно ровном участке пути, без всяких помех слева и справа, Дора направила машину на скорости в пятьдесят километров прямиком на дерево. Она забирала маленькую Веронику из школы и прихватила еще соседку-испанку с ее ребенком. Маленькая Анаи тоже находилась в машине.

Что это было? Акт отчаяния? Бессознательная попытка самоубийства? У меня не было никаких объяснений. Опять на меня навалилось чувство вины. Дора вылетела из машины, пробив лобовое стекло, ей оторвало веко. Лицо женщины-испанки, сидевшей рядом с ней, пострадало гораздо больше от осколков разбитого стекла.

Когда я приехал в больницу, веко уже пришили. Она не разговаривала. Мы оба молчали. Я взял ее за руку. Тогда она сказала:

— Когда мне пришивали веко, я попросила чью-нибудь руку.

А мне дали зажать пальцами ножку стула!

Я страдал от отчаяния и чувства вины. Что же я за бездарь такой, все время даю осечку и не могу окружить любимую женщину, которую привез сюда, в эту холодную страну, защитным покровом тепла, отчего она очень страдает? Что я должен сделать? И могу ли я еще что-то сделать?

Прошли месяцы, жизнь снова нормализовалась. А во мне поселилась и ширилась неуверенность в себе. Я не сумел создать в своих стенах для себя, жены и детей особый мир, о котором мечтал. От Доры и ее политических друзей я все больше отдалялся, оказываясь в полной изоляции.

Политические дискуссии, которые все больше превращались в сцены самобичевания, вызывали во мне стойкую неприязнь. Я отказался в них участвовать. Что такое социализм и каким он должен быть, я больше не знал, окончательно запутавшись в этом после ввода войск «социалистических братских стран» в Чехословакию.

В те редкие тихие часы, когда в доме было спокойно, потому что Дора была на своем политическом собрании, а дети спали, я пробовал справиться со смутой в собственной душе, обращаясь к книгам. Во мне росла внутренняя потребность как можно больше прочитать, а по мере чтения росло и любопытство. Я читал беспорядочно и бессистемно, все, что попадало в руки из так называемой прогрессивной литературы: Мао Цзэдун «О противоречиях» и «О практике»; Че Гевара «Экономика и новое сознание»; Ленин «Что делать?» и «Государство и революция», а также биографии Ленина, написанные Валери Марсю и Херманом Вебером; трехтомную биографию Троцкого Исаака Дойчера; «Капитал» Карла Маркса; «Демократия и социализм» Артура Розенберга; Эрих Фромм «Образ человека у Маркса»; Паоло Фрейре «Педагогика угнетенных»; Эрнест Мандель, двухтомная «Марксистская теория экономики»; Георг фон Раух «История Советского Союза»; Гундер Франк, Эрнесто Че Гевара и Мауро Мартини «Критика буржуазного антиимпериализма»; Эме Чезаре «О колониализме» и многое другое, что я давным-давно выкинул из своей библиотеки, или кому-то отдал, или просто потерял, и уж, во всяком случае, забыл.

В этот критический момент я пытался найти точку опоры путем любительского чтения политической литературы. Я все время задавал себе вопрос: кто я? С кем я заодно? Из чего складываются мои интересы? Я — тот самый, кто начисто разрывался между моральными и политическими амбициями собственной жены и ее друзей, близкими мне по своему эмоциональному складу, и сложностями на рабочем месте из-за

нападок со стороны друзей на идеологические принципы в моей работе. Я искал ответы в своем происхождении и, в духе времени, в своей классовой принадлежности. Я тогда записал:

Моя классовая принадлежность: средняя прослойка среднего класса.

Род деятельности: функционер.

Основное качество: умею хорошо функционировать. Между прочим, именно эта способность отличала моего отца. Люди моего происхождения функционируют хорошо. Они много не спрашивают о смысле и целях. Их идеал — хорошо сделать свою работу. Они любят ее и полностью отдаются решению практических задач.

Не сомневаются в начальстве, рассматривают действия руководства как работу специалиста, сравнимую с их собственной деятельностью. Они гордятся тем, что начальство ими довольно.

Любая политическая ситуация для этих людей все равно что явление природы — обрушивается на ни в чем не повинную голову, и поделать с этим ничего нельзя. Все они ненавидят террор и несправедливость, но отношение к демократии остается чисто формальным, ограничивается лишь походом к избирательной урне.

Эта группа политически пассивна, труслива, очень обязательна, честна, грешит идеализмом, порядочна, чистоплотна, взгляды — от консервативно до либеральных.

Этой группе свойственны приятельские отношения между людьми и никакого проявления солидарности.

У них бывают взлеты и падения только в личном, индивидуальном плане. Неудачный брак способен разрушить их жизнь.

Люди этой категории живут спокойно и тихо, словно стоячая вода, ничего не ищут в жизни и ни к чему не стремятся.

При определенных обстоятельствах, например когда очень не повезло с шефом, они хотят иногда чего-то другого. Но потом машут на все рукой.

Они часто и много подражают, вот бедные! Понять подлинное искусство неспособны, да и не хотят этого. Но прилежно ходят в театр и на концерты. И праздники празднуют так, как «принято». Что чаще всего и убивает подлинную радость. Однако они уверяют друг друга, что получили большое удовольствие от того, что провели

праздник вместе.

Отчуждение. Пожалуй, не было другого такого понятия, которое трепали чаще, чем это — отчуждение.

— Слушай, Петер, я тут подумал о тебе, — сказал мне однажды друг-студент, — нам надо обсудить тебя, нет, честно!

— А что такое?

— Я считаю, ты, чужая задница, совсем оторвался!

В продвинутом лексиконе тех лет бытовали «задницы» трех сортов: «либеральная задница», «коррумпированная задница» и «чужая задница»! Я, значит, сумел сделать так, что стал олицетворять собой в умах юных друзей все три категории одновременно, что постоянно вызывало их озабоченные споры о состоянии моего больного «революционного» духа. К двум первым определениям я отнесся более или менее спокойно, но вот третье, с этим «отчуждением», которое я сам в себе ощущал! Я страдал от него. И первым, кто рисовал мне эти мрачные картины, был Нахтигаль:

Я был когда-то мертвым
в мертвом городе
семь сабель
вонзились
в тучный мой живот

я был когда-то мертвым
с тысячью мертвых желаний
три телефона
разрывали мои барабанные перепонки

я был когда-то мертвым
голым на снегу
в моих волосах
свил гнездо страх
я был когда-то мертвым
живой
была одна
надежда
что я не умру

(1972)

Странно, но теперь уже никто не говорит об «отчуждении». И у меня такое впечатление, что сегодня мы в значительно большей

степени «отчуждены» благодаря СМИ и замотанности на собственной работе от наших первоначальных, исходных возможностей, чем молодежь тогда, в начале семидесятых.

Был когда-то Гегель, сформулировавший это понятие — «отчуждение», причем он всю историю человечества рассматривал как историю «перехода в отчужденное состояние». От Гегеля это перешло к Марксу, различавшему сверх этого еще два понятия — существование и сущность. Он установил, что человеческое существование отчуждено от своей сущности, что каждый человек — не то, что он есть по своим потенциальным возможностям. Говоря другими словами, он «не тот, кем должен был бы быть, и должен еще стать тем, кем он мог бы быть».

Эта мысль перекинулась на взбунтовавшихся в 1968 году студентов. Но здесь, в их борьбе за «свободу», при эмоциональной эксплуатации понятия «отчуждение», проявился весь неполитический подход, спонтанность этого движения, целиком устремившегося на борьбу с условностями, за освобождение от закоснелости и узости общественных взглядов. Целью были не политические преобразования тех производственных отношений, которые превращают рабочего в товар, делают товаром его рабочую силу, а реализация своего непомерно раздутого мистифицированного «я».

Это «я» — наша собственная личность, которую все мы искали и никак не находили, и те темные и мощные общественные силы, уготовившие нам собственное «отчуждение» от нашего слабо проявленного, никогда не знавшего однозначной дефиниции «я», загоняли нас в бесконечные, разъедающие душу диспуты, оставлявшие после себя только поверженные жертвы. Но, пожалуй, это были последние разы, когда мы так беспощадно и открыто ставили в кругу наших «друзей» вопрос, чего мы, собственно, хотим от этого мира.

Глава 11
Прибежище в работе

С одной стороны, мне не давало покоя мое отчаявшееся «я», с другой — мои возможности выдержать эту ситуацию тоже уже были на исходе. Я все еще так и не «добрался» до цели, хотя это было самым сильным моим желанием. Я по-прежнему был «в пути» — без остановки, без передышки, без минуты свободного времени, чтобы хотя бы все взвесить и обдумать.

Я ощущал обеспокоенность, неуверенность в себе и все время куда-то рвался, мне казалось, я уже кем-то стал, но это представление ежедневно перепроверялось заново, самоуважение бесконечно пребывало под вопросом, мысли не за что было зацепиться, — в такие периоды невольно вгрызаешься с ожесточением в текучку реальных проблем рабочего процесса, происходящего вне тебя. Вот и я углубился в свою, пусть еще и не окончательно принятую работу, постепенно начиная понимать особенности требований к ней и возникающие в связи с этим проблемы. Я с головой ушел в трудности, как стать настоящим начальником отдела и научиться соответствовать этой новой должности.

Через десять лет, когда мы уже расстались, Дора В. со свойственной ей очаровательной нескромностью заявила:

— Всем, чем ты стал, ты обязан мне!

Я в ответ лишь язвительно рассмеялся, но все же признаю, что доля истины в том есть: разве стал бы я так интенсивно и целеустремленно заниматься выставочной деятельностью, достигнув в результате определенных успехов, если бы не эта женщина, ее друзья и сомнения того периода, не дававшие мне ни минуты покоя?

В штормящем хаосе тех дней я искал спасения на прогибающихся подо мной, но все же крепких планках заново выстраивающейся работы. Я старался оставить все, что отвлекало меня и делало неуверенным в себе, в том беспокойном месте, откуда уходил в совершенно другой мир — видимый и действительный, — приковавший меня в итоге к себе не на одно десятилетие.

В нашем административном здании на Кляйнер-Хиршграбен было слишком тесно, и мне разрешили подыскать для отдела зарубежных выставок отдельное помещение — другими словами, избавиться от постоянного контроля со стороны начальства. Эта относительная самостоятельность, которой мы наслаждались

всем отделом, дала мне возможность без помех и косых взглядов дирекции и коллег из остальных отделов испробовать другие формы руководства и другие структуры организации дела. В своей маленькой рабочей лаборатории я мог экспериментировать, прибегая к багажу теоретических представлений, накопленных мною за время предыдущей работы. А практический опыт, приобретенный за период самостоятельной подготовки и проведения зарубежных выставок, помогал мне, напоминая чем-то детские игры в песочнице, в решении организационных, оформительских и административных вопросов, а также в умении выглядеть солидно и руководить подчиненными, которые должны были стать для меня в будущем бесценными помощниками.

Мы въехали в роскошные старинные стены на Кайзерштрассе неподалеку от прежнего места работы. Из своего нового, залитого светом и, насколько хранит память, целый день прогреваемого солнечными лучами кабинета я смотрел вниз во внутренний дворик дома, где родился Гёте. Нередко мои сотрудники открывали в солнечный день высоченные окна, садились на подоконники и ели свои бутерброды. Внизу толпились в это время якобы в садике Гёте японские туристы и, задрав головы, посылали нам свое привычное «Ах, со дэс ка!» или почтительное «О-о-ох!».

Как я с успехом проделал это в копенгагенской переплетной мастерской, так и здесь я начал с того, что решил систематизировать всю гамму рабочих процессов. Я разработал для каждой предстоящей выставки сеть вопросов и рабочие графики, куда, по возможности, вносились все важнейшие данные и сроки хода подготовки, так что любой сотрудник в любой момент мог подключиться к работе над проектом своего коллеги.

Это оказалось делом первостепенной необходимости, когда я начал ломать постоянные рабочие группы, каждая из которых состояла до сих пор из одного человека(!), ездившего за границу и обслуживавшего выставку, и секретарши, исполнявшей роль «береговой базы». Я отменил должность секретарши как непременно находящейся в чьем-то подчинении, назвал всех сотрудников консультантами, оставив, правда, привычные связки по двое, даже посадил их вместе в одну комнату, так что любую информацию оба получали одновременно.

Я планировал также широкое информирование о проведении выставок — их было от сорока до пятидесяти в год — и завел в отделе регулярные летучки раз в две недели, частенько выливавшиеся, правда, — в духе времени — в многочасовые, иногда многодневные дискуссии, редко когда приводившие к деловым результатам. На этих заседаниях обсуждалась скорее

политическая ситуация в стране и подвергалось экзаменовке наше к ней принципиальное отношение.

Я вспоминаю, как однажды — это было 17 мая 1972 года, в день, когда консервативная боннская оппозиция ХДС/ХСС под руководством Райнера Барцеля вынесла вотум недоверия высоко ценимому нами правительству во главе с Вилли Брандтом, — мы кинулись, прервав горячий спор, на улицу, чтобы влиться в ряды демонстрантов в поддержку Вилли Брандта. Как ни удивительно, он выдержал этот первый за период канцлерства наскок на него консерваторов и через месяц провел в бундестаге ратификацию вызывавших бурные дебаты «восточных договоров» (с СССР от 12.08.1970 и с Польшей от 07.12.1970), в которых впервые признавалось существование послевоенных границ.

Отдел состоял из пяти постоянных сотрудников: Рональд Вебер, Рената Лидербах, Ханна Флатау, Инго Эрик Шмидт-Брауль и Эльке Шаар, а также нескольких сотрудниц, занятых неполный рабочий день, среди них была Анна Грюневальд и другие. Когда от нас ушла Ханна, уехавшая за своим супругом-поваром в Англию, я пригласил на работу Элизабет Фальк — в качестве консультанта, отнюдь не секретарши — и с правом выезда за границу, прервав тем самым официально мужскую монополию на заграничные поездки. Сегодня это звучит как не стоящая упоминания безделица. Но тогда это стало бесконечной темой принципиальных дискуссий, которым не было конца. Вскоре, однако, выяснилось, что благодаря этой новой структуре отдел способен более гибко реагировать на предъявляемые к срокам проведения выставок требования. И таким образом, «эмансипированный прорыв» дал также положительные результаты с чисто организационной и технической стороны дела.

Окрыленный успехами своего скандинавского опыта, я сделал еще и следующее: ввел в отделе для всех сотрудников, независимо от их возраста и занимаемого положения, обращение на «ты». Назвать это с позиций последующих лет и с точки зрения исторической перспективы новацией в мировом масштабе было нельзя, но сколько кривотолков, сколько споров, недоразумений и злопыхательств среди самих сотрудников отдела и вне его вызвало это столь непривычное тогда в немецком обществе и любом трудовом коллективе правило!

Среди наших коллег по фирме и особенно в Биржевом объединении это нововведение было осуждено как ребячество, как несерьезная выходка. Нас подозревали в левацкой псевдореволюционности, в постыдной деятельности подрывных элементов. Не может серьезно выполняться работа там, где не

соблюдается необходимая дистанция между сотрудниками и где упразднена всякая иерархия. «Уравниловка», к которой громко призывали повсюду в те дни на улицах, была подозрительна любому работодателю.

Насколько глубоко воздействовало на наше окружение любое отступление от общепринятых норм, свидетельствует тот факт, что то же предложение и двадцать лет спустя, когда я уже давно был директором Франкфуртской книжной ярмарки и захотел перенести эту ставшую привычной для отдела зарубежных выставок форму общения на всех остальных сотрудников, сразу вызвало подозрение в нашем Наблюдательном совете: как бы подобные панибратские отношения не отразились пагубно на серьезной работе ярмарки.

А тогда страсти бушевали из-за этого и внутри нашего отдела. Особенно протестовали бывшие «секретарши», больше других ощущавшие свою зависимость в работе, — они считали, что теперь «начальники» не смогут дифференциально высказать свое мнение или дать им точное и строгое указание по работе. Одна недавно поступившая к нам сотрудница по имени Траудель с большим сожалением призналась мне, что ей придется оставить работу, потому она совершенно сбита с толку, потеряла всякую ориентацию и у нее даже начались нервные расстройства. Она никак не может понять, где пролегает граница, которую она всегда прекрасно чувствовала на любой другой работе и знала, как далеко можно ее преступать, а здесь рабочее пространство, в котором она движется, безгранично, и она чувствует себя в нем неуютно. И тогда мне стало ясно, что этим шагом я затронул какие-то очень авторитарные, очень немецкие структуры. Вскоре я уже раскаивался в содеянном, но вернуть назад старое оказалось невозможным.

Конечно, для организации плавного рабочего процесса необходима иерархия. Но я по своей наивности думал, что такая «естественная» иерархия выстроится сама по себе в соответствии с деловой компетенцией сотрудников и никакие формалистские методы авторитарного характера для этого не нужны.

Я, как мог, поддерживал забившую ключом энергию, всегда высвобождающуюся при ломке старых закоснелых норм. Но я недооценивал то состояние беспокойства, в какое попали люди, лишившиеся привычных форм отношений на рабочем месте.

Дополнительно к новшествам в духе времени я еще сломал и все защитные бюрократические барьеры. И потому не имел права удивляться, что в разногласиях как делового, так и иерархического характера внутри отдела каждый стремился настолько расширить круг своих интересов, насколько мог, и у

меня, поставившего себе цель упразднить авторитарные механизмы запрета и давления, не осталось никаких начальственных рычагов управления! Я мог сделать только одно, чтобы не утратить ведущей позиции руководителя отдела: стать компетентным специалистом в этой области, и как можно скорее и убедительнее!

И тогда я с непомерным усердием принялся за осуществление проектов, запланированных и запущенных в работу еще Клаусом Тиле, — больших книжных выставок в Финляндии и Бразилии.

Финляндия

В середине февраля 1970 года я отправился в Хельсинки, чтобы подготовить открытие выставки, которую потом должен был принять от меня Дитер Амман, освобожденный на два месяца от работы своим издателем Паулем Зибеком (издательство I. C. B. Mohr) для дальнейшего обслуживания выставки в Турку, Тампере и Ювяскюле.

Совсем другой мир по сравнению с тем, какой я узнал во время выставок в Южной Америке или Восточной Европе. Климатические условия — температура колеблется между -5° и -29° по Цельсию — никак не способствуют зарождению пламенного темперамента.

Моим самым ярким впечатлением в Финляндии стало первое посещение финской сауны с последующим купанием в ледяной проруби в Балтийском море на почти тридцатиградусном морозе, при этом старая банщица так терла меня жесткой щеткой, что все тело было потом в синяках и кровавых подтеках.

Кругом темно, бело и тихо. На жгучем морозе я пробирался вдоль стен домов и каждый раз был несказанно рад, если дверь открывалась и меня впускали в спасительное тепло жарко натопленных помещений.

Финский министр просвещения Йоханнес Виролайнен буквально воспел в день открытия выставки в Хельсинки вековые связи финской и немецкой литератур, существующие от истоков зарождения финской письменности, еще со времен Микаэля Агриколы[14] почти все ведущие финские поэты и прозаики переведены на немецкий язык, а «Семеро братьев» Киви так даже четыре раза; и кроме того, финская литература испытала на себе плодотворное влияние немецкой; значительны также связи немецкого гуманизма и особенно немецкой драматургии с финской литературой, и если внимательно посмотреть на программу финских учебных заведений, то станет ясно, что

центральное место в ней отведено немецкоязычной научной литературе.

Однако когда мы обратились с идеей продолжения этих контактов к нашим финским партнерам, то вскоре поняли, что в Финляндии произошли в этом отношении серьезные изменения. Немецкий язык утратил свою привлекательность для финнов. «Дружелюбная незаинтересованность!» — так определил это директор филиала Гёте-Института.

Пресса реагировала очень вяло или вообще никак на любые мероприятия, связанные с немецкой культурой. Это объяснялось сложной политической ситуацией с двумя немецкими государствами, к факту существования которых старались относиться нейтрально — лучше ничего не предпринимать, чтобы не сделать для одной Германии больше, чем для другой.

В третий раз после войны — после 1955 и 1961 годов — мы проводили в Финляндии репрезентативную немецкую выставку: 2700 наименований, отобранных из книг по 26 областям знаний, должны были дать финскому читателю представление о нашей книжной продукции того времени. Мы не поскупились на огромные дорогостоящие плакаты и не пожалели денег на рекламу. Чуть больше 10 000 посетителей пришло на нашу выставку за все ее турне по стране — результат, который в итоге удивил самих финнов, а меня, уже избалованного более масштабными цифрами в других странах, поверг скорее в уныние.

Это притом, что мы выкладывались здесь, как нигде. Работали не разгибая спины, втроем — Манфред Горсолевски, помощник директора фирмы зарубежных выставок, пожелавший лично ознакомиться с нашей работой на местах, Дитер Амман и я, — ежедневно по десять — четырнадцать часов, чтобы хоть что-то сдвинуть с мертвой точки в этой медлительной стране. Мы до смерти надоели в обоих больших книжных магазинах «Суомалайнен Кирьякауппа» и «Акатееминен Кирьякауппа» руководителям отделов немецкой литературы, требуя, чтобы они сделали специальные витрины с немецкой литературой и предприняли еще и другие действия в поддержку выставки. В конце концов они это сделали, хотя и без особого энтузиазма, выставив литературу про «третий рейх», воспоминания Альберта Шпеера, книги Бёлля, Грасса и Ленца.

Начальник отдела культуры в министерстве иностранных дел в Бонне господин Георг Штельцер специально прилетел в Хельсинки на открытие выставки. А мы прибегли к помощи профессора Иринга Фетчера и пригласили еще швейцарского писателя Петера Бикселя почитать в рамках выставки из своих произведений.

Когда я встречал Петера Бикселя на аэродроме в Хельсинки и из вежливости взял у него из рук маленький чемодан, этот приветливый человек вдруг резко вырвал его у меня. Я несколько смутился, такая реакция показалась мне весьма странной. Но вечером в отеле, открыв одну из его книг, которую принес с выставки, чтобы немного познакомиться со странным гостем, я прочитал в самом начале рассказа:

«Мама говорит: когда едешь за границу, не выпускай своего чемодана из рук…»

Проведя ряд предварительных переговоров в Стокгольме и Осло относительно дальнейших скандинавских проектов, я возвратился во Франкфурт. Мне надо было серьезно заняться подготовкой выставки в Бразилии, которую я хотел провести лично от начала до конца, чтобы во всех деталях познакомиться со всеми подстерегающими во время реализации этого большого проекта случайностями и неожиданностями.

Мы все еще не нашли художника, который согласился бы взять на себя оформление выставки целиком. Все предыдущие варианты показались мне неубедительными, они возникали скорее на почве случайных знакомств — то дуэт из Скандинавии, то «Змеиный глаз» на выставке в Бельгии, то чешский эмигрант Ян Шмейкал, исчезнувший сразу после нашего туда прибытия.

Во Франкфурте я увидел плакаты, они сразу понравились мне, их автором оказался профессор искусств из Оффенбаха Гюнтер Кизер, он сделал их для Гессенского радио. Я спросил, не согласится ли он работать на нас. Но Кизер был очень занят и посоветовал обратиться к одному «одаренному молодому графику» по фамилии Эберхард Мархольд. Тот работал совместно с двумя другими художниками — Клаусом Яноршке и Райнхардом Шубертом. Они появились у меня втроем, и с этого момента между нами началось не только тесное и длительное сотрудничество, но и зародилась глубокая дружба, распространившаяся и на наши семьи.

Особенно с Райнхардом, этим тонким, вдумчивым, умеющим слушать человеком. Я испытывал к нему почти братскую привязанность. Он был не столько импульсивным художником, сколько человеком, вникавшим в практические функции графики, стратегом-мыслителем, автором концепций, тогда как двое других были «переводчиками» его идей на язык красок. Они все трое прекрасно дополняли друг друга и должны были отныне формировать внешний облик наших выставок. Вместо случайного эффекта разорвавшейся бомбы мы ждали от них единого общего решения рекламной программы, разработанной нашими специалистами, на «красочном» языке графики.

Итак, мы начали продумывать бразильский проект: книжную выставку в стране, где военный режим грубо преследовал состоящую в основном из интеллигенции левую оппозицию и где правительство благосклонно взирало на эскадрон смерти (а может, даже и поддерживало), прицельно истреблявший оппозиционеров. Тем не менее протест и сопротивление не угасали, о чем однозначно свидетельствовало только что состоявшееся в Рио-де-Жанейро похищение немецкого посла Эренфрида фон Хольлебена подпольной организацией «Alianca Libertatora Nacional». За две недели до похищения бразильский архиепископ Эльдер Пессоа Камара сообщил в Париже, что в Бразилии систематическим пыткам подвергается более 12 000 политзаключенных.

Германские инвестиции в Бразилии достигли к этому времени 3 миллиардов немецких марок, что делало немецких промышленников вторыми после США инвесторами страны.

Эти факты необходимо учитывать как фон, на котором разворачивался наш проект, задуманный в помощь стране «третьего мира». А что, если эта культурная инициатива немцев всего лишь завуалированный пропагандистский акт германской индустрии, которая приветствует таким образом благоприятный для инвестиций политический климат в условиях военной диктатуры?

Чтобы дать нам испить эту горькую чашу до конца, наша книжная выставка должна была по желанию председателя правления заводов «Фольксваген», профессора и почетного д-ра господина Курта Лотца, председателя комитета «Немецкой промышленной выставки 1971 года» в Сан-Паулу, представлять собой часть именно этого индустриального шоу.

Наши же намерения были совершенно иными. Мы хотели достучаться до сердец бразильцев, интересующихся книгами, и были убеждены, что только у них найдет понимание немецкая литература, то есть мы искали совсем других «клиентов», чем те, которых притягивал смотр достижений немецкой индустрии. Одним словом, мы хотели вступить в диалог с бразильской интеллигенцией, а та держалась «левее» и относилась к этому «шоу метрополий», вне всякого сомнения, отрицательно и даже агрессивно.

Таким образом, мы вступили на узенькую тропочку, пробивавшую себе дорогу между желанием нашего правительства показать себя с лучшей стороны, особенно в расчете на немецкоязычных бразильцев на юге страны, между мертвой

хваткой немецких промышленников, намеревавшихся злоупотребить выставкой и использовать ее в качестве декораций в своих целях, и между цензурными властями военного режима Бразилии.

Последние не чинили нам ни малейших препятствий по причине прекрасных отношений между нашим правительством, немецкими промышленниками и бразильской военной диктатурой. Напротив, нам неожиданно предоставили свободу действий, позволив выставить в высшей степени критически настроенную экспозицию — со множеством текстов левых авторов, наводнивших тогда немецкий книжный рынок, однако далеко не отвечавших интересам бразильских читателей тех дней.

Мало того, наши оформители снабдили каталог антимилитаристскими карикатурами, сигнализировавшими каждому, у кого были глаза (а во времена диктатур у людей развивается к этому особый дар!), какого рода информация будет предложена на выставке. Через бразильскую таможню мы провезли все экспонаты без особых проблем.

Подробную переписку с референтом по культуре Генерального германского консульства в Сан-Паулу д-ром Вольфгангом Пфайфером я начал еще в феврале 1970 года. Мы обсуждали, с какого из семи бразильских городов, запланированных нами для выставки, следует начать: с Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро или Порту-Алегри? Но уже очень скоро пришлось затрагивать в переписке принципиальные вопросы, связанные с проведением выставки.

После похищения немецкого посла в Рио-де-Жанейро немецкую общественность почти ежедневно запугивали драматическими репортажами из бразильских тюрем. Поэтому я порекомендовал отказаться от официального присутствия на открытии выставки, скажем, кого-нибудь из министров, чтобы не сложилось впечатление, будто мы заодно с правительством, попирающим права человека.

Д-р Пфайфер был дипломат широкого профиля, человек живого ума. Я оценил его профессиональные качества и получил от него уроки той дипломатии, которая не ограничивается только инструкциями центра и выполнением его предписаний, а учит, не выпуская из виду поставленную задачу, с чувством ответственности искать и находить самостоятельные пути ее разумного разрешения.

В совместных «играх» с ним было найдено также решение для выполнения самого сомнительного пункта программы — участия книжной экспозиции в «Немецкой промышленной выставке»: мы привезем часть книг по темам «Техника» и «Экономика» в двух

экземплярах и покажем их в рамках этой выставки. И наконец было достигнуто соглашение, что выставка начнет свое турне по стране с Порту-Алегри.

Приближалось время, когда я — скаковой жеребец, бьющий перед стартом в стойле копытом, — мог наконец отправиться в путь на поиски новых приключений. Мне уже порядком надоела бюрократическая возня в собственном отечестве, и я радовался новой встрече с Латиноамериканским континентом и возможности углубить свои знания, касавшиеся этой части мира.

В Рейнской провинции шел карнавал 1971 года. Лил проливной дождь, когда я еще раз заскочил в это февральское воскресенье во Франкфурте в офис, чтобы взять кое-какие документы. По Кайзерштрассе двигалось под дождем и снегом безутешное карнавальное шествие. С рыжих париков «дураков» сбегали рыжие струйки воды. Время от времени раздавалось натужное «эй-я-я!». Шествие сопровождали по-карнавальному украшенные машины, откуда отчаянно разбрасывались сладости в жидкие ряды зрителей-энтузиастов, стоявших вдоль тротуара. Мало кто нагибался, чтобы поднять из чавкающего под ногами месива карамельку.

В девять часов вечера я, совершенно измученный, сидел в самолете рейсом на Рио. Последние дни и недели были заполнены лихорадочной подготовкой. В конце концов я буду отсутствовать в отделе четыре месяца, надо было оставить кое-какие заделы. В день отъезда у меня не было времени даже поесть, и я с нетерпением ждал, когда самолет взлетит и начнут разносить ужин.

Ну вот наконец-то это произошло! Я приучил себя при перелетах через океан брать билет в последний ряд кресел. На сей раз, сидя в черном обрамлении двух монашек-католичек, я увидел, как в передней части салона начала свое движение тележка с напитками. Я «на минутку» задремал, такое у меня было ощущение, и вдруг испуганно вздрогнул. Кругом меня темнота, только слабо светятся ночные лампочки. Монахини сидят прямо, сложив руки на коленях, напоминая спящих пингвинов. Я оглянулся вокруг — все спят. Меня охватило отчаяние — кишки заурчали от голода. Я проспал всю «кормежку»! Была уже полночь.

Осторожно нащупал я над головой кнопку вызова. Появилась стюардесса, и я тихонько объяснил ей, как мне крупно не повезло. Она выключила кнопку и недовольно сказала:

— Посмотрю, что можно для вас сделать!

Наконец еще через полчаса она появилась с полным меню, специально для меня подогрев еду.

— Что вы будете пить?

Я сразу заказал две бутылочки красного французского вина.

Сидя под колпачком маленькой лампочки, предназначенной для чтения, я наслаждался едой, блаженно чавкал, по очереди освобождая разную вкуснятину от упаковки. Редкий случай, когда еда доставила мне столько удовольствия, сделав меня счастливым. Мне хотелось петь во все горло, и я с опаской замурлыкал себе под нос. Потом я вытащил латиноамериканский роман (Ж. Гимарайнс Роза «Тропы по большому сертану») и принялся его читать. Обе монахини бросали на меня время от времени не по-христиански язвительные взгляды и демонстративно отворачивались — каждая в свою сторону.

В шесть часов утра мы приземлились в Рио-де-Жанейро. Даже в такую рань — 32 градуса жары! Я сел в такси, желтый «фольксваген», и вот я уже еду в просыпающийся город. По дороге изредка попадаются возвращающиеся домой усталые полуночники, одежда их имеет неопрятный вид.

Сегодня предпоследний день карнавала, скоро все кончится. Умею ли я танцевать самбу, спрашивает меня чернокожий водитель и начинает двигаться за рулем в ритме зажигательного танца под звуки мелодии из приемника в машине. Чтобы успокоить его, кладу ему руку на плечо. Может, отвезти меня в одну из школ? «О, карнавал! О, карнавал!» Опять его плечи заходили ходуном в бешеном темпе, «отплясывая» самбу.

Какая разница! Франкфурт — Рио! Прошло неполных двадцать часов: темнота сменилась обилием света, холод — жарой (я уже начал потеть в своем зимнем вельветовом костюме и пуловере с высоким воротом), тишина — шумом, уныние — бьющим через край весельем и радостью жизни.

В маленьком швейцарском отеле «Praia Leme» недалеко от пляжа под Копакабаной, где у меня заказан номер, только покачали головой:

— Во время карнавала все номера заняты, ваш освободится самое раннее к полудню! Оставьте чемоданы и поезжайте в город, посмотрите карнавал!

Я очень устал, но меня разбирало любопытство, и я отправился в том виде, в каком был, зажав теплый пиджак под мышкой, снова на улицу. Я бродил по набережной вдоль пляжа в Копакабане и слышал со всех сторон бешеный ритм барабанного боя, громкие трещотки и гортанные голоса. Одна из так называемых «bandas» — группы в пятнадцать — двадцать бьющих в барабан и дергающихся в ритме музыки черных, шоколадных и белых тел в легких развевающихся одеждах — окружила меня. Я быстро попятился и ретировался в первую боковую улочку,

вытирая пот со лба.

И тут же услышал, как с другой стороны, ударяя в барабаны и вбивая в землю ритм самбы, приближается еще одна «banda». Не успел я, подглядывая исподтишка, присмотреться к новым движениям и ритмам, как уже начал сам понемножку раскачиваться и приплясывать на месте, и тут же ко мне подскочили двое решительных «мулатов», подхватили меня под руки и потащили в середину группы. С тяжеловесностью немецкого «плюшевого» мишки постарался я подладиться под огненный ритм.

Постепенно стала исчезать дистанция, которую только что ощущал тот, кто прибыл из страны холода. Я все больше сливался с танцующими. Одна из мулаток накинула на себя мой пиджак, чтобы я мог двигаться свободнее. Вскоре я уже вообще не чувствовал ни усталости, ни пота, лившегося с меня ручьями. Я стал частью группы, танцующие, подпрыгивающие, двигающиеся в полусогнутом состоянии то вперед, то назад члены которой, смеясь и подталкивая меня, подбадривали и призывали прыгать веселее, как они. Я стал в Бразилии своим гораздо быстрее, чем представлял себе. Меня приняли — я ощущал это всем дергающимся и вихляющим ритмом, в котором сейчас существовал.

В короткие паузы в танце мы смеялись и обнимались, а потом вдруг кинулись к другой группе, где в круге танцевала женщина, а все остальные стояли и били в ладоши и барабаны, не давая обезумевшей танцовщице раньше времени выйти из охватившего ее экстаза. Воздух словно наэлектризовался, нарастало эротическое напряжение, всех обуяла лихорадочная страсть, когда женщина начала сбрасывать с себя одежды, подначиваемая теми, кто уже достиг «пика» возбуждения. И тут кто-то незамедлительно приблизился со стороны и набросил на голую женщину покрывало. Перехлестнувшая через край эйфория мгновенно улеглась, раздались даже возмущенные голоса:

— Наш карнавал должен оставаться незапятнанным!

Так я познал границы дозволенного, положенные этим затюканным в обыденной жизни людям и во время их буйного веселья тоже. Правила игры соблюдались повсюду, частенько даже только из-за присутствия воинственно-грозных блюстителей порядка, расположившихся в самых людных местах вместе со своим внушающим страх техническим оснащением.

День прошел как в угаре, так что я даже опомниться не успел. Меня «усыновили» две мулаточки. Меняя группы, мы прошли, пританцовывая, сквозь так называемые «школы самбы», пристали на мгновение к какому-то шествию, после чего нас вместе с

разным пестрым народом загнали в полицейский участок, откуда обеим черным девушкам удалось безнаказанно выбраться только благодаря «белому» кавалеру.

Была уже глубокая ночь, когда мы вошли в самой бедной и грязной части Рио в ресторан «Самба», заставивший меня вспомнить разные сцены ада в кинофильмах. Внутри царил мрак, на столах мерцали только огарки свечей, позволяя худо-бедно ориентироваться. В центре в окружении известковых колонн, подпиравших где-то наверху черный невидимый купол, находилась танцевальная площадка. Люди ритмично двигались здесь по кругу, впритык друг к другу, положив руки на плечи впереди танцующего, под звуки громко и фальшиво играющей духовой капеллы. В четырех углах вокруг этого гротескового хоровода стояли вооруженные до зубов ручными гранатами, автоматами, полицейскими дубинками и сумками с боеприпасами солдаты в грозно натянутых и застегнутых под подбородком ремнями стальных шлемах. Они стояли неподвижно, как изваяния, с застывшим и направленным вперед взглядом. Внутри сумеречно освещенного круга двигались, ритмично дергаясь, странные человеческие фигуры: не в меру толстые, с явно избыточным весом, и маленькие, тощие и изможденные, высохшие, как щепки, или, подобно огромным великанам, вызывающие страх громилы с накачанными мышцами. Часть из них нарядилась в фантастические и экзотические костюмы, другие были в спортивных трусах и майках с нацепленным красным бумажным носом.

Передо мной прыгал по кругу какой-то гном с отвисшим до колен животом. Сползшие до тапочек трусы задержались где-то там, где начинались его коротенькие ножки, а майка, принявшая форму полумесяца, оставила голой нижнюю часть огромного живота. Не сумев обнять его за плечи, я положил руки на его потную голову. Сам же он обеими ручками вцепился в вихляющийся мощный зад мулатки с курчавыми завитками на затылке и косынкой на голове. Одна из моих милых «подружек» висела вцепившись мне в спину, а когда вся веселая компания вдруг повернулась и начала приплясывать в другую сторону, она так въехала мне своим задом в живот, что я сложился, как перочинный нож Сзади у меня на ремне повис гномик.

Мы танцевали по этому дьявольскому сценарию до рассвета. Я уже давно был не сторонним наблюдателем, приехавшим издалека, а истинным участником народного гулянья а-ля Феллини. И абсолютно ничего не опасался — я стал частью всеобщего безумия.

Обе прелестные мулаточки стали моими милыми и

заботливыми гидами в этой кишащей толпе в бесконечно перемещающейся вакханалии карнавала в самый первый день моего пребывания в Бразилии. Они распрощались со мной, попросив немного денег, чтобы добраться до дома на такси. Усталый сверх всякой меры, я рухнул на сиденье другой машины рядом с юным американцем. Вскоре я вышел и поплелся в предрассветных сумерках вдоль пляжа Копакабаны и Леме к себе в отель.

Следующие дни ушли на то, чтобы подготовить немецкое посольство, филиал Гёте-Института, крупных книготорговцев и хотя бы немного бразильскую прессу в Рио к грядущему «великому событию» — немецкой книжной выставке и связанной с ней культурной программе.

Потом я улетел в Сан-Паулу, чтобы собрать в Ибирапуэра-парке ту часть нашей экспозиции, которую должны были показывать в рамках «Немецкой промышленной выставки». На высоком вращающемся постаменте залитый ослепительными лучами солнца «золотой телец» нашего времени — модель новой спортивной машины. На фоне этого сверкающего и кажущегося недоступным «божества» наш книжный стенд — ровно 600 названий книг по темам: техника, архитектура, математика, экономические науки и социология. Мы с Дорой — моя жена снова влилась в ряды наших сотрудников, как только дети были пристроены в Аргентине, — с нетерпением ждали потока посетителей, которые вот-вот должны были появиться.

И они появились. Через наш стенд в жуткой толчее прошло 80 000 человек Четверо сотрудников не в состоянии были справиться с таким мощным наплывом посетителей. О спокойных, информативного характера беседах не могло быть и речи, но тем не менее нам были высказаны сотни пожеланий получить ту или иную справку, и нами были приняты все заказы на высылку книг.

Территорию выставки мы покидали обычно около полуночи, и нас сразу оглушал шум, свет и гул голосов этого мира чудес, не имеющего ничего общего с окружающими его бразильскими буднями.

Однажды вечером мы обнаружили в уголке забившуюся в тень от витрины молоденькую бразильянку с ее черным новорожденным младенцем, спавшим в картонной коробке. Мы сели рядом с ней и выслушали рассказ о сексуальной эксплуатации женщин, о том, как ее выгнали из «фавелы» (трущобы), дававшей ей кров, и о том, что теперь она брошена на произвол судьбы.

Это была красивая женщина, она рассказывала не жалуясь, ровным, иногда, как мне казалось, не соответствующим ситуации

радостным голосом. Мы отдали ей все, что у нас было, оставили немного денег, прекрасно сознавая, что этим ничего не изменишь в ее судьбе. Мы ушли, мучимые совестью.

В ту ночь образ молодой матери с крошечным ребенком в картонной коробке не выходил у меня из головы, а за окном по-прежнему бушевал неумолчный гул города, и сон никак не шел, хотя мы провели на ногах больше четырнадцати часов.

Выставка в Порту-Алегри

ПОРТУ-АЛЕГРИ — административный центр южнобразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, сильный отпечаток на который наложили немецкие эмигранты с Хунсрюка — юго-западной части Рейнских Сланцевых гор, — сами себя величавшие, согласно смысловому значению названия местности, «немцами с собачьего горба». В расположенном на слиянии пяти рек городе с католическим университетом было три немецких книжных магазина, влачивших, впрочем, жалкое существование, поскольку они не решались выйти со своим ассортиментом к новой публике, а рассчитывали только на стариков-эмигрантов, постепенно вымиравших, их же сыновей и дочерей, даже если они все еще говорили по-немецки, не привлекала больше старая

литература. Но что настоящий интерес к немецкой книге все-таки еще не умер и жил не только в немецких кругах, должна была доказать наша выставка, расположившаяся в Институте искусствоведения.

Открытие вылилось в грандиозный праздник. 450 приглашенных и неприглашенных гостей толпились в тесных помещениях выставки. Проникли сюда и многие студенты, уютно устроившиеся на полу. Посетители группками разглядывали отдельные, особенно красочные и нарядные тома по искусству, а также яркие детские книжки. На выставке удалось создать такую атмосферу, которая вызывала, с одной стороны, ощущение чего-то знакомого, с другой — жгучее любопытство к новому.

Это было прекрасной наградой за трудную и отчасти нудную работу по сборке стендов. За недостатком собственных рабочих рук мне помогли на сей раз собрать выставку за пять дней и столько же полуночей вице-консул Шлихтинг и руководитель курсов немецкого языка в Гёте-Институте Франц Бухетман и их жены, а также прикрепленный к нам «знаток местных условий» д-р Каро — любезный пожилой господин, один из представителей образованной еврейской диаспоры, которых еще часто можно было встретить в те дни в Латинской Америке. В промежутках я все время наведывался в редакции газет, потом подробно и восторженно освещавших выставку. До начала и во время проведения выставки в газетах Порту-Алегри было помещено сорок пять богато иллюстрированных материалов.

Впрочем, не успели мы открыть выставку, как ее тут же и закрыли: последовала акция протеста со стороны юридического факультета, повлекшая за собой чрезмерно жесткую реакцию ректора католического университета, распорядившегося временно закрыть все факультеты и примыкавшие к нему институты — наступали праздничные дни Пасхи. Только по их окончании возобновилась работа выставка и неизменный поток посетителей.

В эти дни приехал Понтер В. Лоренц, чье колоссальное влияние на общественность я наблюдал еще в Аргентине. Он и тут был встречен с помпой и поверг немного в шок весь присутствовавший профессорский истеблишмент своим докладом «Роль писателя в обществе». Последовавшая за этим дискуссия на тему о латиноамериканской литературе была полностью опубликована в крупнейшей ежедневной газете штата Риу-Гранди-ду-Сул «Correo de Povo». Число посетителей выставки — в конечном итоге всего лишь 3600 — не отражало истинного успеха этой выставки в Порту-Алегри.

На самом деле воздействие на широкие круги общественности было гораздо глубже, о чем свидетельствовал

хотя бы уже тот факт, что чисто бразильские книжные магазины заинтересовались немецкой книжной продукцией. А из провинции поступило сообщение, что во многих школах провели конкурс на лучшее сочинение о представленных на немецкой выставке книгах. В общебразильских новостях в день открытия выставки показали специальный короткий телерепортаж. Здесь, в Порту-Алегри, нашлась своя бразильская публика, далеко превосходившая по численности немецкую колонию, и пусть ее знания немецкого были не столь велики, зато преобладал устойчивый интерес к таким областям знаний, как экономические науки, математика, архитектура, медицина, а также к книгам по искусству и детской литературе.

Совсем другое дело состав публики в Сан-Паулу, где мы построили в конце апреля наше выставочное «шапито» на площади в 1600 квадратных метров на территории Художественного музея на авенида Паулиста. Эта публика состояла в основном из немцев, работавших в Сан-Паулу на немецких фирмах, и бразильцев немецкого происхождения. Дело, может, еще было в том, что единственным органом печати, без конца и подробно информировавшим об открытии выставки, стала газета «Deutsche Nachrichten» («Немецкие вести»). Правда, и главная бразильская газета «Эстаду ди Сан-Паулу» тоже поместила несколько материалов, но в этом суматошном и безликом городе требовалась более настойчивая информация, чтобы у людей созрело решение принять в чем-то участие.

Так что ничего удивительного в том, что мы, раз уж официально не удалось сделать что-то значительное в рамках выставки, старались в скудные часы свободного времени завязать — согласно зревшей во мне постепенно идефикс — контакты с «интеллектуальными бразильскими кругами». Мы посещали ночью соответствующие кафе и бары на Руа-Аугуста, вмешивались в разговоры, но большинство вхожих туда людей оставались вежливо недоверчивыми к нам и уклонялись от общения. Тайная полиция была повсюду, это было известно каждому. И никто не хотел подвергать себя опасности, практически все подавляли свою врожденную открытость и гостеприимство, так что большинство ночных разговоров оказались для нас безрезультатными и ни к чему не привели.

Однако нам все же удалось войти в доверие к горстке писателей, группировавшихся вокруг одаренного преследуемого драматурга Плинио Маркуса, и многое узнать о механизмах гонения и запрета на их произведения. К нашему великому ужасу, мы узнали задним числом, что Гюнтер В. Лоренц, которого мы брали с собой на эти «узкие» встречи, возвел потом на всю группу

клевету в своих статьях в шпрингеровской газете «Ди Вельт», назвав этих авторов левыми экстремистами, маоистами или анархистами, и указал при этом место и время встречи и имена присутствовавших. С того момента наша тесная дружба с этим «знатоком» Латинской Америки, так успешно поработавшим на наши проекты, дала трещину, не затянувшуюся даже и дома.

А мы уже снова собирали выставку и снова открывали ее в другом месте. Следующей остановкой был Рио-де-Жанейро. Если в Сан-Паулу все время лил дождь и дул неприятный холодный ветер, то в Рио-де-Жанейро царила погода, какую обычно обещают в рекламных туристических проспектах. В Сан-Паулу нас все-таки посетило 5300 человек. Что же ожидает нас у «cariocas», жителей Рио, про которых известно, что они жизнерадостны и забавны, но не очень серьезны? Чего тогда сможет добиться там такое «серьезное» дело, как немецкая книжная выставка, подготовленная столь «серьезными» людьми, как мы?

Еще в преддверии выставки я долго переписывался с компетентным по этому вопросу советником немецкого посольства в Рио-де-Жанейро господином Х. Хольцхаймером по поводу подходящего помещения для выставки. Посольство настаивало на утвержденном в свое время еще Клаусом Тиле зале в министерстве просвещения и здравоохранения.

«„Знатоки местных условий“ настоятельно не советуют нам проводить выставку в стенах министерства. Вы, конечно, понимаете, уважаемый господин Хольцхаймер, что мы не можем просто так проигнорировать эти советы, ибо, являясь представителями немецких издательств, мы в известной степени отражаем интересы немецкой общественности.

Мы не думаем, что выставке грозит какая-то опасность. Только лишь предполагаем, что в интересах общественного мнения Бразилии, как и нашей страны, и в интересах всестороннего успеха нашего дела следовало бы избегать слишком откровенного кооперирования с правительством, о котором мировая общественность открыто говорит как о правительстве, не уважающем законов о правах человека», — говорилось в моем письме.

Я склонялся к Музею современного искусства. Клаус Тиле, предпринявший подготовительную поездку, написал мне из Мексики следующее:

«В Музее все просто идеально для выставки. Это муниципальное помещение, а тамошняя директриса известна как поклонница авангардистского искусства. Но, к сожалению, „пуп“ Рио находится в десяти минутах ходьбы от пешеходного моста к так называемому пляжу (смотри карту города!) и вечером там

лучше не появляться, чтобы не проходить в темноте эти несколько метров — официальным лицам ни в коем случае, а обычной публике тоже из-за опасения за свой кошелек».

«Директриса-авангардистка» великодушно отдала в наше распоряжение весь нижний этаж музея, и посольство наконец согласилось. Место просто идеальное. Музей был центром встреч прогрессивной творческой молодежи, здесь имелся кинозал, где почти ежедневно показывали современные бразильские и зарубежные фильмы.

Я, как обычно, постарался «вписать» выставку в предоставленные нам стены, приспособить ее к особенностям помещения и создать ощущение гармоничного единства. На открытие мы пригласили пламенного оратора — президента ПЕН-Клуба Маркуса Мадейру. С немецкой стороны несколько приветственных слов произнес посол Рёриг. После этого 480 приглашенных гостей поприветствовал от имени фирмы-устроителя член Наблюдательного совета д-р Матиас Вегнер.

За столом с детскими книжками сидел уже хорошо знакомый мне человек из охраны немецкого посла, но по обтрепанным карманам пиджака в нем нетрудно было опознать одного из «секретных агентов», я не удержался и сделал ему весьма некомпетентное замечание:

— У нас ведь тут сугубо гражданское мероприятие!

Тогда он взял меня за руку, подвел к двери и показал на дворника, невозмутимо орудовавшего метлой:

— Видите вот этого? Он — один из наших!

Потом показал на полуголого юношу, который пил на улице воду из колонки.

— Этот тоже наш!

На любовную парочку, усиленно занятую друг другом.

— И эти двое наши!

На шофера в ливрее, усердно протиравшего стекла лимузина своего хозяина.

— Наш!

На отца семейства, выгуливавшего собачку, на двух женщин, оживленно беседовавших друг с другом, на мужчину, который задумчиво смотрел с пешеходного моста на непрерывный уличный поток, на трех юношей, очевидно, рассказывавших друг другу анекдоты, на стекольщика, который в столь поздний час невозмутимо надраивал окна, на нищего — певца с гитарой, на двух мулатов, поджидавших «фраеров», на великана-негра, отбивавшего дробь на нефтяной бочке.

— Все они: и те, и вот эти, и там, и тут — наши люди!

А когда мы вошли назад в помещение выставки, он спросил:

— Сказать вам, сколько из ваших «гостей» действительно ваши гости?

Я поспешно отказался.

«Секретный агент» в Рио-де-Жанейро за столом с детскими книжками

И тем не менее выставка с первого дня притягивала к себе заинтересовавшуюся, молча и неторопливо разглядывающую книги публику, особенно молодежь. Через несколько дней число посетителей уже перевалило за 10 000, а под конец выросло до 17 000.

Причиной такого впечатляющего успеха наверняка вновь стало невероятное паблисити такой личности, как Гюнтер В. Лоренц. Все началось с маленькой заметочки в небольшой газете в рубрике «Общественность», разрослось затем до сообщений в пол- и три четверти полосы в крупнейших ежедневных бразильских газетах «Жорнал ду Бразил» и «Глобу», а завершилось триумфальным пятиполосным интервью во второй по значению газете Рио «Коррею да маньян». Лоренц дал только в Рио пятнадцать объемных интервью прессе, радио и телевидению и сделал одиннадцать докладов, приняв участие в их последующих обсуждениях. Так как все это происходило в дни выставки, она от этого очень выиграла.

Придуманный Райнхардом Шубертом мотив для плаката — голова Сократа и производящие над ней эротические «манипуляции» женские пальчики с ярко-красными ноготками — нельзя было не заметить даже в самом отдаленном уголке Рио. Кроме того, один немецкий книготорговец дал нам 10 000 надежных адресов, по которым мы заранее разослали информацию. Все это отлично сработало, наши усилия вылились в Рио в подлинно значительное событие общественной жизни. Успех, ставший сегодня, как это всегда бывает, когда занавес падает, уже далекой историей.

Однако для меня он имел, как выяснилось позже, особо важное значение. Матиас Вегнер, тогдашний исполнительный директор издательства «Ровольт-Райнбек», открывавший выставку от имени представителей книжной отрасли, собирался также принять участие в Немецко-бразильском семинаре книготорговцев и издателей, который должен был состояться через неделю в горном городке Сан-Луренсо, расположенном в 180 километрах от Рио.

Когда через неделю для участия в этом семинаре прибыла остальная немецкая делегация: Ульрих Порак (издательство «Брокхауз», Висбаден), Гюнтер Кристиансен (книжный магазин «Кристиансен», Гамбург), Герхард Курце («Гроссохауз Вегнер», Гамбург), Клаус Г. Саур (издательство «Документация», Пуллах) и Курт Майер-Класон (переводчик Гимарайнса Розы и Жоржи Амаду), — небезразличный ко всему и очень общительный Матиас Вегнер внимательно понаблюдал в течение нескольких интенсивных дней работы семинара за нашей деятельностью устроителей выставок и подробно ознакомился с ней, оценив мой вклад, мою заинтересованность в деле и мою коммуникабельность. Через два года это имело для меня свои последствия.

Я очень устал, просто вымотался. Бразилия, которая была в тридцать четыре раза больше нашей маленькой Федеративной Республики, пленила меня с того самого мгновения, как я ступил ногой на эту противоречивую землю. Я увлекся ею и одновременно постоянно искал пути, как лучше выполнить свою задачу. На собственной шкуре прочувствовал все противоречия — политические, экономические и человеческие.

Я не чурался ближе познакомиться с тем, что небразильцев интересует только как туристические диковинки.

Опустился в Сан-Паулу на колени перед жрицей Макумбы и позволил совершить над собой чудеса вудуистского колдовства. Потом, забавляясь, пытался, войдя в транс, танцевать на

«candombe»-фестивале в Баие, но без необходимой на то веры из этого, естественно, ничего не вышло. А еще я попробовал воспроизвести с помощью «capueirha»-учителя точные артистичные движения этого африканского боевого танца.

Я ел продаваемые баийскими женщинами на улицах вкуснейшие блюда из кукурузы (с некоторыми последствиями для собственного желудка), бразильскую еду из бобов «fejoada» в дешевых харчевнях Сан-Паулу, запивая их всевозможными «batdas» и «caipirinhas» (фруктово-молочными коктейлями).

Я с одинаковой осторожностью приближался как к богатым, имевшим особый вес в обществе и даже в военных правительственных кругах, так и к мулатам в барах, грязным уличным мальчишкам, торгующим газетами, или к осторожничающим студентам-оппозиционерам, профсоюзным деятелям, писателям-одиночкам.

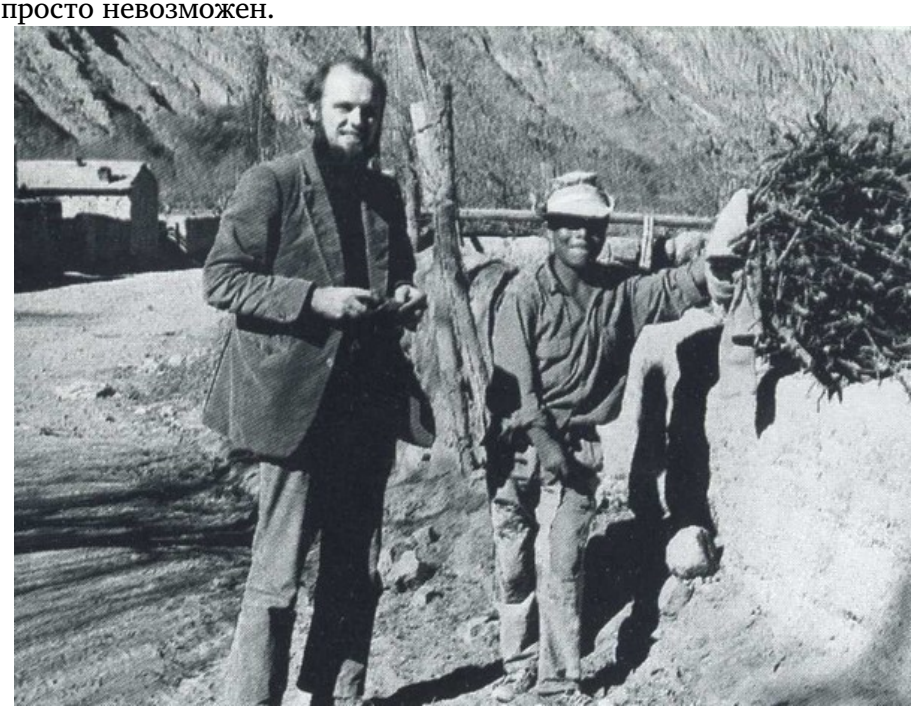
А в свободное время, крохи которого оставались у меня после ежедневной организационной, рекламной и представительской суматохи и учета денежных расходов (производимого, как правило, ночью), я начал еще потихонечку знакомиться с жизне- и человеколюбивой литературой этого бразильского «континента». Я читал прекрасно переведенную на немецкий язык Куртом Майером-Класоном книгу Ж. Гимарайнса Розы — эпос бедного, изможденного и разоренного Северо-Востока; исторические «кирпичи» Эрико Верисиму о южном штате Риу-Гранди-ду-Сул; любовное изображение Жоржи Амаду мира бедняков в «романах о Баие», а также других авторов, например Османа Линса, Аутрана Дураду, Адониаса Фильо, Кларису Лиспектор. Я старался понять эту страну «душой», через литературу — способ, который стал для меня впоследствии потребностью и правилом: узнать сначала немножко страну, в которую мне предстоит ехать, через литературу.

Я был одержим желанием понять, что меня здесь окружает. Но еще больше желал быть понятым через выставленные на стендах книги. Я жаждал странным образом диалога. Мне не хотелось поставлять лишь информацию «своей» бразильской публике. Я хотел также знать, кто были эти люди, как они жили, что думали, как любили и страдали. Я хотел знать, нужна ли им эта информация и что они собираются с нею делать.

Именно здесь родился такой важный для меня принцип диалога — стремление к взаимопониманию, к радости общения. Позднее эта тема получила развитие и оформилась в стабильную программу со своими правилами. Здесь, в Бразилии, мне впервые стало ясно, что нельзя навязывать свою информацию кому попало, не зная, как устроен этот человек, как он использует эту

информацию для себя и что вообще ему нужно: «целевой анализ групп» — так это вроде называется на профессиональном языке.

Но помимо этого, учитываемого мною аспекта, был еще и другой, можно сказать, личный, вроде как заповедь порядочного человека: проявляй интерес к другим, если хочешь, чтобы они откликнулись на твои проблемы. Однако то, что я воспринимал в Бразилии как проявление личных амбиций, неожиданно обернулось для меня другой стороной медали, помогло мне «найти подход» к местным оформителям, став апробированным средством для успешного проталкивания не всегда понятного здесь, поступающего из далекой Германии информационного материала. Я убежден, что без впервые состоявшегося в Рио заинтересованного диалога обеих сторон наш ошеломляющий успех в политически нестабильной Бразилии 1971 года был бы просто невозможен.



В Пульмамарке в Аргентине — после выставки в Бразилии

Через два дня после успешно проведенного целевого семинара, практически не ощутившего на себе — вынужден это признать — давления со стороны фирмы-устроителя, что безусловно импонировало бразильским издательским кругам, привыкшим к стихийному выражению мыслей, я сидел с Гюнтером В. Лоренцом в рейсовом автобусе и ехал из Рио в

удаленный на тысячу километров Салвадор-ду-Баия-де-Тодос-ос-Сантос, где мне предстояло подготовить четвертый этап выставки, чтобы затем, вскоре после открытия, передать ее бразильским представителям, полностью бравшим на себя дальнейшее обслуживание выставки в городах Бразилия, Белу-Оризонти, Куритиба и «немецком» Блуменау.

Но здесь, в Салвадоре, древней столице португальской колонии, этом необычном городе с его преимущественно чернокожим населением, нам не удалось пробиться ни к одной из пестрых прослоек общества. Перед нами встала настоящая дилемма: праздник за праздником, на что мы никак не рассчитывали, и такие тропические ливни, каких я никогда в своей жизни не видел. Ставшие наполовину аборигенами немцы, неправильно выбранное время, наша некомпетентность и отсутствие таких важных местных авторитетов, как, например, Жоржи Амаду, литературного праотца штата Баия, немецкого художника Хансена-Баия, увековечившего в своих гравюрах жизнь тамошних простых людей, или немецкого писателя Хуберта Фихте, который возвел в своем объемистом труде «Ксанго» памятник синкретическим религиям этого региона, — все это привело в конечном итоге к скромным результатам: выставку посетило всего 2840 человек.

На третий день после открытия выставки в Салвадоре-ду-Баия я, совершенно измученный, отправился в оставшиеся бразильские города, чтобы и там заложить фундамент этого особого средства коммуникации, такого деликатного и непредсказуемого, как, впрочем, и все, что связано с миром книг, многоголосье которых можно заставить зазвучать, только если удастся найти подходящую аудиторию.

Правда, для этого требуется еще мощный локомотив, готовый протащить этот «груз» по чужой территории. Тихо, выпустив за столько неспокойных недель все пары, я перебрался через южную границу этой выпившей меня без остатка страны, чтобы отдохнуть несколько дней от бразильских перипетий в Аргентине.

Глава 12
Смерть коммуниста

Он появился у нас неожиданно, без предварительной договоренности. Пришел в приемную Биржевого объединения на Гроссер-Хиршграбен и спросил у секретарши, нельзя ли ему попасть к «ответственному за зарубежные книжные выставки». Вскоре он постучался ко мне и представился как Андраш Тёмпе из Будапешта, президент Объединения венгерских книжных издательств и фирм-распространителей.

На вид под шестьдесят, короткий бобрик седых волос, на верхней губе изящные усики. Прямая осанка выдает волевую напористость и энергичность. Когда же он заговорил со светской улыбкой на устах, придерживаясь типичной для иностранцев манеры делать ударение обязательно на первом слоге, я подумал, что передо мной стоит кто-то из габсбургских аристократов времен Петёфи. Он не стал долго задерживаться на преамбуле и сразу перешел к цели своего внезапного визита:

— Я хотел бы, чтобы Объединение венгерских книжных издательств и фирм-распространителей и Биржевое объединение германской книжной торговли обменялись выставками!

Он сел на край моего стола и с ходу начал в деталях излагать свою идею.

Да-а, поистине неожиданное предложение! Венгрия была единственной страной Восточного блока, всегда противившейся нашим желаниям культурного обмена в книжном секторе, если не принимать, конечно, в расчет общего неучастия всех стран социалистического лагеря во Франкфуртской книжной ярмарке. Еще с 1960 года Зигфред Тауберт и мой предшественник в отделе зарубежных выставок, а также министерство иностранных дел ФРГ предпринимали усилия в этом направлении, но ни разу не добились успеха.

Поэтому я с радостью принял протянутую руку, и не прошло и часа, как мы уже сидели, целиком углубившись в детальный разговор о желанном проекте. Я был убежден, что при соблюдении некоторых условий согласие руководства, Наблюдательного совета и прежде всего финансирующего выставки министерства иностранных дел будет чисто формальным актом.

Уже во время самого первого разговора я испытал растущую симпатию к этому четко мыслящему и деликатному человеку, в котором не было ни капли спеси, свойственной иногда

«президентам» разных объединений, терпеливо отвечавшему, без тени поучения, на все вопросы еще неопытного молодого человека, задававшего их бесконечно. Мы договорились прямо на месте, до того, как я «отпустил» его к Зигфреду Тауберту, об обмене книжными выставками в городах Франкфурт, Мюнхен и Штутгарт весной следующего года, а в городах Будапешт, Сегед и Дебрецен осенью того же года.

Мои вопросы и его терпеливые серьезные ответы не ограничивались только чисто «профессиональной» сферой. Даже при первой встрече и особенно позднее, во время моей предварительной поездки в Венгрию, разговор носил принципиальный, политический характер. Мои отчасти полемические расспросы (таким большим было возникшее между нами доверие) показали, что я имею дело с убежденным коммунистом, действительно происходившим из аристократической семьи, который с семнадцати лет стал участником коммунистического движения, сражался и страдал за свои социалистические убеждения, находился на нелегальной работе, участвовал в гражданской войне в Испании, был партизаном, сидел в тюрьмах и концентрационном лагере, будучи членом подвергавшихся гонениям организаций и союзов. В возрасте 32 лет он дослужился затем до генерала.

Он умолчал только об одном, о чем я узнал несколько позже: среди всего прочего он был еще послом своей страны в Восточном Берлине и как раз это и привело к тому, что он стал президентом Объединения венгерских издательств, что, в свою очередь, было при такой биографии с точки зрения карьеры значительным понижением. Но по Андрашу Тёмпе никакой депрессии заметно не было. Напротив, его юношеский энтузиазм по поводу открытого духовного диалога «между нашими народами и системами» заражал оптимизмом не одного меня, а всех, кто принимал участие в том, чтобы обмен выставками состоялся.

Я очень хорошо помню свой последующий приезд в Будапешт и наши личные беседы с Андрашом Тёмпе во время долгой прогулки по острову Маргит. Я восхищался этим человеком, можно сказать, обожал его. Я все еще жаждал услышать не идеологизированный ответ на политические вопросы нашего времени. В его лице я обрел убежденного современника и свидетеля нашей эпохи, которого мог открыто и безнаказанно спрашивать обо всем. Он не уставал отвечать так же открыто, иногда даже с резкой критикой в адрес реально существующей социалистической системы, так что я с ужасом озирался, боясь, не следят ли за нами и не подслушивают ли.

Сегодня это даже трудно себе представить. Но тогда мы

находились со своим проектом в стане врага. Каждому из нас следовало не доверять своему «партнеру». То, что входило в наши намерения — дважды столкнуть лбами общественность с таким содержанием текстов и такой правдой, которые не вписывались в картину пропаганды в собственной стране, — следовало делать очень тонко, тем более что эта акция требовала поддержки со стороны в основном анонимных представителей власти, сидевших где-то на невидимом троне за спиной наших приветливых участников переговоров. Мы ни в коем случае не должны были выдать себя или дать повод к недоверию, потому что всемогущие ответственные лица в социалистических странах с государственной экономикой никогда не составляли однородную группу. И здесь царила борьба, властная борьба за правильную линию или личную карьеру. Кое-кто из этих кругов, стоявший, как и Андраш Тёмпе, за открытость диалога, за то, чтобы Запад представил сам себя своими непредвзятыми по содержанию книгами, обязательно «подставлялся», оголял свои фланги и делался уязвимым. Я чувствовал опасность, которая подстерегала так высоко ценимого мною друга, годившегося мне в отцы. И невольно пытался оградить его от этого.

Об одном я хочу поведать уже сейчас, сделав однозначный вывод: мои сомнения в ценности и смысле нашей работы по проведению книжных выставок начали быстро улетучиваться, стоило мне увидеть эти страхи, возникавшие здесь, да потом и в других тоталитарных режимах, при одной мысли о наших книгах, — я бы сказал, они даже трансформировались в сознательную просветительскую деятельность подрывного характера. Ведь на наших выставках люди могли себе позволить «вольные» высказывания в адрес того, кто не понимал по-немецки. Иллюстрации, слово и разнообразие предлагаемых нами тем становились наглядной информацией, которой каждый, кто хотел, мог беспрепятственно воспользоваться. К этому еще добавлялось чисто физическое удовольствие — возможность взять хорошо изданную книгу в руки и «осязать» ее. Те, кто боялся это испытать, были не самыми глупыми людьми в этой стране. А те, кто открыто поддерживал просветительскую акцию, знали, на что они идут. Я понял, какое важное и — если правильно его применить — мощное оружие находится в наших руках.

Мне редко доводилось слышать, чтобы выступление немецкого симфонического оркестра, затраты на гастроли которого вполне сравнимы с затратами на организацию книжной выставки, встречали бы когда-либо аналогичное сопротивление, ставшее для нас при проведении выставок практически нормой.

Во время предварительного визита в Будапешт я посетил

также западногерманское торговое представительство (дипломатических отношений между Венгерской Народной Республикой и Федеративной Республикой Германии тогда еще не было). По совету торгпреда я дал интервью венгерской журналистке Марии Кереньи в связи с предстоящим обменом книжными выставками: ничего экстравагантного и, главное, никакой политики, только одни фактические данные.

Госпожу Кереньи, давно уже занимавшуюся контактами с Западной Германией, обвинили потом в шпионаже, причем и торгпредство, и наша книжная выставка сыграли в этом некую зловещую роль.

Отто Тёрёк, боязливый, но тем не менее симпатичный сотрудник Будапештского института по культурному обмену, тоже заразился восторженным энтузиазмом Андраша Тёмпе: по-видимому, это была первая командировка Тёрёка в «капиталистическую» страну. Я видел, как этот нерешительный человек с детской радостью и восторгом впитывал в себя все чужое и новое, о чем думал прежде совершенно иначе, когда по поручению Тёмпе в связи с предстоящей летом 1970 года поездкой выяснял у меня организационную сторону проведения выставок в намеченных западногерманских городах и сразу после этого в венгерских.

Отто Тёрек, милейший Отто Тёрек, был арестован после закрытия выставки и потерял свою должность. И хотя через несколько недель его реабилитировали и восстановили на работе, он никогда уже не смог психологически оправиться от случившегося. Многие годы спустя, когда отношения между нашими странами значительно смягчились после Берлинского и Московского договоров, Отто перешел на другую сторону улицы, случайно увидев меня на одной из восточноевропейских выставок. Все, что случилось тогда как следствие нашей будапештской выставки, глубоко запало ему в душу. И если «один из тех», вроде меня, неожиданно встречался ему на пути, он белел от страха, как покойник, и бежал от нас сломя голову прочь, словно черта увидел.

Что же, собственно, тогда такого произошло? Во что вылился наш проект, выношенный с такой любовью и романтически-идеалистическим устремлением к просветительству?

Сначала все шло согласно замыслу. В соответствии с договором, заключенным между нашими организациями, в середине марта 1971 года во Франкфурт прибыла венгерская делегация, чтобы открыть размещенную нами в залах на Рёмерплац венгерскую книжную выставку. В состав делегации входили Андраш Тёмпе, Дьёрдь Михай Вайда (профессор

германистики), Иштван Ваш (поэт и лауреат государственной премии им. Кошута), Миклош Оноди (директор пресс-службы объединения издателей) и Йожеф Сабо (директор внешнеторговой книжной организации «Культура»).

Нам удалось придать этой выставке во Франкфурте приличествующий ей вес в обществе, что в наших широтах в то время вовсе не было само собой разумеющимся делом, когда речь шла о «коммунистическом» мероприятии. Обер-бургомистр города Франкфурта Вальтер Мёллер, Ульрих Порак из издательства «Брокхауз», Висбаден, представитель немецких книгоиздателей Зигфред Тауберт и статс-секретарь гессенского министерства культуры Герхард Моос приветствовали гостей на открытии выставки.

«Венгрия в зеркале своих книг» — так мы назвали выставку, репрезентативно отражавшую достижения венгерской книжной продукции, хотя и не дававшую возможности сделать далеко идущие выводы о современной жизни, образе мыслей и условиях творчества в Венгрии. Это была по-государственному организованная выставка, и ничего более. Ни частных публикаций, ни собственной точки зрения, ни приватных убеждений отдельного автора там не было, если не считать нескольких изданий находившихся на обочине общественной жизни религиозных издательств.

Я со своими сотрудниками сделал все возможное, чтобы выставка, которая, кроме самого факта, что она состоялась, ничем не могла привлечь западную публику, все-таки имела у нее успех, и так оно и случилось — ее посетили 8000 человек во Франкфурте, а затем в Мюнхене и, наконец, Штутгарте. Мы добросовестно выполнили все пункты нашего обоюдного договора, отчетливо сознавая, что вторая, значительно более трудная часть проекта — наша немецкая книжная выставка в Венгрии, — скрывает в себе много всего такого, что нельзя заранее взвесить и выверить. И на всякий случай хотели приступить к этому второму этапу, хорошо подготовившись к нему.

Но как это часто бывает, нечто пустяковое и совсем с другой стороны, чему мы — доведись это решать нам — практически не придали бы никакого значения при разработке проекта, приобрело вдруг, как бы невзначай, нарастая при этом с невероятной быстротой, влияние на «тех, кто решает вопрос», а когда мы, Зигфред Тауберт и я, увидели надвигающуюся катастрофу и ее возможные последствия, было уже поздно. Политический снежный ком, грозивший превратиться в лавину, было уже не удержать. Объединенными усилиями — Андраш

Тёмпе в Будапеште и мы во Франкфурте, — а также благодаря полушутливому лавированию все тех же несчастных высокопоставленных лиц, «решавших вопрос», удалось, по крайней мере для начала, избежать громкого скандала в Будапеште и не сорвать проведения выставки. Сущий пустяк стал драматической основой политического фарса, по окончании которого обвиненный со всех сторон человек не увидел для себя никакого другого выхода, кроме трагического.

Пустяк заключался в следующем:

Председатель комитета по внешней торговле в Биржевом объединении д-р Пауль Хёфель (издательство «Шпрингер», Берлин) пожаловался в письме на имя президиума правления Биржевого объединения, что он не получил личного приглашения на открытие Венгерской книжной выставки во Франкфурте. Наблюдательный совет Франкфуртской книжной ярмарки разбирался с этой жалобой на своем заседании 4 мая 1971 года, где господин Тауберт решительно утверждал, что приглашение было послано по почте и, если господин д-р Хёфель не получил его, значит, оно где-то затерялось и не дошло до него. В ответ на это д-р Хёфель, когда председатель Наблюдательного совета издатель д-р Юрген Макензен сообщил ему об этом по телефону, буквально вскипел: за двадцать лет он не припомнит такого случая, чтобы адресованная ему корреспонденция была утеряна при пересылке по почте. Это, должно быть, какой-то из ряда вон выходящий случай, раз не дошло именно его приглашение.

Что сделал разнервничавшийся господин Макензен? Он пожелал, чтобы доверенная ему контора исправилась, и пригласил в качестве «компенсации» уязвленного в самое сердце председателя комитета открыть Немецкую книжную выставку в Будапеште 11 октября того же 1971 года в качестве главы немецкой делегации.

Так политические профаны породили факт, ставший политическим прецедентом, дальнейшему развитию которого поспособствовали еще и другие «повивальные бабки» истории. Венгерская сторона, прежде всего «закулисные» воротилы, которым вообще не нравилась затея с выставкой, тут же констатировали, что господин д-р Хёфель, заявленный из Франкфурта как официальная глава германской делегации, не является гражданином Федеративной Республики Германии, а проживает, как известно, в *Западном Берлине* и возглавляет к тому же западноберлинское издательство.

В то время — переговоры по Московским договорам еще не были закончены и сами документы не подписаны — ГДР уж во всяком случае придерживалась доктрины о трех немецких

государствах, причем Западный Берлин всегда выделялся в «самостоятельную политическую единицу». Западный берлинец, официально возглавляющий «западногерманскую» делегацию, — такое можно было рассматривать только как политический выпад против «братской» ГДР, тем более что одновременно — этого, конечно, никто из нас не знал — предполагался в связи с нашей выставкой визит в Будапешт министра иностранных дел ГДР господина Винцера.

Андраш Тёмпе все сильнее попадал в Будапеште под давление властей. Очевидно, Восточный Берлин, где ему, конечно, не доверяли, обратил на него особо пристальное внимание. 27 сентября, за две недели до открытия выставки, Андраш Тёмпе телеграфировал:

«Если господин д-р Пауль Хёфель постоянно работает в Западном Берлине или если Западный Берлин является местом его постоянного проживания, тогда мы, конечно, не можем принять его в качестве главы делегации. Просим как можно скорее сообщить о принятых изменениях».

Во Франкфурте, Бонне и Берлине начался лихорадочный обмен мнениями. Зигфред Тауберт и я кинулись к председателю правления Вернеру Э. Штихноте, который — сам сотрудник головной берлинской фирмы — проявил сначала большое неудовольствие в связи со сложившейся ситуацией и больше склонялся к тому, чтобы отказаться от проведения выставки. Министерство иностранных дел в лице министериальдиректора Штельцера, начальника отдела культуры, придерживалось мнения, что уступать не следует хотя бы уже из принципиально важных соображений. К тому же просматривалась опасность, что все книги, в выходных данных которых местом издания указан Берлин, могут оказаться не допущенными к выставке. Господин д-р Хёфель сделал официальное заявление, что отнюдь не настаивал на такой своей роли, а что его «настоятельно» попросил об этом Наблюдательный совет. Однако он привык, что дело всегда превыше всего. И в случае если Биржевое объединение сочтет, что целесообразнее было бы возложить эту миссию на кого-нибудь из западногерманских издателей, он согласен уйти в тень. Но произойти все должно, само собой разумеется, официально и по форме, чтобы это никоим образом не дезавуировало его лично.

Наконец удалось уговорить председателя правления Биржевого объединения Вернера Э. Штихноте пойти на следующий компромисс, на который в конце концов согласились и все остальные участники переговоров. В телеграмме от 1 октября 1970 года на имя господина Тёмпе стояло:

«В связи с возникшими трудностями, вызванными предложенным составом делегации, Биржевое объединение германской книжной торговли вынуждено с сожалением отказаться от представительства на открытии Немецкой книжной выставки. Тем самым торжественная церемония открытия и приветственные речи отпадают сами собой. *Зигфред Тауберт».*

Моему сотруднику Инго-Эрику Шмидту-Браулю, который должен был обслуживать выставку в Венгрии, была направлена через немецкое торговое представительство следующая инструкция:

«Господин Шмидт-Брауль является техническим организатором и руководителем нашей выставки. Он не облачен представительскими полномочиями Биржевого объединения, равно как и *Франкфуртской книжной ярмарки. Как ответственному лицу ему вменяется в обязанность проследить за тем, чтобы ни один экспонат не был изъят из экспозиции. В первую очередь это относится к книгам с выходными данными западноберлинских издательств. С дружеским приветом…»*

Таким образом, мы сумели организовать бойкот открытию собственной выставки. Но в целом это решение в столь запутанной ситуации было правильным, кроме того, компромисс с нашей стороны заставил венгров также пойти на уступки, о чем мне сообщил из Будапешта попавший в трудное положение Инго:

«Начало здесь, в Будапеште, было удручающим, и мы все думали, что самое позднее через две недели снова вернемся домой. Наши контейнеры с уже прибывшими экспонатами были досмотрены с невероятной тщательностью. Например, венгры сосчитали все отвертки, взвесили все винты для сборки стендов, частично распаковали ящики со стендами и т. д. А таможня проинспектировала все наличные книги. Потом пришла комиссия из специалистов, те изучали книги с лупой в руках, за ними заявилась еще одна комиссия из чиновников Института по культурному обмену, а уж после них меня удостоили чести еще представители министерства иностранных дел, министерства внутренних дел и госбезопасности. Когда пришли последние, экспозиция, конечно, уже была собрана, и я, собственно, все ждал, что сейчас вот-вот все и лопнет».

Выставку открыли чисто формальным коротким актом. Андраш Тёмпе снова бросился на амбразуру и произнес небольшую деловую речь. Ведь приглашения на открытие были разосланы еще до начала конфликта по поводу участников церемонии. На этом открытии присутствовало свыше 300 гостей, среди них были высокие политические деятели, журналисты, университетская публика, художники, творческие личности,

просто интересующиеся книгами люди. С немецкой стороны среди гостей находились обреченные на молчание представители немецкого торгпредства, сотрудники нашего отдела зарубежных выставок, госпожа д-р Цирфогель-Тамм от «INTER NATIONES» (Бонн) и писатель Мартин Вальзер, который по нашему приглашению должен был в ближайшие дни читать в рамках выставки из своих произведений.

Придирки к выставке продолжались и в последующие недели, особенно когда выяснилось, что она стала, во всяком случае в Будапеште, настоящим магнитом притяжения для публики, хотя было сделано все, чтобы помешать работе с общественностью. В Будапеште мы насчитали за две недели 9000 чрезвычайно заинтересованных посетителей. Инго предположил, что их было не меньше 11 000 — счетную машину время от времени крутили в обратную сторону.

Само по себе нигде ничего не происходило, и в Сегеде и Дебрецене тоже. Андрашу Тёмпе все время приходилось вмешиваться и помогать. При этом можно было себе представить, что враги Тёмпе из числа венгерской номенклатуры не дремали. В одном из последних разговоров с Зигфредом Таубертом, приезжавшим в Венгрию на открытие выставки в Сегеде, Тёмпе выглядел подавленным.

Настойчивость немецкой стороны на присутствии в качестве официального представителя издателя из Западного Берлина вызвала в политических кругах Венгрии сильное недовольство, тем более что в данный момент Венгрия находилась в весьма щекотливой ситуации. Тёмпе дал понять, что нам бы следовало знать об этом. Берлинское соглашение могло привести к другой позиции в этом особом для Венгрии положении только после вступления его в силу.

На открытие выставки в Сегеде, куда из ФРГ прибыли с докладом профессор Карл-Отто Конради (университет Кёльн) и с чтениями франкфуртский писатель Эрнст Херхауз, Андраш Тёмпе отправил своего заместителя Яноша Шольта.

15 декабря 1971 года, незадолго до закрытия выставки в Дебрецене, сидя за письменным столом в своем рабочем кабинете на площади Вёрёшмарти в Будапеште, Андраш Тёмпе застрелился.

«Самоубийство Андраша Тёмпе, президента объединения венгерских издательств и фирм-распространителей, следует рассматривать на фоне общей политической и личной для господина Тёмпе ситуации. Существенным моментом при этом являются последствия событий 1968 года. Ни в коем случае не следует ставить случившееся в связь с только что проведенной у

нас выставкой, даже если она и была очень личным для него делом».

Так было сказано в заключительном сообщении об этой выставке немецкой книги в Будапеште, Сегеде и Дебрецене, которая привлекла к себе в общей сложности 17 600 посетителей.

Нижеприведенное письмо, которое Андраш Тёмпе, тогда еще посол Венгрии в Восточном Берлине, написал в Центральный Комитет своей партии через три дня после ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию, раздобыл для меня один мой венгерский друг. Письмо, с небольшими сокращениями, публикуется здесь впервые. С его помощью я хотел бы воздвигнуть своего рода памятник мужественному и честному Андрашу Тёмпе, чью отеческую дружбу я испытал за короткий исторический отрезок и вспоминаю с великой благодарностью. Кроме того, этот документ многое прояснил мне, чего я не сумел понять в бурные шестидесятые ГОДЫ:

Берлин, 24 августа, 1968 г.
В Центральный Комитет
Венгерской Социалистической Рабочей партии
Будапешт
Дорогие товарищи!

Социализм, очевидно, состоит не только из завоевания государственной власти коммунистической партией и национализации средств производства. О социализме мы можем говорить, когда широкие круги трудящихся масс имеют при этом реальное право голоса в делах партии, государства и экономики. Строительство социализма возможно только при наличии мощной современной индустрии и соответственно сильного и грамотного рабочего класса, а также при поддержке интеллигенции.

Без постоянного развития демократии нельзя добиться мобилизации сил общества, необходимой для экономического развития и выполнения поставленной задачи догнать и перегнать развитые капиталистические страны. Без демократии общество становится индифферентным, в результате чего темп экономического развития замедляется, не позволяя осуществить желаемый прогресс.

Неукоснительным условием развития социализма является широкая информация и гарантия возможности получать эту информацию. Отгораживание от масс может на какое-то время послужить защитой для

политической власти, но такая политика ведет к безразличию масс и ослабляет в конечном итоге сопротивляемость общества влиянию империализма. Таким образом, активность масс есть не только предпосылка экономического развития социализма, но и активного противостояния империализму, и достигнуть этого можно только при постоянном расширении демократии.

Центральный Комитет Коммунистической партии Чехословакии понял это и сбросил с себя оковы догматического руководства. Бесспорная заслуга Центрального Комитета КПЧ в там, что он сам принял этот курс и начал последовательно проводить его. Конечно, к делу подключились контрреволюционные элементы и империалистические агенты, нашедшие для себя почву в стране — не в последнюю очередь в реакции общества на преступную политику партии в предыдущие годы. Несмотря на это, опасность контрреволюции в Чехословакии невелика, хотя деятельность реакционных элементов, пользующихся поддержкой со стороны Запада, объективно подогревается еще враждебным отношением части руководителей социалистических государств. И самая радикальная роль в этом процессе с самого начала отводится руководству ГДР.

Существование ГДР имеет большое значение для Европы и для сохранения мира во всем мире. Разгром фашистской Германии и образование ГДР, естественно, не означают, что среди немецкого населения не осталось реакционных элементов. В связи с этим понятно, что руководители ГДР, особенно с учетом воздействия западногерманского империализма, не могут позволить развиваться демократии неограниченно. Тем не менее даже ГДР может обеспечить себе укрепление социализма только при условии дальнейшей демократизации общества. (И это вовсе не значит, что при этом нельзя опираться на поддержку западногерманского рабочего класса и прогрессивных сил Запада, если, конечно, мы не будем сближаться с ними методами групповщины.)

Осуждая позицию ГДР, следует принимать во внимание, что пятая часть населения страны перебралась на Запад и, следовательно, самая беспокойная его часть находится теперь по ту сторону границы. Основой экономического развития ГДР является помимо традиционной дисциплинированности, трудолюбия и

цивилизованности немцев договоренность с Советским Союзом об особом бартерном расчете, при котором гарантируется обмен сырья на конечную продукцию в устраивающей экономику ГДР форме. Современная хозяйственная политика ГДР может еще какое-то время оставаться эффективной при такой поддержке Советского Союза. Однако она не способна обеспечить тот темп развития, который позволил бы ей догнать Западную Германию. Партийные деятели ГДР хотят выровнять положение с помощью пропаганды и ужесточения дисциплины, одновременно все больше закручивая гайки и все сильнее искажая информацию. Пропасть между массами и партийными руководителями становится все больше.

Из всего вышесказанного становится ясно, почему реакция руководителей ГДР на чехословацкие события была такой крайне враждебной, начиная с январского пленума. Сообщение, что последнее воззвание, согласно которому решения январского пленума КПЧ встречены с одобрением, подписано также и руководителями ГДР, неверно. Правда в том, что они тут же расценили эти решения как ревизионистские и уже с февраля утверждали, что в Чехословакии началась контрреволюция, которую надо задавить путем военного вмешательства.

Ни у кого нет права вмешиваться извне во внутренние дела ГДР, как и в дела любой другой страны. Однако руководство ГДР сумело навязать другим свою точку зрения, и тем самым сотрудничеству социалистических стран и международному рабочему движению нанесен непоправимый ущерб.

Чехословакия первой среди социалистических стран встала на путь осуществления той формы демократии, которая сделала бы социалистическую систему привлекательной и для трудящихся развитых капиталистических стран. Коммунистическая партия Чехословакии не только не ослабила позиции социализма, а, напротив, укрепила их в невиданных до сих пор масштабах. С контрреволюционными силами, опираясь на ее возросший авторитет, она сумела бы справиться. После оккупации Чехословакия стала довольно слабым звеном Варшавского договора, и даже присутствие армий стран-участниц не сможет это изменить.

Целью ввода войск было воспрепятствовать созыву съезда КПЧ, созданию нового ЦК, проведению парламентских выборов. Но все это служило не делу социализма, а, наоборот, означало моральную поддержку контрреволюционным силам, негативные последствия влияния которых потенциально будут ощущаться еще очень долгое время.

Я предполагаю, что и в Центральном Комитете ВСРП есть люди, которые утверждают, что ничего другого сделать было нельзя и то, что произошло, является все же наименьшим злом. Эти аргументы не вполне соответствуют действительности. Мы, вероятно, подвергли бы себя большим испытаниям, если бы ВСРП и ВНР не приняли участия в акции, направленной против ЧССР. Самым большим злом является тем не менее само участие в этой акции, которое в перспективе приведет к значительным и существенным осложнениям. Венгрии представилась историческая возможность навсегда покончить с неудачным прошлым в венгеро-чехословацких отношениях, а благодаря тому, что Венгрия разделила бы с Чехословакией ее трудности, заложить еще и прочный фундамент для строительства единого социалистического будущего.

Нельзя оправдываться тем, что мы приняли участие в совместном марше из верности Советскому Союзу. Верность Советскому Союзу не означает, что мы должны следовать решениям, которые наносят вред социалистическим странам — в данном случае прежде всего самому Советскому Союзу — и всему международному рабочему движению.

Поэтому я не согласен с последними решениями руководства Венгерской Социалистической Рабочей партии и венгерского правительства в отношении Чехословакии и не могу представлять их в другой стране.

С социалистическим приветом

Андраш Тёмпе

Глава 13
Восточная Европа остается нашим объектом

Восточной Европой нам предстояло заниматься и дальше, но особенно проблемой Берлина. Первая и последняя большая немецкая книжная выставка в Советском Союзе состоялась в Москве в 1960 году. С тех пор связи с соответствующими организациями-партнерами в СССР были прерваны. Советских деятелей это нисколько не смущало — через свое внешнеторговое объединение «Международная книга» они почти ежегодно устраивали книжные выставки в ФРГ, причем их партнером всегда была какая-нибудь одна западногерманская фирма, чаще всего принадлежавшее Германской Коммунистической партии (ГКП) кёльнское издательство «Брюккен-ферлаг». Зигфред Тауберт регулярно выражал протест торговому представительству Советского Союза в Кёльне по поводу «неравенства положения» и требовал разрешения провести выставку в Советском Союзе. Несколько примитивные отписки вместо ответов выглядели следующим образом:

«Как вам, вероятно, известно, наши выставки проводятся здешними фирмами-контрагентами внешнеторгового объединения „Международная книга“ в целях рекламы на коммерческой основе, так как эти фирмы, как и всякие другие в Федеративной Республике Германии, заинтересованы в увеличении денежного оборота и получении прибылей.

Таким образом, проводимые здесь выставки являются мероприятиями совсем иного рода, чем выставки в рамках межгосударственных программ культурного обмена».

Так мы узнали, что существует два вида книжных выставок, во всяком случае, для представителей советской власти, даже если и те, и другие преследуют одну и ту же цель и стремятся к одним и тем же результатам, а именно — подвигнуть читателя купить книгу. После этого я стал искать и нашел наконец партнера в некоем «Обществе развития отношений между Федеративной Республикой Германией и Советским Союзом», имевшем аналогичную структуру в Москве. «Общество» это признавалось и поддерживалось нашим министерством иностранных дел. Я думал, что смогу с его помощью организовать приемлемую для Советского Союза межгосударственную программу обмена выставками.

Но так как нам по причине тесных связей московских товарищей с восточноберлинскими друзьями практически было отказано в любой попытке самовыражения и идентификации, я попросил министерство иностранных дел, которое в свое время было очень заинтересовано в проведении Немецкой книжной выставки в Москве, о посредничестве и поддержке нашей идеи при переговорах с этим «Обществом».

Переговоры велись через д-ра Калебова из министерства иностранных дел, имевшего контакты с президентом «Общества» в Москве профессором д-ром Борисом Раевским. Однако единственной реакцией на все наши усилия до сих пор было лишь то, что «Общество» пригласило президента правления Вернера Э. Штихноте на прием по поводу проведения Дней немецко-советской встречи в Дармштадте. Это было в ноябре 1969 года, и после этого вновь наступила затяжная полоса «мертвого эфира».

Было ясно, что это «Общество», хотя и руководствовалось, согласно уставу, «добрыми намерениями способствовать установлению хороших отношений путем обоюдного обмена информацией и непосредственных контактов при заключении договоров, проведении форумов и выставок», оставалось тем не менее абсолютно глухим и не предпринимало ничего конкретного, если это не устраивало советскую сторону.

С одной стороны, немецкое «Общество» не могло уклониться от пожеланий министерства иностранных дел ФРГ, в чьей поддержке оно нуждалось, с другой стороны, не хотело «напрягать» советских партнеров.

Я настаивал на том, чтобы поехать в Москву и детально обговорить там все организационные моменты, но время шло, а мы так и не пришли ни к каким конкретным решениям. «Общество развития отношений» вело игру на затягивание, и притом следующим образом:

24 июня 1970 председатель правления «Общества» Вальтер Диль написал начальнику отдела культуры в министерстве иностранных дел министериальдиректору Штельцеру, что меня ожидают в Москве для переговоров по поводу проведения выставки. Однако прежде чем я туда поеду, почетный д-р и Генеральный секретарь «Общества» пастор Герберт Мохальски хотел бы получить от меня список книг, предполагаемых для показа в Москве.

30 сентября 1970 года господин Диль попросил меня отложить пока поездку, так как те важные персоны, без которых я в Москве все равно ничего не добьюсь, приезжают в ФРГ. Но одна из этих важных персон — президент «Общества дружбы» господин Леонов — так вообще и не приехал, а другие, с которыми я

разговаривал в Бонне, понятия не имели о выставке.

Когда же я предпринял после этого эпизода новую попытку, то услышал, что в ноябре в Москву поедет д-р Мохальски и проведет там все переговоры вместо меня. В действительности же вместо д-ра Мохальски поехал г-н Диль. И когда он вернулся, то, сделав задумчивое лицо, сказал, что люди в Москве весьма обеспокоены, поэтому моя поездка в данный момент не достигнет цели и лучше ее снова отложить. Единственный человек, пользующийся доверием русских, это д-р Мохальски. Вот он и поедет в конце февраля на три дня в Москву.

Д-р Мохальски продолжал тем временем настаивать на получении от меня списка предполагаемых для экспозиции книг до своей поездки в Москву. При этом он говорил только о 800 наименованиях, тогда как мы намеревались показать на выставке не меньше 3000 книг. С одной стороны, сказал он, получено принципиальное согласие русских на проведение книжной выставки, с другой стороны, они хотят сначала увидеть список книг, прежде чем согласятся разговаривать конкретно.

Тогда я стал настаивать на совместной встрече всех участвующих в этом проекте лиц в министерстве иностранных дел, которая и состоялась 14 января 1971 года. Под большим нажимом представителей министерства иностранных дел и немецкого посольства в Москве, а также и с нашей стороны — Рональда Вебера и меня — господин Диль вынужден был в конце концов согласиться со следующими решениями:

1. Петер Вайдхаас отправится в конце января в Москву, Ленинград, Киев и Тбилиси.

2. Д-р Мохальски свяжется по телефону с г-ном Леоновым из «Общества дружбы» — ответственным лицом в Москве за организацию выставки, — сообщит ему о прибытии Петера Вайдхааса и попросит также связать Петера Вайдхааса с соответствующими должностными лицами во всех четырех городах, где предполагается показать выставку.

3. Петер Вайдхаас так продумывает маршрут своей командировки, чтобы в середине февраля оказаться вместе с д-ром Мохальски в Москве для совместного урегулирования всех спорных вопросов, выдвигаемых русской стороной.

Конечно, мы противились предварительной цензуре нашей экспозиции. Кроме того, не имело смысла заявлять о выставке «книжных новинок», не зная точно, когда она состоится.

Д-р Мохальски, само собой, в Москву не позвонил, и, разумеется, в январе я в Москву не поехал. Не помогло и то, что министерство иностранных дел пригласило советского атташе по культуре и объяснило ему сложность технической стороны

организации такой книжной выставки, сообщив о необходимости моей безотлагательной поездки в Москву.

Затем настал момент, когда я вынужден был отойти от работы над этим проектом в связи с отъездом на четыре месяца в Бразилию. Дело продолжил Рональд Вебер. В июне 1971 года ему все-таки удалось поехать наконец в Москву.

Начались трудности технического характера, и возникли проблемы идейного содержания экспозиции. Нам собирались предоставить маленькое темное помещение в Доме дружбы в Москве. С тематической стороны «русский народ» интересовали только технические книги, кроме того, нигде не должно было быть изображения голого тела, даже в книгах по искусству. Нельзя было также показывать красочные туристические объекты. Экспозиция не должна была выходить за рамки 1000 наименований, и перечень книг должен был быть представлен до того, как будет напечатан каталог.

Рональд вел переговоры жестко. В итоге ему удалось добиться разрешения на размещение выставки в Государственной библиотеке иностранной литературы на Ульяновской. Там выставку должны были показывать в течение месяца в марте/апреле 1972 года. Кроме того, ему назвали имена партнеров в Ленинграде и Тбилиси.

Мы приняли решение ограничиться книгами по искусству и архитектуре. «Голое тело» и «туристические объекты» решено было на выставке и в каталоге замаскировать, «прикрыв» все изображения мелкой растровой сеткой из точек, кружочков и штрихов.

И хотя был сделан большой шаг вперед, однако до желанной цели было еще далеко. Мы прорывались в Москву с проектом своей выставки в особо нервный период в политическом отношении. Московский и Варшавский договоры были только что утверждены. Но ни та, ни другая сторона не знала, какие это будет иметь последствия. Врагов и скептиков в отношении новой политики взаимопонимания было предостаточно с обеих сторон. И в первую очередь с советской стороны никто не хотел совершить ошибки, уж во всяком случае высовываться раньше времени. В таких общественных системах это всегда чревато последствиями и очень быстро может закончиться трагически, если вдруг кто-то возьмет и сделает то, на что четких руководящих указаний еще не было выработано. Но конец этой неопределенности уже замаячил на горизонте — четыре оккупационные державы решили собраться в сентябре 1971 года, чтобы заключить особое соглашение по Берлину.

Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину

С окончания Второй мировой войны Берлин все время был яблоком раздора и барометром настроений в отношениях между Востоком и Западом.

Бывшая столица рейха Берлин была разделена в 1945 году на четыре зоны оккупации, которые по первоначальной договоренности должны были управляться совместно четырьмя державами-победительницами — Великобританией, СССР, США и Францией.

19 июня 1948 года в западных секторах в результате денежной реформы была введена новая валюта — западногерманская марка. В ответ на это СССР вышел из Контрольного совета союзных оккупационных войск и перекрыл своими войсками все дороги к Берлину. Эта блокада Берлина длилась до 12 мая 1949 года. Западный Берлин снабжался всем необходимым по «воздушному мосту» союзных войск из Западной Германии.

В сентябре 1948 года органы немецкого самоуправления также разделились. Произошел окончательный раскол города на Западный и Восточный Берлин. Западный Берлин был связан с правовой, денежной и экономической системой ФРГ, хотя и ограничен в своих правах: он не стал землей ФРГ, жители Западного Берлина не имели права принимать участие в федеральных выборах, депутаты от Западного Берлина не обладали правом решающего голоса в бундестаге в Бонне.

В ноябре 1958 года разразился новый кризис из-за ультиматума СССР по Берлину. Москва требовала превращения Западного Берлина в демилитаризованный свободный город и аннулировала прежние соглашения по Берлину. Следующим пиком этого кризиса стало строительство Берлинской стены 13 августа 1961 года, что существенно ограничило поток беженцев из ГДР в Западный Берлин, а оттуда в Западную Германию.

Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину, подписанное 3 сентября 1971 года в бывшей резиденции Контрольного совета союзников в Шёнеберге (Западный Берлин) послами США, Великобритании, Франции в ФРГ и советским послом в ГДР, должно было закрепить юридический статус Берлина, и особенно Западного Берлина.

Это соглашение еще раз подтвердило, что Западный Берлин не является составной частью ФРГ и не может управляться из Бонна, но закрепило одновременно, что ФРГ берет на себя представительство Западного Берлина за границей. Кроме того, соглашение гарантировало сохранение и развитие Западного

Берлина в тесной «связке» с ФРГ.

В этом пункте была, однако, допущена ошибка в интерпретации текста договора — в английском, французском и русском переводах стояло «сохранение и развитие связей», что означало качественно принципиальное расхождение с немецкой формулировкой «в связке».

Москва

Я решил начать свое большое турне по Азии, которое должно было привести меня в Токио, Гонконг, Сеул, Манилу, Бангкок, Сингапур, Катманду и Нью-Дели (смотри следующую главу), с поездки в Москву, чтобы наконец получить однозначное согласие и определить твердые сроки проведения выставки, поскольку последние полгода после поездки Рональда, как и предшествующие тому двадцать месяцев, прошли в обнадеживании и утешении с колеблющимися то в одну, то в другую сторону решениями «Общества», чтобы нам дали наконец «зеленый свет», и мы могли приступить к подготовительным работам.

Вечером 9 февраля 1972 года я впервые стоял на трескучем морозе посреди Красной площади. Засунув руки глубоко в карманы мехового пальто, я крутился на одном месте вокруг самого себя. Рубиновые звезды кремлевских башен, словно засахаренные луковки собора Василия Блаженного, темный силуэт торгового дома «ГУМ», красно-кирпичное здание Исторического музея, кремлевская стена и темно-красный гранит мавзолея Ленина мелькали передо мной одно за другим. Мне казалось, что, стоя посреди площади и непрерывно вращаясь вокруг собственной оси, я ощущаю силовое поле мирового центра социализма. Я — в Москве!

Я сам этого хотел — проникнуть в центр силового ПОЛЯ. И был убежден, что справлюсь со своей задачей. Полный энергии, надежд и твердого намерения не дать себя кормить одними пустыми обещаниями, я двинулся обратно в путь — с Красной площади через подземный пешеходный туннель под проспектом Маркса в расположенный неподалеку отель «Националь». В этом отеле жил когда-то Ленин, когда перенес столицу назад в Москву. Это старинное здание в стиле бидермейер, с вытоптанными лестницами, гигантскими хрустальными люстрами и русской балалаечной музыкой во всех четырех залах ресторана на первом этаже. Я решил отпраздновать этот вечер и устроить себе типично русский ужин.

Войдя в вестибюль отеля, я очень испугался, когда от меня громко, на русском языке, потребовали, чтобы я сдал пальто в гардероб. Но я испугался еще больше, когда робко предъявил у входа в один из залов ресторана свою маленькую голубенькую гостевую карточку, где стояло одно слово, идентифицировавшее меня, как бы неприятно мне это ни было: капстрана.

«*Капиталист!*» — на весь ресторан закричал во все горло официант, и я вздрогнул, словно меня застукали при совершении какого-то неблаговидного поступка. Но, к моему великому изумлению, ко мне подошел молодой человек и провел мимо длиннющей очереди желающих попасть в ресторан русских к маленькому столику рядом с группой музыкантов, игравших на балалайках.

Я заказал рыбное ассорти из копченой осетрины, черной и красной икры с кружочками сваренных вкрутую яиц, бутылку водки и минеральную воду. Я был счастлив, что нахожусь наконец здесь, в Москве. Глоточек за глоточком наслаждался я божественной водкой, каждый раз при этом нюхая, как я читал, черный chleb. Я чувствовал себя как Марко Поло, который после долгих месяцев мытарств достиг своей цели. Я мычал, как бы подпевая старинным русским мелодиям, которые так задушевно исполняла капелла балалаечников. Все последующие годы, думал я, каждый свой первый вечер в Москве я буду проводить в этом отеле «Националь» за таким вот роскошным ужином.

Но уже на следующее утро моему романтично воспарившему чувству восторга был нанесен ощутимый удар. Внезапно я снова приземлился, спустившись с небес на землю, где правили бал «реально существующие» проблемы. В сопровождении молоденькой и хорошенькой переводчицы, державшейся, однако, с «разложившимся» и находящимся в полной зависимости от капитала представителем враждебного государства в высшей степени заносчиво и высокомерно, я отправился пешком в так называемый Дом дружбы, где размещались различные «Общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами». Здесь я надеялся выяснить последние детали, необходимые для проведения нашей выставки, чтобы, получив подпись ответственных за выставку лиц, вернуться во Франкфурт и наконец-то, имея твердую договоренность о сроках проведения выставки, начать собирать для отправки в Москву весь необходимый материал.

Моя бойкая «комсомолочка», пока мы с трудом шли по обледенелому тротуару в занесенной снегом Москве, неустанно поучала меня на тему непобедимости социализма, а потом велела ждать на ледяном ветру у ворот Дома дружбы, чтобы

проинформировать сначала господина Леонова о моем желании поговорить с ним. Очевидно д-р Мохальски вновь не позвонил своему московскому коллеге, потому что через двадцать минут ожидания на пронизывающем холоде вместо Леонова появился другой человек, который даже не представился и только сообщил мне, что господин Леонов сегодня занят и просит зайти к нему еще раз завтра. И мой продрогший визави так быстро исчез внутри, что я даже не успел задать ему ни одного вопроса.

На следующее утро, не дожидаясь своей наставницы, я сам вломился с утра в Дом дружбы, но дальше жарко натопленного вестибюля не пробился — меня задержала, широко расставив руки, толстая «мамушка», не давая пройти в святая святых. После непродолжительного, но очень громкого спора одновременно на немецком и русском, причем я все время пытался воздействовать на этого толстого, дурно пахнущего и свирепо жестикулирующего руками Цербера в женской юбке двумя русскими словами, громко и четко произнося «господин Леонов», что должно было объяснить цель моего визита, самозваная защитница «советской дружбы» наконец-таки кинулась по нужному следу, предварительно пригвоздив меня грозными жестами к тому месту, где я стоял.

Затем снова появился помощник Леонова, который в оскорбительной форме разговаривал со мной вчера, и сказал, что «господин Леонов» уехал, но что выставка в принципе одобрена в рамках проекта и что нужно только представить для просмотра эскизы плакатов и каталога, а также список предполагаемых для показа книг. Нельзя ли письменно изложить критерии этого контроля, спросил я, но «правая рука» господина Леонова тут же поспешила исчезнуть в недоступных внутренних покоях этого мистического Дома дружбы, а толстая «мамушка» дала мне понять, что аудиенция окончена и что я уже сполна использовал свое право пребывания в этом вестибюле.

Я сходил еще в немецкое посольство и доложил там атташе по культуре господину Зеллу, что дело с выставкой явно застопорилось на одном месте(!), и завершил на этом свой первый, безуспешный визит в Москву, отправившись дальше — в Токио.

Чуть позже, к концу начавшегося здесь путешествия в Азию, я все-таки открыл «второй фронт», установив на World Bookfair в Нью-Дели контакт с Мартиросяном, заместителем директора Госкомиздата — организации, компетентной по всем книжным вопросам в СССР, — обговорив с ним также визит делегации издателей ФРГ параллельно с запланированной в Москве Немецкой книжной выставкой. Некий господин Найденов,

самовластный шеф отдела внешних сношений при Госкомиздате, — мне потом пришлось еще не раз выдержать с ним бой — заявил на заседании Support Committee for the International Book Year в Вене, обращаясь к спикеру Биржевого объединения Александру У. Мартенсу, что хотя он и слышал о планах проведения нашей выставки, однако как должностное лицо, в чьем ведении находятся подобные дела, он не занимается этим официально и потому сильно сомневается, что данная выставка состоится.

В общем, все официальные инстанции вроде были уже задействованы, однако решающий шаг с нашей стороны по-прежнему должно было сделать ответственное за это дело «Общество» д-ра Мохальски.

Сразу после возвращения из поездки по странам Восточной Азии я опять сосредоточил все нити в своих руках, направив в советское посольство в Бонне, министерство иностранных дел ФРГ, германское посольство в Москве и «Общество» письма с просьбой позаботиться о том, чтобы идея с выставкой была наконец реализована.

7 апреля 1972 года д-р Мохальски прислал мне ответ следующего содержания:

«…и хочу еще раз заверить Вас, что запланированная выставка сможет состояться в октябре/ноябре 1972 г. Задержка объясняется тем, что господин Леонов теперь уже смещен со своего поста и, возможно, был занят в феврале мыслями о новой работе. Ответственным за это является теперь господин Ведерников и его помощник господин Вишневский».

Шанс получить от советских партнеров их все время высказываемое устно и потому необязательное согласие в письменном виде должен был реализоваться 2 июня 1972 года. Я знал, что только клочок официально подписанной бумаги может положить конец этой бесконечной волоките. На этот день в моем кабинете была назначена встреча по существующим проблемам за чашечкой кофе с новым московским шефом Дома дружбы господином Ведерниковым, референтом по культуре в советском посольстве Дийковым и господином Дилем.

Я должен был добиться того, чтобы это кофепитие завершилось подписанием документа, который я мог бы разослать потом по всем инстанциям как доказательство официального согласия на проведение выставки, а иначе это спихивание ответственности с одного на другого за столь неполюбившийся и, по-видимому, вызывающий опасения проект будет длиться вечно. Я прорепетировал встречу с двумя своими сотрудницами, владевшими стенографией. Мы точно определили

места, кто где будет сидеть, сварили заранее четыре с половиной чашечки кофе и ждали в сильном нервном напряжении прибытия гостей.

Наконец они пришли. Мы обменялись стандартными любезностями. Потом усадили гостей на предназначенные для них места. Я представил им сотрудницу Ренату Лидербах как свою помощницу, которая будет, как это принято и в Москве, стенографировать нашу беседу.

Не прошло и нескольких минут, как вдруг выяснилось, что господа уже выпили кофе. Рената вышла из комнаты, и в тот же момент вместо нее впорхнула Анна Грюнвальд, села за столик и стала протоколировать беседу дальше. Наконец вернулась Рената со свежесваренным кофе. Анна снова исчезла. Я налил в чашки кофе. Рената записывала разговор. Через некоторое время появилась Анна, что-то прошептала Ренате, но так, чтобы все слышали, что ее вызывают по международному телефону. Рената ушла. Анна села на ее место. Беседа потекла дальше.

Наконец господа поднялись и стали любезно прощаться. Я, непрерывно пожимая руки, так же любезно сказал им (мои сотрудницы тем временем уже распечатали стенограмму беседы на машинке):

— Господа, надеюсь вы ничего не имели против, что мы вели протокол нашей сегодняшней дружеской беседы?

— Нет, конечно! — ответил Ведерников. — Мы же договорились по всем пунктам! Пришлите нам протокол потом в Москву!

— Не будем понапрасну терять время, господа, и скрепим этот протокол здесь и сейчас нашими подписями. Я сделаю это первым, подав тем самым хороший пример…

И я тут же вытащил готовые копии расшифрованной стенограммы, уже подложенные мне Ренатой, прошел к столу и четыре раза размашисто подписал документ. После этого я с дружеской улыбкой протянул ручку господину Ведерникову. Тот в замешательстве смотрел какое-то мгновение на остальных, потом пробежал глазами текст, в котором не было ничего другого, кроме того, о чем мы говорили, и подписал его. Двое других господ с некоторыми колебаниями сделали то же самое.

Когда «делегация», сразу вдруг заторопившись, поспешно ушла, унося с собой экземпляры протокола беседы, мы трое торжествующе вскинули руки вверх и шумно возрадовались (вместе с боязливо заглядывающими в дверь коллегами) удачно проведенной операции, ожидая, что все это означает конец безрадостным препирательствам с русскими, а следовательно, оправдывает частично наше поведение.

И действительно, уже через несколько дней из Советского Союза был дан «зеленый свет». А еще через неделю я сел в самолет, летевший в Москву, чтобы окончательно «выбить» сроки и обговорить последние детали.

Снова в Москве

Стоял июнь, и в Москве было приятно тепло. Господин Ведерников приветливо принял меня в своем кабинете в Доме дружбы. Войдя в вестибюль, я торжествующе огляделся, но не увидел той агрессивной особы, преграждавшей мне раньше путь. Я принял это за добрый знак.

С Аллой Дьяконовой, сотрудницей Библиотеки иностранной литературы, отвечавшей за нашу выставку, которая должна была состояться именно там, я обговорил позднее всю техническую сторону дела. В Москве никто больше не боялся вступать со мной в контакт. Подписанный документ, имевший в этом мире, державшемся на авторитете «всесильной бумажки», неограниченную власть, распростер надо мной свою всемогущую длань.

Алла, милейшая Алла, прекрасно говорившая по-немецки со свойственной русским женщинам типично высокой интонацией, была интеллигентным, добросердечным и осмотрительным человеком. Она решительно и с радостью (это четко ощущалось) взялась за организацию выставки «классового врага». Алла ужасно косила, но это, как ни странно, приводило только к тому, что хотелось доверять ей еще более безоговорочно.

Я пригласил ее на свой рыбный пир в отель «Националь». Я расспрашивал ее про все, что мне казалось непонятным в этой задеревеневшей системе. Она всегда отвечала очень спокойно и серьезно. Между нами понемножку выстраивались дружеские отношения, и, когда наступили выходные, она сделала мне смелое предложение.

Исходя из моих постоянных расспросов, какую позицию занимают диссиденты (любая оппозиция всегда интересовала меня больше всего, будь то в Бразилии или в Советском Союзе), она пообещала взять меня на встречу ученых-диссидентов на «даче» в пригороде Москвы. Так как любому иностранцу под страхом угрозы наказания запрещалось без официального разрешения покидать пределы Москвы, меня переодели «под русского» в кепку, куртку и джинсы мужа Аллы, и мы поехали на переполненной электричке с Ленинградского вокзала на «тайную дачу», где собрался круг знакомых физиков и математиков,

группировавшихся вокруг известного русского физика Велехова.

Это был длинный вечер, прошедший в серьезной дискуссии, во время которой я большей частью вынужден был ограничиваться изучением лиц и голосов говоривших. Потому что после часа расспросов меня о моей стране и о том, что есть на Западе новенького, группа обратилась к собственному, как я мог только догадываться, грустному положению дел в университетах и научно-исследовательских институтах. Володя Александров, друг и коллега академика Велихова, пригласивший Аллу и меня, время от времени переводил мне, о чем идет речь. Однако я, полностью уверенный в собственной свободе, чувствовал себя неким сторонним наблюдателем и ни о чем больше не расспрашивал. Я сидел тихонько и старался быть незаметным, чтобы не мешать серьезной дискуссии, ради которой они собрались.

Поздно вечером все расселись вокруг костра в саду и, задумчиво глядя на огонь, негромко запели русские народные песни. Вдруг кто-то приехал на черной машине и привез, очевидно, новые вести из Москвы. В мгновение ока вся компания исчезла внутри дома, чтобы продолжить дискуссию.

Я сидел среди берез, на их белых стволах играли блики отблесков костра, и смотрел в усеянное звездами русское небо. Неужели мне наконец удалось проникнуть в эту закрытую страну?

Когда я возвратился во Франкфурт, на столе у меня лежало письмо нового первого заместителя председателя Комитета по печати при Совете Министров СССР Юрия Мелентьева, заявившего о своей готовности принять нашу делегацию и «обсудить интересующие нас вопросы». Следовательно, с русской стороны все уже было урегулировано.

Убежденный, что все труднейшие препятствия с дороги устранены, я позвонил господину Р. в министерство иностранных дел ФРГ, чтобы узнать, выяснено ли, как обстоит дело с «Западным Берлином» применительно к нашей выставке. Господин Р. в предыдущем телефонном разговоре как бы между прочим упомянул, что вполне возможно, что юридический отдел министерства не согласится с формулировкой «Федеративная Республика Германии и Западный Берлин». Господин Р. сообщил мне, что вопрос решается на уровне статс-секретарей и что предполагается поручить посольству в Москве войти с запросом в советское правительство. Выставка должна стать прецедентом в связи с заключенным четырехсторонним соглашением по Берлину.

Вот тебе и на! Значит, вся петрушка начинается сначала. Еще 5 июля господин Дийков произнес в телефонном разговоре, что

назревают проблемы по поводу западноберлинских издательств. Я ответил, что для нас неприемлемо исключить эти издательства, так как они являются членами Биржевого объединения.

Господин Дийков согласился с этим, пообещал прояснить вопрос на уровне посольства и позвонить мне. Но к следующему четвергу, когда я позвонил сам, решение еще не созрело. Звонок в пятницу, 7 июля, результата тоже не принес.

Тогда я сказал господину Дийкову, что приду в следующий понедельник в посольство на Роландсэкк, и попросил его привлечь кого-нибудь к разговору, кто компетентен в решении этого вопроса.

Поприветствовав меня утром в понедельник, господин Купцов, второй секретарь советского посольства, сразу перешел к главной теме разговора, категорически заявив, что наша выставка может состояться только с участием «издательств ФРГ».

— Но, господин Купцов, разве мы не можем исходить из того, что вопрос об участии граждан Западного Берлина в западногерманских мероприятиях был раз и навсегда окончательно оговорен в приложении к берлинскому соглашению IV B, пункт 2 A-D?

— Напротив! Я, правда, не хочу предвосхищать событий, но сам твердо убежден, что по поводу различий в интерпретации этого пункта Советский Союз должен говорить не только в собственных интересах, но и в интересах всех четырех держав!

Впрочем, здесь, в посольстве, лучше, чем где-либо, знают, что стоит в документе. Этот вопрос обсуждался с послом господином Фалиным, а он в конце концов принимал участие в работе над текстом соглашения.

Господин Купцов, который в одиночку оспаривал эту принципиальную часть разговора — Дийков присутствовал молча, — вторично потребовал, чтобы западноберлинские издательства были удалены с выставки.

— Этот вопрос, господин Купцов, не является для нас ни политической проблемой, ни вопросом количества участников выставки. В соответствии с организационной формой Биржевого объединения, которое представляет западноберлинские издательства в равной степени с западногерманскими — некоторые из них имеют к тому же головные фирмы в Западной Германии, — мы вынуждены соблюдать права всех входящих в наше объединение издательств. Поэтому для нас не представляется возможным отказать в участии в выставке, устраиваемой по нашей инициативе, ни одному издательству, независимо от того, расположено оно в Западном Берлине или где-то еще.

Господин Купцов недовольно передернулся, выразил на лице сожаление и подвел итог:

— Существуют две возможности. Первая — мы не включаем западноберлинские издательства для участия в выставке. Вторая — мы делаем новую заявку на выставку книг ФРГ и Западного Берлина. Но это означает, что все переговоры в Москве надо проводить заново.

На мой вопрос, допускает ли он, что эти переговоры будут сопряжены с трудностями и успеем ли мы до намеченного срока открытия выставки завершить их, господин Купцов дал уклончивый ответ: вряд ли!

Итак, мы снова напоролись на высокую политику. Но теперь это уже был не просто бюрократический произвол или личная некомпетентность, с чем еще можно было как-то бороться. Сейчас мы точно знали, какого рода это препятствие. Мы уже сталкивались с этой проблемой. Я был очень разочарован, потому что думал, что мы почти у цели. Ясно было, что мы уперлись в политическую проблему, требующую кардинального решения. И это решение не может быть принято нами. Здесь слово за дипломатией.

Нашей книжной выставке отводилась роль прецедентного случая в обоюдной культурной политике Советского Союза и ФРГ. Для всех последующих культурных мероприятий должно было быть наконец-то решено, как будет трактоваться в социалистическом мире пункт соглашения относительно «связки» или «связей» жителей Западного Берлина с Федеративной Республикой Германии. Книги рассматривались как часть политики. Изданная в Западном Берлине книга становилась политическим вызовом.

Собственно, мне импонировала такая оценка, пусть она и выходила нам боком. Она свидетельствовала о том, что к нашим книгам относятся серьезно. Своими ежедневными телефонными звонками я действовал на нервы всем — министерству иностранных дел в Бонне, германскому посольству в Москве, советскому посольству на Роландсэкк. Я грозил гневом общественности, предлагал собственные варианты: выставка Федеративной Республики Германии и *Западного Берлина*, или *включая Западный Берлин,* или *а также…, вместе с…, совместная выставка…* Между Бонном и Москвой летали туда-сюда и взвешивались все эти предложения.

Наконец немецкий посол в Москве господин Зам сделал очередное компромиссное предложение. В каталоге выставки, как и на самой выставке, оговорить в тексте факт участия Западного Берлина следующей формулировкой:

> «Участие Берлина (Западного) в выставке осуществляется в соответствии с толкованием СССР приложения IVB2d к четырехстороннему соглашению по Берлину от 3 сентября 1971 г.»

Министерство иностранных дел согласилось, скрипя зубами, вступить на этот путь переговоров. Но советские власти тянули день за днем, не давая согласия.

Выставка должна была открыться в Москве 1 сентября 1972 года. 18 августа — наши контейнеры с выставочным грузом уже много дней стояли наготове, а нас все только ежедневно заново утешали — мне предложили составить на всякий случай вместе с компетентными референтами министерства иностранных дел текст официального отказа от проведения выставки:

> «Биржевое объединение германской книжной торговли в совместной работе с „Обществом развития отношений между Федеративной Республикой Германии и СССР“ (Франкфурт) подготовило выставку западногерманских книг по искусству и архитектуре.
>
> Так как между обеими странами до сих пор не существует соглашения по культурному обмену, Федеративная Республика Германии способствовала осуществлению этого намерения, не нанося ущерба общему делу.
>
> Во время предварительных переговоров с советскими правительственными инстанциями выяснилось, что Советский Союз не готов до заключения соглашения по культурному обмену дать свое согласие на участие Западного Берлина в этом проекте по предложенной нами форме в соответствии с текстом четырехстороннего соглашения по Берлину от 3 сентября 1971 года. При сложившихся обстоятельствах правительство ФРГ вынуждено отложить сроки проведения выставки.
>
> Соглашение по культурному обмену, которое, само собой разумеется, должно закрепить включение Западного Берлина в культурный обмен с СССР в формулировке, удовлетворяющей обе стороны, находится в работе».

Тем не менее по-прежнему никакой надежды. Но из Бонна все время поступало указание: ничего не предпринимать! Ждать! 22 августа мой коллега Инго-Эрик Шмидт-Брауль и я снова паковали чемоданы, собираясь лететь в Москву, когда статс-секретарь Франке вдруг распорядился из Бонна: контейнеры задержать,

командировки аннулировать! Господин Р. из министерства иностранных дел сообщил мне, что на высшем уровне бытует мнение, что для общего дела будет целесообразнее, если в настоящий момент отсюда не последует никакой реакции. По-видимому, следует рассчитывать на отказ от выставки — в противоположность вчерашнему мнению, когда казалось, что удастся найти компромиссную формулировку.

Но в самый последний момент из Москвы все-таки поступила принесшая облегчение команда: «Давай!» Выставку, правда, пришлось по техническим причинам еще раз отодвинуть на пять дней. Но потом она с блеском и помпой была торжественно открыта 5 сентября всеми уважаемой седовласой директрисой Библиотеки иностранной литературы Маргаритой Рудомино и председателем правления Биржевого объединения д-ром Клеттом.

Экспозиция называлась: «Искусство и архитектура — выставка новых книг из Федеративной Республики Германии». Перед зданием развевались флаги ФРГ и СССР, а внутри самой выставки книги западноберлинских издательств лежали на отдельном столе, помеченном флагом Берлина, с указанием на особый пункт в четырехстороннем соглашении — тот же текст красовался на суперобложке каталога.

Немецкая делегация приехала в составе председателя правления Биржевого объединения господина Эрнста Клетта, господина д-ра Макензена и господина Кройцхаге.

Все-таки удалось слегка растопить эту ледяную глыбу: сначала появились организации, а за ними потянулись и простые люди. Официальная делегация представителей Германской книжной торговли впервые вступила в диалог с присутствующими там и, естественно, совершенно иначе структурированными организациями-партнерами, например со всемогущим Госкомиздатом, отвечавшим за всю книжную продукцию в огромном Советском Союзе, своего рода «книжным министерством» во главе с министром Стукалиным и его заместителями Юрием Мелентьевым и Василием Сластененко.

Во время этой первой встречи мы удостоились чести лицезреть господина Мелентьева. Во все последующие визиты в Москву я каждый раз добивался разговора с верхушкой Госкомиздата. Прохождение этих встреч каждый раз напоминало некий ритуал и мало чем отличалось от той первой встречи.

Обязательной частью этого ритуала были бесконечные, напичканные цифрами монологи соответствующих начальников. Наша маленькая и неискушенная в делах России делегация должна была для начала спешно набраться крайне необходимого для этого терпения. Цифры и перечисление заслуг этой

супермонопольной организации были впечатляющими, но не позволяли, однако, сделать осмысленных выводов об истинном положении дел в этой гигантской книжной стране.

Когда же наконец один из нас взял слово и заговорил о таких само собой разумеющихся вещах, затронутых уже немного в формулировках слегка испуганного председателя правления д-ра Клетта, обратившегося с приветствием к господину Мелентьеву и произнесшего слова о «свободе издателя», его «праве издавать, что он хочет», то оказалось, что можно схлопотать в ответ вынесенное за минуту резкое осуждение капиталистической системы.

Мелентьев:

— Только социалистические издатели свободны! А то, что царит у вас на Западе, это не что иное, как анархия!

Таков был первый контакт с Мелентьевым. Друг с другом еще никто знаком не был. Вообще мы знали друг о друге очень мало. Все это слегка походило на авантюру — шагнуть от вывески в Москве «Немецкая книжная выставка» непосредственно в метрополию и разведать, какова она, эта незнакомая, чуждая нам книжная территория!

Помимо Госкомиздата мы побывали еще в издательстве «Изобразительное искусство», посетили внешнеторговую организацию «Межкнига», Библиотеку им. Ленина, конечно, ряд музеев и Большой театр.

На коктейле в немецком посольстве и во время официальных обедов и ужинов наши хозяева вели себя более раскованно, а разговоры проходили не так судорожно. Когда 8 сентября официальный визит делегации закончился, сложную и нудную работу по установлению связей можно было считать успешно завершенной. Удалось возобновить диалог и подвигнуть людей, убежденно придерживавшихся определенных идеологических штампов в отношении друг друга и никогда не вступавших в непосредственный контакт, к простому общению, пробудить их человеческое любопытство.

Немецкая делегация вернулась домой полная энтузиазма и настроенная оптимистически. Господин Кройцхаге написал в «Биржевой листок немецкой книготорговли» полную эйфории статью на пяти страницах о своих впечатлениях, озаглавив ее несколько самоуверенно «С официальной миссией в СССР», где прежде всего восхвалял собственные заслуги, а также двух других официальных участников московской делегации.

А я опять возился все с теми же проблемами, потому что первая ласточка весны еще не делает. Русские противники нашего истолкования известного пункта готовились к новой атаке. И

прежде всего уже упоминавшийся шеф по внешнеторговым сношениям в Госкомиздате Найденов, сторонник «твердой линии», а вместе с ним и эксперты по берлинскому вопросу в советском Министерстве иностранных дел, также не выражавшие восторгов по поводу найденного нами решения.

Сначала было сказано, что выставки в других городах мы должны перенести на начало 1973 года, потому что они помешают празднованию 55-й годовщины Октябрьской социалистической революции. А потом снова начались проблемы с участием западноберлинских издательств! Переговоры пошли по новому кругу. Советские органы потребовали более четкого отделения западноберлинских издательств внутри выставки от западногерманской экспозиции.

Наконец им пришла в голову идея, за которую я тут же ухватился, настолько она была бессмысленной. Мои партнеры по переговорам потребовали, чтобы в следующем месте показа выставки, в Ленинграде, все книги, изданные и напечатанные в Западном Берлине или написанные западноберлинскими авторами, были обозначены крошечными берлинскими флажками. Только при таком условии власти согласны пойти навстречу нашим требованиям и допустить, чтобы *берлинские* книги опять вошли в общую экспозицию и были расставлены по тематике среди западногерманских книг.

К счастью, команда германского посла Зама обладала чувством юмора и в своем ответе нашему министерству иностранных дел одобрила это *бюрократическое решение.* Результат был таким, как мы и предвидели, — абсолютно противоположным замыслу его авторов.

Ленинградские посетители выставки, войдя в зал, увидели, что в каждую третью книгу, как в головку сыра на сырных выставках, воткнут берлинский флажок. Особо верные линии партии товарищи, пришедшие на *Выставку Федеративной Республики Германии,* выразили активное недовольство по поводу агрессивного натиска со стороны Западного Берлина. На второй день все флажки были украдены, и мы получили то, к чему стремились все время.

Глава 14
Поездка в Азию

Я непременно хотел совершить это путешествие! Я мог бы отправить кого-нибудь из своих сотрудников, а сам заняться нерешенными организационными проблемами во Франкфурте, но меня тянуло в этот неизведанный мир.

Я планировал и заранее собирал эту поездку по крохам. С последней трагикомичной встречи Зигфреда Тауберта с экспертом по книжным делам в министерстве иностранных дел господином Р. подавленный Тауберт перепоручил ведение переговоров с этим неудобным партнером мне.

Господин Р. был неподкупным чиновником старой прусской закваски: вечно одетый в темный костюм, чаще с жилеткой, напомаженные темно-русые волосы гладко зачесаны назад, спина всегда прямая — так он неизменно сидел на краешке стула, нервно дергая себя за светло-серую перчатку, под которой скрывался протез левой руки. Он был сама персонифицированная функция. И редко когда проявлял личную инициативу, решительно пресекая любое неформальное общение, например приглашение на обед, а иногда даже на чашку кофе, усматривая в этом попытку подкупа. Это был обстоятельный, непременно подстраховывавшийся, осторожный человек, и складывалось впечатление, что в действие его могут привести только высшие политические или внутриведомственные соображения, исходящие из непроницаемой мыслительной глубины «его дома» — министерства иностранных дел, — они механически управляли им и «спускались» через нас, нормальных, но изумленных людей, в нижестоящие «исполнительные инстанции». Он был очень пунктуален и не терпел ни своеволия, ни самостоятельных суждений и представлений о проведении мероприятий, находящихся в его ведении.

Наша семилетняя «совместная» работа, в течение которой осуществились не только такие наделавшие много шуму проекты, как Венгрия и Советский Союз, но и первый договор между министерством иностранных дел и нашей фирмой, где был сформулирован круг интересов обеих участвующих сторон, шла всегда медленно и туго, зависая иногда в прострации.

Всего один раз я стал свидетелем совершенно необычного для него поведения, когда его персональная реакция вышла, можно сказать, из берегов. Во время упомянутого уже разговора в кабинете Зигфреда Тауберта, где мне разрешено было

присутствовать, Тауберт предпринял еще одну попытку перевести совместную работу на стабильную, свободную от нервных перегрузок и, желательно, равноправную основу, как это было во времена предшественника господина Р. д-ра Ванда. Его аргументация все больше обрастала красочными примерами и приобретала повышенную эмоциональность, так что под конец он вдруг воскликнул:

— …при таких условиях, господин Р, какие вы нам создаете, работа вообще уже не доставляет больше никакого удовольствия!

Это заявление с точки зрения устройства мыслительного аппарата господина Р. было по меньшей мере странным аргументом. В нем все мгновенно забило тревогу, даже как будто что-то задребезжало. Он весь внутренне сотрясался, хотя внешне его поза не изменилась. Вдруг он резко выкинул вперед протез, положил его перед собой тыльной стороной на толстое стекло на крышке стола и начал нервно дергать светло-серую перчатку под браслетом часов, украшавших искусственное запястье. Наконец, не в силах больше сдерживаться, он хлопнул себя здоровой рукой по ляжке, по-прежнему не меняя застывшей позы. Внутреннее сотрясение перешло в нервный прыскающий смех:

— …нет, вы слышали? Неслыханное дело! Это должно доставлять ему удовольствие! Удовольствие! Удо-во-о-льствие!

И растягивая слово «удовольствие», он снова и снова хлопал себя с нервным восторгом по ляжке.

С этого момента я имел «удовольствие» стать единоличным партнером в переговорах с господином Р. и всячески, как только мог, эксплуатировал это обстоятельство, сначала осторожно, потом все откровеннее, иногда с наскоком, даже с вызовом, затем опять умасливая и проявляя должное понимание, «чувствуя» ответственность, и затем снова жестко, и снова мягко. Я научился распознавать границы таких людей-функционеров, но одновременно и их внезапные личные надежды и даже в высшей степени человеческие потребности, что неожиданно давало простор действиям в моей игре с такими чиновниками.

Впрочем, частенько я возвращался разбитым, с чувством отвращения в душе к своим партнерам по переговорам, пропылившимся от бумажных инструкций, с их неподдающимся воздействию бюрократическим мышлением, направленным на выполнение чужой воли чиновников из Бонна. Для меня уже стало привычкой сразу садиться в поезде, едущем из Бонна во Франкфурт, вместе с сопровождающими меня коллегами в вагон-ресторан, чтобы пропустить рюмочку-другую шнапса и поскорее расслабиться, проиграв за дорогу еще раз уродливо-комичные сцены диалога с боннскими чиновниками. При этом мы хлопали

себя по ляжкам, со смехом подражая господину Р., и когда приезжали во Франкфурт, то были, конечно, здорово навеселе, но чувствовали себя освободившимися от стресса и фрустрации, в которые вгоняли нас многочасовые переговоры в этом заведении.

В течение долгих переговоров я все-таки выторговал себе эту поездку в Азию: в Москве (смотри предыдущую главу) я вновь осмелился заново затронуть уже давно выношенные планы. В Токио же мне хотелось выяснить результаты долгосрочного влияния проведенной там нами в 1969 году книжной выставки. Да весь Юго-Восточный азиатский регион также не хотелось лишать «счастья» увидеть в скором будущем нашу выставку. Здесь надо было разведать все особенно тщательно, так как у нас не было там в прошлом никакого опыта. Я хотел (должен был) посетить некоторые из этих стран и выяснить все возможности и шансы нашего появления там с немецкими книгами. И конечно, Индия — наконец-то Индия! В Нью-Дели впервые открывалась World Bookfair. Мы зарезервировали для себя один стенд. Я готов был его обслуживать. Избавиться от Франкфурта, конторы, семьи — почти семь недель отсутствия, с 9 февраля по 26 марта 1972 года!

Ах да, моя семья: наши лабильные отношения с женой так и не стабилизовались. Напротив, когда умирает любовь, на передний план выходит борьба за власть. Между мной и Дорой В. было настоящее противостояние двух крепостей. Каждый выглядывал другого сквозь свои бойницы. Она все время твердила, что мне надо бросить работу здесь и уехать с ней в Аргентину. Дома по ночам меня мучили кошмары.

Дора почти все время проводила с латиноамериканцами — я удивлялся, где она их только находит, — чаще всего с Гектором Рубио из Кордовы, которого я, годы спустя, встретил в должности государственного чиновника по культуре в провинции Кордова. Она пыталась отговорить меня от длительной поездки. Наказывала сексуальным воздержанием и заявила потом, что страшно рада, что я наконец уеду.

На карту было поставлено многое. Я знал, чем рискую при наших сложных отношениях, принимая решение отправиться в такое длительное путешествие. Но альтернатива остаться дома, ежедневно ходить в контору на работу и надеяться, что когда-нибудь все же удастся укротить пещерный гнев моей спутницы жизни, который неизменно вызывает в ней эта страна, наши трудные отношения и моя уравновешенность жителя Центральной Европы, сулила мне так мало надежды, что я решил поехать, осознавая, что могу поставить этим под угрозу все, что нас до сих пор связывало. Упрямство и гнев преследовали меня

все время, пока я собирался в дорогу. Но конечно, была и маленькая толика тайной надежды, что за время разлуки вызреет решение выбраться из этих запутанных отношений. Я отправлялся в поездку полный тяжелых мыслей, без всякого радостного ожидания романтических приключений.

Почти так, как выходят из дома, не зная, приведет ли обратная дорога назад.

Днями и ночами не отпускали меня в поездке эти личные проблемы, которые я оставил дома нерешенными, разрастающимися там, как снежный ком. Но постепенно даль начала пленять меня, приковывать к себе внимание, и уже утраченное, как мне казалось, желание увидеть другие страны, где все не так, как у нас, и мое прежнее юношеское любопытство все больше захватывали меня. Я ведь всегда чувствовал себя на стороне гораздо свободнее, как бы больше дома, чем на своей непростой родине, которую моя спутница жизни, раздираемая ядом злорадных сомнений, все время подвергала критике, да и я, между прочим, не очень-то отставал от нее.

Москва

Неприветливую, холодную Москву я покинул в туманные предрассветные сумерки 12 февраля с чувством полного здешнего провала, что еще больше усилило мое депрессивное состояние. Я сидел в черной «Волге», плотно закутавшись в свое меховое нутриевое пальто, с заячьей шапкой на голове, и ехал, подпрыгивая на плохой дороге, по местности, похожей на тундру, в Шереметьево-1 — навстречу квадратному, построенному в сталинском стиле с пышными архитектурными излишествами зданию, которое видно еще и сегодня, оно находится напротив посадочных полос нового современного аэропорта.

Отправка пассажиров происходила в то время так: у всех забирали паспорта и билеты, и пассажиры потерянно стояли в огромном зале, чувствуя с утратой доказательств своей идентичности собственную ненужность и незащищенность. Ощущение полного бесправия длилось иногда несколько часов и прерывалось обычно неожиданными выкриками советских солдат, возвращавших тебе вместе с громко оглашенным именем утраченное было счастье. Не очень деликатными жестами бедного пассажира подталкивали в нужном направлении, куда он и устремлялся, поспешно хватая свои вещи. Потом следовал второй и третий, тоже не очень любезный, контроль, пока наконец ты не попадал на чужую территорию, в моем случае японской Japan

Airlines, и облегченно, но уже в самом начале полета совершенно без сил не опускался в мягкое кресло согласно купленному билету.

Токио

Токио — уродливый обезличенный город. Сплошное море домов, между которыми тут и там зажато по нескольку домиков, в которых, очевидно, живут люди, тщательно ухаживающие за своим мини-садиком. Сидя в такси, напряженно вглядываюсь, чтобы найти хоть что-то радующее глаз, что подтвердило бы мое представление о Японии. Ничего — фасады и улицы, по которым дисциплинированно течет транспортный поток, опять дома и башни. Передо мной в темно-синей униформе и белых перчатках сидит, сконцентрировавшись на движении, шофер такси. Нас разделяет стеклянная перегородка. С каким удовольствием пустился бы я в разговор, как в Латинской Америке, когда ехал от самого аэропорта до города, ведя причудливую беседу с водителем и наслаждаясь ощущением, что прибыл в незнакомую страну!

Машина резко затормозила перед отелем. С помощью удобно расположенного рычага шофер открыл дверцу машины, не вставая со своего места. Лающие звуки сквозь белые зубы означали, по-видимому, сумму за проезд. Я с некоторым колебанием вкладывал купюру за купюрой в разжатую белоперчаточную ладонь, просунутую водителем в маленькое окошко в стеклянной перегородке. Я отсчитывал и отсчитывал, ожидая спасительной реакции, означавшей бы: «хватит». Я приостановился. Чужая, непривычного разреза пара глаз сердито смотрела на раскрытую ладонь. Я принялся отсчитывать дальше. Наконец ладонь захлопнулась. Едва заметный кивок головы водителя. Я вылез из машины. Обошел ее кругом и приблизился к багажному отделению. Крышка багажника автоматически подскочила вверх. Я нервически выдернул свой чемодан. Крышка захлопнулась. Машина откатила.

Я был в Токио. Немного напуганный, не испытывая никаких возвышенных чувств, что прибыл в этот азиатский экономический центр, я отправился по своим делам, чтобы выполнить поставленные перед самим собой задачи.

Сначала я объявился в известном книжном магазине «Марудзэн» и в крупной книжной торговой фирме «Токуо Shuppan Hanbei», сокращенно «Тохан». Договорился о встречах в самом главном японском издательском доме «Кодансия» и в «Publishers

Association for Cultural Exchange». Смешное «моси-моси» («алло!»), когда на другом конце снимают телефонную трубку, вскоре с легкостью слетало с моих губ, как у заправского японца, хотя бесконечное ожидание, пока тебя соединят на фирме с тем, кто говорит «по-иностранному», требовало терпения и выдержки.

Я с трудом пробился к заведующим отделами в «Марудзэн» ёдзи Судзуки и Кадзуо Китагава, в «Тохане» к руководителю зарубежного отдела Мисимаса Цутида, а в «Коданся» к директору Сабуро Нобоки, коммерческому директору Кацухико Сакияма и начальнику международной торговли Самио Дегава. Я испугался, когда восседавший за письменным столом, словно на троне, с широко расставленными ногами директор «Publishers Association for Cultural Exchange» Соити Накадзима принялся издавать в ответ на объяснения засеменившей по его вызову секретарши и изложившей ему цель моего визита гуттуральные восклицания «Ох-ох-ох, кэкко дэс!», «Ах-ах-ах, со дэс ка!», непрестанно кивая при этом головой.

Я познакомился с совершенно чужим, все еще очень замкнутым в себе миром, в который мне буквально приходилось «вгрызаться». Само собой тут ничего не решалось. Каждый новый «поход» требовал колоссальных усилий, и сделать больше двух «ходок» в день я был просто не в состоянии. Медленно, очень медленно складывалось у меня представление о предмете моих усердий — японской книжной торговле.

Однако такой уж чужой или совсем другой она все же не была. Японцы очень прагматичны. Обстоятельный ритуал приветствия и иногда кажущаяся витиеватой их манера выражать свои мысли являются, по-видимому, скорее формой защитной реакции и тут же отбрасываются, как только речь заходит о практических вещах.

Так, я с облегчением установил, что японское книжное дело ориентируется на то, что имеет спрос сегодня, не увязая при этом в плену традиций и сантиментов. В результате этого сложилась эффективная система книжной торговли с явными признаками динамики.

Японские представители книжной торговли приветливо отнеслись к нашему интересу относительно результатов немецкой книжной выставки. Но вычислить заметную реакцию на проведенные здесь нами в 1969 году выставки — это они дали мне понять без всяких обиняков — по тщательно ведущимся статистическим отчетам продаж им все-таки не удалось.

После своих сопряженных с усилиями экскурсий по книжному миру Японии я с облегчением вздохнул, найдя в выходные дни спасение на маленьком немецком «островке»,

затерявшемся в море японских домов, когда пришел в гости в переводчику Зигфриду Шааршмидту и его очаровательной жене, специалисту по странам Восточной Азии. Сначала они обучили меня в маленьком японском ресторане есть палочками, потом провели по ночным увеселительным кварталам Токио и втиснулись вместе со мной в переполненное токийское метро, что входит в обязательную программу «токийских впечатлений». Вместе мы развлекались по поводу японских «музыкальных» общественных туалетов, исполняющих мелодию «Пей, пей, браток, пей!», когда входишь по трем ступенькам на помост и опускаешься на «очко», со всех сторон окруженное зеркалами.

Оба страстные знатоки Японии, которым немцы обязаны многими важнейшими переводами из современной японской литературы, они поближе познакомили меня с некоторыми особенностями жизни этого на удивление совсем другого народа: с одной стороны, ориентированная на Запад оживленная торговля, с другой — такая далекая от этого, вообще от всего отрешенная религия «синто», утонченные традиции оформления садов, склонность и стремление к тишине.

Когда меня удостоили чести навестить прикованного к постели великого старца, основателя издательства «Коданся» Соити Нома, в прошлом почитателя Франкфуртской книжной ярмарки, я уже знал об этом японском обычае — уметь вовлекать тишину в сферу человеческого общения. Я предавался в комнате больного молчанию — этому немому контакту, установившемуся между старым Нома, его личным секретарем Ясуа Симата и мною сразу после краткого приветствия, не испытывая, как это принято в такой ситуации у нас на Западе, никакой неловкости. Я воспринимал в тишине достоинство этого старого больного человека и, покидая его комнату, чувствовал умиротворение и наполнившее меня ощущение оживленной часовой беседы с ним.

Из этой встречи выросла более чем десятилетняя дружба с Ясуа Симата, его личным секретарем. Наши пути пересекаются и по сей день. Для меня Япония с тех пор навсегда связана с выжидательно внимательным Симата-сан.

Соити Нома создал несколько фондов, способствовавших развитию книжного дела. Один из них — «Tokyo Book Development Center» — видит свою задачу в том, чтобы развивать книжную торговлю в Азии.

Этот Центр, не приносящий прибыли, является организацией с годовой сметой в 32 миллиона иен, половину из которых берет на себя государство, а вторую половину составляют взносы членов-спонсоров и валютные вливания из фондов ЮНЕСКО. Позднее я встречал другие такие же Центры в Латинской Америке и Африке, но ни один из них не функционировал так хорошо.

Центр стремится способствовать развитию обмена информацией о работе издательств, совершенствовать распространение учебников и других учебных и книжных пособий, необходимых для подрастающих читателей, а также оказывать посредничество в зарождении издательского дела во всей Азии.

Здесь мне преподали первый урок на тему «Проблемы книжного дела в отдаленных азиатских регионах», чем я и хотел

детальнее заняться во время этой поездки. Директор Центра Сигэси Сасаки, являвшийся одновременно главой объединения японских издателей, и молоденькая переводчица Тосико Мураи приложили немало усилий, чтобы помочь мне разобраться в этом:

«Почти все страны Азии находились до недавнего прошлого под чужим господством. Их системы образования были тесно увязаны с потребностями господствующих колониальных держав. Использовавшиеся в школах и университетах учебники были почти все без исключения привозными. За счет этого иностранные издательства могли жить спокойно и безбедно. Только со времени независимости этих стран появляются свои азиатские издатели.

С момента обретения азиатскими странами независимости новым правительствам частично удалось пробить революционные изменения в политике образования и учебных планах, добиваясь их соответствия новым общественным требованиям в своих стран. Неожиданно возник огромный спрос на книги всех видов. Это был сигнал для дельцов-предпринимателей вступить в бой за свое место на издательском рынке.

Но после первого подъема энтузиазма все быстро охладели. Молодые издатели столкнулись с целым рядом проблем, оказавшихся им не по плечу. Между отдельными азиатскими странами практически не существовало кооперирования. Продукцию производили из расчета только на свой маленький местный рынок. В результате первый тираж оказывался, как правило, очень низким и потому нерентабельным. Покупательная способность азиатского населения была значительно ниже средней, что особенно отразилось на книжной торговле. Независимо от размеров издательского дома, каждый из них испытывал дефицит капитала. Банки и правительства не спешили оказывать финансовую поддержку. Что, кроме книг, мог представить в качестве гарантии издатель!

Не хватало авторов профилированных книг, прежде всего университетских учебников. И привычки читать практически тоже не было, или в лучшем случае это носило любительский характер. Не было современных типографий. Не существовало фирм-распространителей, так что даже очень хорошо изданные книги продать было трудно. Отсутствовали библиотеки. В книжной торговле

ощущался недостаток морали и обязательств в платежах, не было автоматизированной инкассосистемы взаиморасчетов.

Во многих азиатских странах существовали также проблемы с языком. Приходилось обслуживать слишком много различных языковых регионов. Слишком часто вносились изменения в учебные планы. Пиратские тиражи стали правилом почти для всех стран. Авторское право охранялось только в крайне редких случаях».

Такую же безутешную картину состояния книжного дела я нашел потом почти во всех развивающихся странах. Но здесь, в Токио, я все-таки был немножечко склонен заподозрить японцев — потомков одной из ведущих в прошлом колониальных держав в Азии и тем самым как бы ответственных за удручающее положение дел в постколониальный период — в том, что они сгущают краски, рисуя мрачную картину сегодняшних азиатских проблем в книжной торговле. Может, даже, чтобы выгородить необходимость существования этого Центра и значимость своей работы. Однако мои подозрения, хочу сказать об этом сразу, не подтвердились — как раз все наоборот!

А пока, подготовившись эмоционально, я отправился к следующей станции назначения в этом азиатском путешествии, во время которого хотел составить собственную картину состояния книжной индустрии стран Азии, чтобы начать с ними ту совместную работу особого рода, какой я занимался. 16 февраля я вылетел в Южную Корею.

Сеул

За предыдущий этап своего путешествия я научился приспосабливаться организационно к местным широтам. В Сеуле я систематически помечал на карте города маршруты походов к местам переговоров, прокладывая пути прямо от отеля «Хосун» в центре города, где я остановился. При этом меня частенько сопровождал д-р Ханс-Юрген Забаровски, профессор 234 Петер Вайдхаас.

И обратил свой гнев в книжную пыль…

факультета германистики Ханкукского университета. Он готов был взять на себя вместе с женой-кореянкой проведение предполагаемой нами здесь в ближайшем будущем выставки.

Директор филиала Гёте-Института д-р Вальтер Бройер и атташе по культуре нашего посольства г-н Энгельхардт также

оказывали помощь, всячески поддерживали и информировали меня.

Заручившись советами этих трех немцев, знатоков Кореи, иногда даже эскортируемый ими, я все глубже проникал на незнакомую территорию «книжной» Кореи. Не сосчитать было, сколько я провел за одну эту неделю разговоров, носивших разведывательный характер.

Как выглядит этот корейский «книжный» ландшафт, куда я хочу направить наш немецкий кораблик? Подтвердятся ли убийственные высказывания представителей японского центра относительно слаборазвитого книжного дела в Азии?

У истоков корейского печатного и издательского дела стояли великие достижения. Первые публикации с деревянных форм, по образцу китайской ксилографии, восходят к правителю Кёнджону из династии Корё (1011), который распорядился отпечатать сборники буддийских сутр, и к правителю Коджону (1230) из той же династии, в чье правление впервые были применены медные литеры, то есть более чем за 200 лет до Гутенберга.

В эпоху Гутенберга произошло событие, которое неминуемо должно было дать толчок самобытному развитию Кореи и которое еще и сегодня выделяет ее среди остальных азиатских стран в сравнении их древних культур: изобретение хангыля — национального фонетического буквенно-слогового письма.

До 1446 года, пока король Седжон из династии Ли не обнародовал эдикта для поощрения использования хангыля, корейцы зависели в своем литературном развитии от китайских иероглифов. Как в Европе знание латыни, так и в Азии китайская грамота являлась по причине ее чрезмерной трудности привилегией аристократии.

Однако ранние достижения в этой области оказались в Корее невостребованными, и письменность не получила дальнейшего развития. Отпечатанные с помощью медных литер произведения так и остались единичными экземплярами. Корейское издательское дело на долгое время попало в зависимость от изготавливаемых вручную копий или известных также и на Западе инкунабул.

Современная печатная техника была завезена в Корею очень поздно, только где-то около 1844 года, после открытия Кореи Западом. При этом, как и везде в Азии, решающую роль сыграли христианские миссионеры. В 1888 году католическая школа в Сеуле основала типографию для издания Библии и других религиозных книг. В 1889 году там стали обучать печатному делу и издавать на хангыле и английском Библию и еженедельный журнал для корейских христиан. Позднее, присоединив при

содействии активно работавшего в Китае миссионера Аппенцеллера переплетную мастерскую, здесь стали печатать и издавать первые газеты, потом журналы и учебники. С растущим влиянием Запада росло и число частных издательских фирм.

В 1910 году империалистическая Япония аннексировала Корею, ввела цензуру и запрет на продажу печатных изданий, а также начала преследовать корейскую интеллигенцию, затем последовал временный запрет на корейский язык, что почти полностью застопорило многообещающее развитие страны.

Только после освобождения Кореи в 1945 году от засилия Японии начался новый подъем в развитии корейской печатной продукции. В 1946 году число издаваемых еженедельников достигло 60, а ежедневных газет — 140. Снова заработало 150 издательств, и за один этот год было опубликовано около 1000 наименований общим тиражом в 5 миллионов экземпляров. Удивительный рост числа изданных книг и их тиражей в первые послевоенные годы свидетельствовал о полной свободе печати и большом спросе на печатную продукцию.

Но, к сожалению, дальнейшая политическая трагедия снова застопорила все дело. Конфронтация между левыми и правыми политическими силами все время нарастала, что привело 15 марта 1947 года к учреждению «Korean Publishers Association» для «демократически» настроенных издательств и «Publishers Council» — для «левых» издателей.

С развязыванием в 1950 году корейской войны в стране опять наступил печатный кризис. После освобождения Сеула в 1953 году Южнокорейское бюро Общественной информации зарегистрировало 185 издательств, осуществивших всего — трудно в это поверить! — не более пятнадцати изданий.

И не успели издательства слегка окрепнуть до 1960 года, как политическая ситуация, усугубившаяся из-за студенческого восстания в апреле 1960 года, привела к смене диктаторского режима Ли Сын Мана и последовавшему за этим хаосу в стране, что вызвало застой в развитии печатного дела.

Ко времени моего визита южнокорейская книжная индустрия и торговля вновь немного окрепли, если судить по цифрам, но оставались еще достаточно слабыми и неспособными произвести необходимую для дальнейшего культурного развития страны реорганизацию печатного производства с целью повышения его производительности. Даже наоборот, с 1965 года, согласно статистическому ежегоднику ЮНЕСКО, число изданных южнокорейскими издательствами наименований снизилось с 3486 до 3464 в 1966 году, до 2216 в 1967-м и до 1756 в 1968 году. Это означает: в 1966 году в Южной Корее на каждый миллион

жителей было опубликовано 119 наименований, для сравнения — 850 в Нидерландах, 526 в Англии, 395 в Западной Германии, а средняя мировая цифра за тот же год была равна 137 наименованиям. В 1967 году число книг на миллион жителей снизилось в Корее до 74 наименований и упало еще больше в 1968 году.

Тенденция к падению была после этого остановлена. В 1970 году южнокорейские издательства выпустили в свет 2591 наименование, в 1971 году уже 2917, однако средний тираж не превышал 1000 экземпляров, что было вызвано прежде всего отсутствием каналов распространения.

Все, что мне удалось в конце концов собрать из информации по корейской книжной торговле, было не больше чем горстка скупых цифр, дававших все же представление о том, что этот книжный рынок не шел ни в какое сравнение с рынком других азиатских стран, однако мало чем отличался от них в структурном отношении — состояние печатного дела отражало перманентный кризис в этой сфере.

Информацию поставляли мои сверстники — исключительно милые и симпатичные люди. И тем не менее именно здесь я впервые осознал, в чем заключался крупный недостаток в моей работе: я вторгся извне в другой мир, будучи к этому абсолютно не подготовлен!

Я любовался пагодами и дворцами в охристых тонах, их причудливо изогнутыми черепичными крышами и замковыми камнями с таинственными символическими знаками — впечатление было такое, словно я разглядываю видовую открытку. Я не прочитал ни одной книги про трагическую судьбу здешних правителей, которые когда-то входили и выходили отсюда. Я ничего не знал о том, что движет корейцами сегодня. Немецких переводов современной корейской литературы не было. С каким удовольствием проскользнул бы я в эту незнакомую жизнь через замочную скважину корейского романа. Я удивлялся всему, что видел. Но стоял как перед закрытой дверью.

Еще в Финляндии я задумал: как только выпадет свободное время, побольше узнать о людях этой страны и о том, как они живут. Здесь, в Корее, это желание усилилось. И с тех пор число стран и культур, с которыми мне хотелось бы познакомиться поближе, все растет и растет. Но как только я наконец освобожусь, постараюсь понять, что же я такое на самом деле видел во время своей беспокойной жизни на колесах и где в действительности побывал.

Раньше я ездил по-другому. Раньше я целиком и полностью, так сказать, со всеми потрохами, перебирался в те чужие миры,

куда приезжал. Теперь я жил в отелях, а они не имеют ничего общего с той жизнью, которая их окружает. Весь день я был занят делами, пытался выполнить поставленные перед собой задачи, ведя ради этого во время встреч с любезными господами деловые разговоры информативного характера.

В те несколько свободных часов, которые оставались у меня, я предпринимал отчаянные попытки делать то, что всегда делал раньше, — ходить пешком по узким и темным улочкам города, в котором находился, надеясь в душе, что случится нечто необычное и мне неожиданно удастся найти вход в плотно закрытый пока от меня незнакомый мир.

Но ничего не происходило. Напротив, я был прочно, словно гвоздями, прибит к тому штампу, который, очевидно, здесь собой олицетворял: иностранец, белый, богатый. Со мной устанавливали контакт и хитро делали предложение, исходя из уже имеющегося опыта:

— Take a girl, a nice young college girl in your hotelroom! («Возьмите в номер девочку: хорошенькую, молоденькую, из колледжа!»)

Однажды вечером, устав от одиночества, я обернулся к одной из этих теней, упорно не отставшей и ходившей за мной по пятам целых три дня и безуспешно делавшей мне непристойные предложения, и наконец спросил, как же он может устроить это практически?

— No problem, sir, absolutely no problem!

Я заранее купил два билета в кинотеатр. Мой «секс-торговец» выхватил один билет и умчался, заклиная меня не покидать кинотеатр, пока место рядом со мной не займет молодая дама. Вот это она и будет, а все остальное устроится само собой!

Так я непредвиденно оказался в корейском кинотеатре-дворце и стал рассеянно смотреть на экран, где в американском боевике без конца переворачивались и бились машины, а я сидел и терпеливо ждал обещанную молоденькую кореянку, с которой я потом…

И тут до меня наконец дошло, в какую ситуацию я угодил только из-за того, что мне так и не удалось открыть заветную дверь в чужой для меня мир. Не оглядываясь больше по сторонам, я бросился из кинотеатра на улицу.

Как уже часто бывало во время этого путешествия, когда на меня снова наваливалась депрессия, я приземлился там, где мне было самое место, а именно в баре своего отеля, проспорив там до самого рассвета за бесконечным виски с какой-то IBM-физиономией (а может, из «General Motors»?) о курсе доллара, шансах на мировом рынке и риске при игре на бирже.

Гонконг

В Гонконге многое было значительно определеннее. Здесь речь шла о бизнесе и выживании и практически ни о чем другом.

Английская колония Гонконг возникла в интересах бизнеса самого ординарного характера, и город остался верен этой своей традиции развития. После того как перед началом первой «опиумной» войны в Китае (1840–1842) китайский правительственный комиссар южной провинции Кантон (Гуанчжоу) уничтожил крупные британские запасы опиума в этом регионе, британская военная экспедиция захватила остров Сянган (Гонконг). Год спустя, в 1843 году, он стал британской колонией.

Здесь никогда не было населения, которое боролось бы за письменное увековечение своей культуры. В 1843 году численность населения Гонконга составляла 5000 человек. Когда я приехал в город в 1972 году, их было ровно четыре с половиной миллиона. Всех, кто был познатнее и бежал сюда из огромного Китая, жизнь заставляла бороться за достойное выживание.

Поэтому и в книжном секторе там развивалось только то, на чем можно было сделать деньги, например типографское производство и школьные учебники. Естественно, я попал на прием к господину Б. Л. Ау, генеральному директору «Ling Kee-Publishing Company» — самого большого учебного издательства в Гонконге, — который с удовольствием продемонстрировал мне свое, нажитое благодаря школьным учебникам, богатство.

Этот гостеприимный китаец пригласил меня к себе домой, где сразу повел в ванную комнату: стены, выложенные вкруговую черным мрамором, создавали контрастный фон для огромных журавлей, инкрустированных нефритом, и камыша из оникса, из кранов из чистого золота вытекала горячая вода. Трогательно-нелепый аргумент, служивший неотразимым доказательством его результативности как издателя.

А заключительный пышный обед из двадцати одного блюда, само собой разумеется, на золотых тарелках и черной мраморной столешнице обеденного стола примирил меня с этой позицией, да простится мне за это. Я очень люблю поесть, а в удивительной китайской кухне, при всей справедливости критики в адрес непозволительной роскоши и расточительства, просматривается все-таки великая традиция древнейшей культуры и в области трапез тоже. Признаюсь, мне было за тем столом очень хорошо и комфортно.

Манила

Перелет из Гонконга в Манилу был связан с известными волнениями — по облакам гулял тайфун, и наш маленький «боинг» метало по небу, как перышко. В свой иллюминатор я видел посадочную полосу аэропорта в Маниле, лежавшую подо мной во всю свою длину и ширину, но машину вдруг резко крутануло, и посадочная полоса оказалась под другим крылом. Молоденькая стюардесса «Philippine Airlines», присевшая рядом со мной, впилась ноготками в мою руку и закрыла глаза.

Самолет, словно пьяный, опустился на землю. Его кидало и мотало по посадочной полосе из стороны в сторону. Наконец он остановился. Немногочисленные пассажиры этого рейса поднялись со своих мест с мертвенно бледными лицами.

— Я уже сколько раз говорила командиру экипажа, что в такую погоду он не должен доверять управление самолетом второму пилоту, — прошептала мне доверительно старшая стюардесса. — Тем более что все мы знаем, как он пьет!.. И пожалуйста, извините нас за поведение моей юной коллеги, это ее первый полет при тайфуне!

— Да нет, что вы… и спасибо! Да нет, мне было приятно, я имею в виду юную стюардессу, — пробормотал я смущенно и поспешил покинуть самолет.

На ветру стоял д-р К, директор филиала Гёте-Института, и улыбался. Он дружески подхватил меня под руку, словно собираясь с ходу прочесть лекцию о Маниле.

Это был очень симпатичный человек, лет сорока пяти, испытывавший маниакальный восторг от страны своего пребывания и сразу начавший прямо по дороге в город восхищаться всем типично филиппинским, обращая на то мое внимание, например на сплошь увешанные цветами и размалеванные jeepneys (маршрутные такси), красивую женщину и даже … вооруженных кольтами прохожих.

— Хотите познакомиться с типичной ночной жизнью Манилы? Я имею в виду не ту, что показывают туристам, а настоящую — грубую и без прикрас!.. Достаточно ли у вас для этого сил?

Я не хотел сразу показывать, что недостаточно, и ответил поэтому уклончиво:

— Там посмотрим!

Вечером он пригласил меня в свой приятный прохладный дом, я познакомился с его белокурой обходительной женой и только тогда понял, что он «свихнулся», как мы это потом называли. В его лихорадочной приветливости было что-то странное, и, когда я обратил внимание на сдержанные и взывающие к помощи жесты супруги, мне стало ясно: передо

мной человек, которого засосал местный колорит, вырвав его из собственной культурной среды, которую он был призван здесь пропагандировать и от которой практически полностью оторвался, начал уже утрачивать свои корни. Этот человек не чувствовал больше почвы под ногами и жил только восторгами по поводу всего того, что считал филиппинским.

— Ну, так давайте прошвырнемся по аду, чтобы у вас улетучились все иллюзии, — стал он настаивать на своем прежнем предложении после ужина. Я взглянул на потолок этого гостеприимного дома, откуда на нас сыпались дьявольские звуки гортанного смеха почти прозрачного желтого геккона[15]. Я бы с большим удовольствием побеседовал еще немного с его печальной женой, но она сидела молча, опустив глаза. И тогда мы отправились.

Мы вошли в темный бар, где при входе каждый должен был отдать свой кольт и подвергнуться личному досмотру. В конце вытянутого длинного зала с грязными заляпанными столами видна была огромная, залитая светом витрина, откуда, сбившись в кучку, словно куры, на каждого вошедшего с вызовом глядели девушки. Мы заказали несколько бутылок пива, нам поставили их на стол, не подав стаканов.

— Я покажу вам, как это делается, — сказал д-р К — Какую из девушек вы хотите?

Я не хотел никакой, мне было неприятно и стыдно, что я здесь нахожусь.

— Давайте выпьем пиво и уйдем!

— Нет, нет, мы здесь для того, чтобы посмотреть, на что способна человеческая натура. В целях изучения, так сказать, — добавил он, — и если вы не хотите выбирать, это сделаю я!

Он показал на одну из девушек. Она мгновенно появилась у нашего столика, скинула с себя не самым эротическим способом остатки одежды, пританцовывая вскочила неожиданно на стол — мой спутник, это я заметил не сразу, уже обернул горлышко пивной бутылки денежной купюрой, — и, сев на это горлышко и ловко вертясь, втянула гениталиями купюру в себя и спрыгнула со стола, ожидая повтора.

Я не испытал ни гнева, ни отвращения. Я чувствовал себя глубоко несчастным — этот человеческий зверинец таким беспардонным унижением миниатюрных женских созданий поверг меня в страшное уныние.

Я безвольно дал себя втянуть и в следующее приключение: на арене, окруженной, подобно боксерскому рингу, зрительскими трибунами, какая-то пара демонстрировала половой акт. Прилично выглядевшая публика из жирных белых мужчин с

рыжеватыми волосами аплодировала каждому толчку и громогласно приветствовала потом пару с великолепным завершением акта.

Я вышел оттуда, испытывая чувство стыда. Когда на следующий день мы снова увиделись с д-ром К, то не проронили ни слова о вчерашнем вечере. Ощущение было такое, словно нам обоим приснился дурной сон. Через несколько недель после моего визита д-р К погиб — его спортивный самолет врезался в вулкан Пинабао.

Едва ли еще в какой другой стране можно было увидеть в столь неприкрытой форме следы проявления инфальтильности общественных структур, как здесь, на Филиппинах. Это подтвердилось также, когда я стал знакомиться с состоянием книжного дела.

Я нашел достойных партнеров для переговоров в лице Андреса Кристобаля Круса, известного писателя и художника, и одновременно помощника директора «National Library»; Алехандро Росеса, писателя, директора издательства педагогической литературы, возглавлявшего также Комиссию ЮНЕСКО; Чельсо А. Карумунгана, писателя и журналиста, работавшего в «Philippines Times»; Альберто Д. Бенипайо, председателя «National Book Developing Council» Филиппин; Сокорро С. Рамоса, директора «National Bookstore», и Альфредо Рамоса, председателя Объединения филиппинских книготорговцев.

В 1553 году появилась первая «филиппинская» книга — «Шилу» (на китайском языке). Она хранится сегодня в Национальной библиотеке Мадрида(!). Вторая — «Doctrina Christiana» (на испанской языке) — является достоянием Library of Congress в Вашингтоне(!). Обе — так называемые первопечатные книги, оттиснутые с гравированных деревянных досок. «Libro de Nuestra Senora del Rosario» (1602) на тагальском языке — сегодняшнем языке страны — первая книга Филиппин, печатный набор которой был сделан с помощью литер.

Представляющая духовную ценность книжная продукция, начиная с появления первой печатной книги и вплоть до 1900 года, насчитывает около 6000 названий. С 1900 по 1969 год было издано примерно 20 000 наименований. Такое низкое число изданных книг объясняется тем, что этому островному государству дважды за его историю навязывался колонизаторами чуждый стране язык — сначала испанский испанцами (1565–1898) и потом английский североамериканцами (1895–1945). Необходимые для этого книги завозились из этих стран.

Языковая проблема играет на Филиппинах, как и во многих

других азиатских странах, важную роль. Английский и испанский имеют хождение на равных правах с местным языком — тагальским. По-испански говорят, правда, только в определенных интеллигентских кругах. Почти 75 % населения понимает и говорит по-английски. И поэтому США и Великобритания всегда были основными импортерами книжной продукции Филиппин. Из-за падения стоимости филиппинского песо книги эти, однако, так вздорожали, что некоторые из фирм-импортеров перешли на фотомеханический способ копирования печатной продукции, которую продавали за полцены оригинала, а иногда со скидкой до 300 %. Издательствам — держателям прав выплачивались 10–15 % с каждого проданного экземпляра.

То, что филиппинской книжной индустрии было так трудно встать на ноги, объясняется тем, что бумагу приходилось завозить из Скандинавии, Японии и США и ввозная пошлина составляла 30 % стоимости, тогда как импортируемая специальная литература этой пошлиной не облагалась, а налог на всю остальную литературу из-за границы также не превышал 1 %.

На Филиппинах, как и почти во всей Азии, не существовало развитой системы распространения книжной продукции. Правда, не составляло труда приобрести книгу в непосредственной близости от Манилы — заказ в магазинах розничной торговли или издательствах можно было сделать по телефону. Проблема эта вставала для удаленных сельских районов государства, расположенного на 7100 островах.

Сингапур

Город-государство Сингапур занимает по своим размерам половину территории Гонконга. В «современный мир» он вошел только с 1819 году с учреждением поста губернатора английских владений — сэром Томасом Стамфордом Рафлсом, колониальным завоевателем, склонным к ученым занятиям восточноазиатскими языками и культурами.

Книги и религиозные трактаты на английском и китайском языках публиковались с 1820 года в «London Missionary Society». Со времен Второй мировой войны издательская деятельность ограничивалась почти исключительно только газетными и журнальными публикациями. Различные школьные системы завозили учебные пособия из Индии, Китая, Малайзии и Великобритании. И хотя в то время, когда я туда приехал, местные издатели как раз пытались развить кое-какую инициативу, импортирование и реэкспортирование книг и

журналов было главным занятием сингапурских предпринимателей книжной индустрии. Используя здешнее исключительное географическое положение, относительно хорошее знание местным населением английского языка (английский наряду с малайским, китайским и тамильским является одним из официальных языков), колониальное прошлое и высокий уровень типографской печати, британские издатели всячески насаждали здесь филиалы своих крупных издательских фирм. Часть из них, такие, как «Longman» и «Oxford University Press», развернула потом активную деятельность в качестве самостоятельных сингапурских издательств, насыщая рынок прежде всего специальной литературой и произведениями массовой культуры. Книги для детей и юношества, учебные пособия научного и технического профиля, а также беллетристика в Сингапуре почти не издавались.

Итак, я прибыл в Сингапур — последнюю станцию моего путешествия — с целью зондирования стран Юго-Восточной Азии. Я чувствовал усталость и опустошенность от множества контактов, различия темпераментов, попеременной настырности уличных «секс-торговцев» и моей постоянной готовности к обороне — стоило только выйти, как тебе тут же предлагали «девочку, с гарантией девственницу!», и назойливый сутенер долго преследовал тебя, не отходя ни на шаг. Я страдал от навязываемой мне роли похотливого белого человека, стоило мне покинуть свой пятизвездочный отель, вечно осаждаемый дилерами всяческого рода услуг.

Время от времени я находил утешение, глядя на чье-нибудь человеческое лицо, например филиппинского музыканта в баре моего отеля, или только что обанкротившегося сингапурского издателя Дональда Мооре, или обвешанного геральдической атрибутикой индуса Чопра с его огромным красным тюрбаном на голове, или директрисы «National Library» госпожи Ануар, обладавшей необыкновенно живым умом.

В свой последний вечер в Сингапуре я, усталый и полный грустных мыслей, потягивал в баре отеля виски и обдумывал, что делать дальше. До начала World Bookfair в Нью-Дели оставалось почти еще две недели. Я слишком рано добрался до своего конечного пункта.

Я слез с табурета у стойки и расплатился, решив перед сном пойти еще раз прогуляться по улицам старого Сингапура. Меня сильно угнетала оторванность от привычного мира и та роль, которую мне здесь приписывали, принимая за богатого белого. Я вышел из отеля и глубоко вдохнул тропический, напоенный запахом олеандра ночной воздух. И сразу услышал:

— You like life exhibition, Sir: two men fucking a girl? Sir, I give you a good price! Sir, good price! («Хотите живое голое тело, сэр: двое мужчин и одна девушка? Я дам вам хорошую цену! Сэр, очень хорошую цену!»)

Я попытался стряхнуть привязавшегося маленького человечка, как назойливое насекомое. Но он был упрям. И изо всех сил вцепился в мой ремень:

— You want a special price? I make you special price. Which price would you like to pay, Sir? («Вы хотите получить особую цену? Я дам вам такую цену. Какая цена устроит вас за такие игры?»)

Я резко повернулся кругом, чтобы отпугнуть его, но сделал это неудачно — рука моя с размаху ударила его по лицу. В неясном свете раскачивающегося на ветру уличного фонаря я увидел, как он с широко раскрытыми глазами въехал на спине в огромную лужу. Я хотел помочь ему встать, но он сам быстро вскочил и помчался как бешеный прочь, ругаясь не то по-малайски, не то по-тамильски, и юркнул в ближайший темный переулок.

Теперь была моя очередь уносить отсюда ноги. Мне мерещилось, что из-за каждого темного угла впереди меня может вот-вот выйти с кривой ухмылкой на дергающемся лице малаец или тамилец — зря, что ли, я прочитал столько романов Джозефа Конрада[16]?

Задыхаясь от быстрой ходьбы, я добрался до отеля. Из своего номера я тут же позвонил в бюро путешествий в аэропорту, открытое круглые сутки. На следующее утро я сел в самолет, летевший в Калькутту, откуда на другой день решил переправиться на маленьком одномоторном самолете в Катманду — столицу гималайского государства Непал.

Калькутта

Перелет на комфортабельном «Виконте-Виккерс» авиакомпании Malayan Airlines был приятным и неутомительным: прекрасный сервис в салоне с 31 посадочным местом, широкие удобные кресла, как в гостиной дома. Около полудня из собственной бортовой кухни вышел повар и спросил, кто что желает отведать. Облюбованный бифштекс подали «с кровью», как и было заказано. После разнообразного меню подали филиппинские сигары и коньяк Довольные и сытые, парили мы над облаками. Издавая равномерный гул, машина спокойно летела по заданному маршруту.

Но в тот же вечер я вдруг снова окунулся в кошмарный сон. Калькутта — город, с которым у меня потом установятся совершенно особые отношения, — был наводнен в те дни более чем двумя миллионами беженцев из Бангладеша, совсем недавно отделившегося от Пакистана и провозгласившего собственное государство.

После посадки нас, пассажиров, провели через затемненный аэропорт в старый грязный автобус, напоминавший своими зарешеченными окнами скорее транспорт для заключенных. Автобус тронулся, но все время застревал в толпе черных людских масс, медленно колыхавшихся на ночных улицах. Сопровождавший нас солдат выходил, пытаясь расчистить дорогу. Кое-где на проезжей части лежали люди, их относили в сторону. Мы с трудом воспринимали происходящее, многого не понимая в темноте. Свет от редких фонарей едва пробивался сквозь едкий желтый туман, поднимавшийся в ночи от сжигаемого навоза неясного происхождения.

Через несколько часов мы добрались до отеля, похожего на крепость. Ни у кого из путешественников, также выбравших Калькутту пересадочным пунктом для дальнейших перелетов в другие азиатские регионы, не было желания расходиться по темным, освещаемым только одной свечой номерам. Мы все собрались у пожилого американца. Каждый принес все, что у него было, из алкоголя и освещения. Там мы и прождали до рассвета, рассказывая свои истории и делясь азиатскими впечатлениями. Здесь, в этом мрачном калькуттском отеле, ощущая натиск угрозы со стороны внешнего мира, я испытал такую желанную для себя близость локтя, естественное родство людей, но, к сожалению, мы опять были «все свои»: европейцы, американцы и несколько европеизированных индусов.

Катманду

А потом я прибыл в Катманду. И ощутил полную свободу: здесь у меня не было никаких деловых обязательств, и меня охватило настроение человека, приехавшего в отпуск.

Я взял напрокат велосипед и покатил по долине Катманду в город Бхактапур. Там я встал в пять утра и пошел вслед за женщинами с вязанками хвороста на спине, пытаясь воспроизвести их гармоничные движения. Я поднялся к Храму обезьян, где пробыл до заката солнца, наблюдая природу, фотографируя, наслаждаясь жизнью. Здесь наконец-то я смог отделаться от томительно-гнетущего ощущения чужбины. Никто

не досаждал мне. Изредка даже посылали приветливые улыбки. Здешний монах объяснил мне ритуал моления перед молитвенными мельницами.

Милый приветливый народ! Где бы и о чем бы я ни спрашивал, всегда и везде получал доброжелательный ответ. Я не уставал восторгаться особой покачивающейся походкой непальцев. И все время пристраивался позади кого-нибудь, стараясь научиться ходить точно так же. Мне хотелось постичь тайну этой походки. Если путник оборачивался и видел мои неуклюжие попытки, он только беззлобно смеялся и шел дальше.

Непал был в то время страной, где не запрещалось потреблять наркотики. Этим он сильно привлекал к себе европейскую и американскую молодежь. Я уже прошел через *шестьдесят восьмой год*, когда у меня дома молодежь без стеснения раскуривала «травку». Но сам я, однако, никогда не прикасался к этому «чертову зелью». А здесь, на «крыше мира», прямо под Большой медведицей, я тоже решил попробовать, что же это такое?

В своем отеле я примкнул к веселой компании молоденьких американок, у которых на уме было то же самое. В каком-то заведении мы съели сначала по тарелке пудинга с гашишем, а потом так долго курили его, пока девушки, «тащившиеся» от «жутких» галлюцинаций, не начали громко кричать. Я почти ничего не чувствовал, кроме нарастающей дурноты. Пришлось приложить немало усилий (а звездное небо было так близко, что я даже пригибался), чтобы в целости и сохранности доставить визжащих девчушек в отель. На следующий день я мучился страшной головной болью, даже начал косить. Что же было в том пудинге? Неужели это и есть тот самый знаменитый эффект «травки», вызывающей эйфорию? Для меня все это кончилось так же, как и затея с деревянным ружьем в детстве, когда эффект выстрелившей палки произвел на меня оглушительное впечатление. Никогда больше я уже не испытывал потребности повторить это ощущение.

Однако мне не хотелось провести здесь время совсем уж без всякой пользы для воплощения моих профессиональных интересов. Издательств в Непале почти не было, во всяком случае, в телефонной книге я их не нашел.

Советник по культуре в немецком посольстве связал меня с издательством «Sajha Prakashan», и вот я уже сидел в Катманду напротив приветливого господина Камалмани А. Диксита и директора его издательства Нарендры Бикрама Панта и рассказывал им обоим, этим рассудительно кивающим головой издательским работникам с типичным непальским кепи на

макушке, о далеком-далеком отсюда, по их понятиям, экзотическом месте встречи издателей всего мира — Франкфуртской книжной ярмарке.

Я узнал, что большинство непальских книг печатаются и издаются не в Непале — гораздо выгоднее это делать в Варанаси в Индии. Бумага и типографские расходы там значительно ниже, чем в Катманду, и, кроме того, наличие 2000 типографий дает возможность сравнить цены и заключить выгодную сделку. Но в пограничном с ними районе Дарджилинг в Западной Бенгалии (Индия), где многие говорят на языке непали, издается много непальских книг.

Я вежливо распрощался, убежденный, что на издательском фронте здесь мало что происходит. И стал готовиться к переезду в теперь уже действительно конечный пункт своего путешествия — Нью-Дели.

Эта встреча совершенно выпала из моей памяти, когда мне за два дня до начала работы книжной ярмарки осенью того же года позвонили из бюро обслуживания Франкфуртского аэропорта и сообщили, что одиннадцать непальских издателей в типичных национальных костюмах и без единого пфеннига в кармане прибыли из Непала и спрашивают «господина Вайдхааса с Франкфуртской книжной ярмарки».

Нью-Дели

Индия уже и тогда причислялась к важнейшим странам мира, производителям широкой книжной продукции. После Японии она занимала в Азии второе место. Если сравнивать мировые показатели, то годовая продукция примерно 12 000 наименований выводила ее после СССР (74 600), США (62 000), ФРГ (33 400), Японии (31 000), Испании (20 000) и Франции (18 600) на восьмое место в мире.

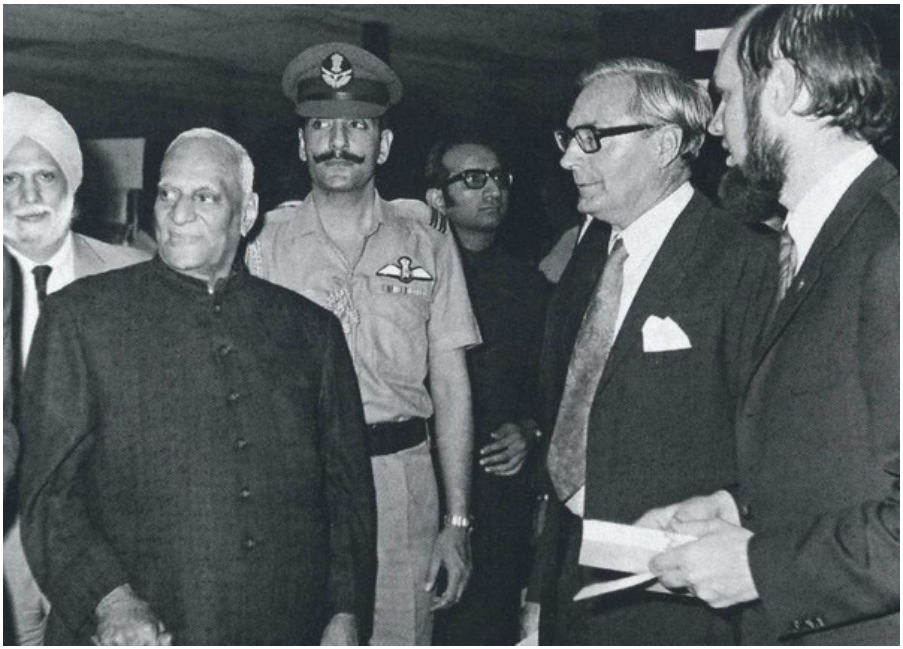
Но если рассматривать те же данные в пропорциональном отношении к численности населения (тогда оно составляло 550 миллионов), то средние годовые показатели оказывались довольно низкими. Средняя мировая цифра изданных наименований была равна приблизительно 130. Для Азии — 50, а для Индии — всего лишь 25. Примерно такая же картина складывалась и относительно средних данных по тиражам в Индии и других странах. Одно наименование из жанра non-fiction-литература, изданное на хинди, маратхи, бенгали, гуджарати, тамильском или другом индийском языке, редко имело тираж свыше 1000 экземпляров. Книги, опубликованные на

английском языке, выходили тиражами примерно в два раза больше. Это означало, что число ежегодно прочитываемых на душу населения страниц не превышало в Индии 32 против 2000 в ведущих книжных странах мира.

Цифры эти давали картину тех проблем, с которыми сталкивалась страна в книжном секторе и все еще продолжает сталкиваться. К этому стоит добавить парадоксальную ситуацию, что число неграмотных, несмотря на огромные усилия и успехи в области ликвидации неграмотности, постоянно росло. Для 60 % индусов печатное слово оставалось недоступным. Причина — быстрый рост населения страны.

Работа по регулярному проведению книжных выставок началась в 1964 году с организации Всеиндийской книжной выставки в Нью-Дели, на которой было представлено около 18 000 названий книг, выпущенных на всех основных национальных языках. Первая индийская книжная ярмарка 1972 года стала в связи с провозглашением ЮНЕСКО Международного года книги сразу же Всемирной книжной ярмаркой — World Bookfair.

События в Восточном Пакистане (Бангладеш) поставили, однако, проведение ярмарки, намеченное на январь, под вопрос. Индийское правительство заняло позицию сочувствия освободительному движению, что привело к войне с Пакистаном, и все международные мероприятия были отменены. Но удивительно быстрый конец войны способствовал, однако, нормализации отношений, так что правительство Индии и Book Trust решили в короткий срок снова назначить проведение World Bookfair с опозданием всего на два месяца.



Президент Индии В. Гири у стенда ФРГ в день открытия «World Bookfair» в Нью-Дели в 1972 г. Сзади него — директор книжной ярмарки Дуггал

Конечно, некоторые страны отказались принять участие, но в общем и целом складывалось впечатление, что дружеские зарубежные объединения, организаторы и издатели не захотели обрекать своих индийских партнеров в такой ситуации на изоляцию, в итоге на импровизированной территории выставки на площади Виндзоров в Нью-Дели присутствовало, несмотря на трудности, вызванные перенесением сроков, солидное количество иностранных коллективных экспозиций.

Широкое участие приняли Великобритания, Северная Корея и Советский Союз. Советские издательства построили даже собственный павильон. США были представлены стендом одного издательства, Япония тоже. Зато Франция, Венгрия, Чехословакия, Югославия, Ирландия и Кения прислали коллективные экспозиции, ГДР и мы — «западногерманские немцы» — тоже.

Руководителем гэдээровского стенда оказался любезный и любознательный молодой человек, проявлявший особый интерес к индийской литературе и по этой причине, естественно, пользовавшийся особой благосклонностью хозяев. Он водрузил в центре своего стенда для привлечения всеобщего внимания

самую «большую книгу» на всей World Bookfair — факсимильное издание атласа, подаренного принцем Иоганном Морицем из Нассау-Зиген великому курфюрсту, — и добился этим многократных сообщений о своем стенде в индийской прессе под крупными заголовками.

При совместных появлениях на мероприятиях международного масштаба немцы — «те и эти» — всегда поглядывали друг на друга неприветливо, а их посланцы реагировали довольно нервно, если тому или другому удавалось вырваться вперед и привлечь к себе больше внимания. Поэтому я немедленно откопал «самую маленькую в мире книгу» — вручную изготовленный экземпляр из музея Гутенберга в Майнце (с тех пор мы всегда возим с собой несколько экземпляров этой книги в качестве подарка нашим гостям) — и вырвался вперед. «Самая маленькая» и «самая большая» книга двух враждующих «братьев» на ярмарке обеспечили новые крупные заголовки, на которые не поскупились газетчики. Так мы впервые вступили в диалог: директор издательства «Фольк унд Вельт» Юрген Грунер из Восточного Берлина и я, «молодой человек» из отдела зарубежных выставок Биржевого объединения во Франкфурте-на-Майне. То, что между нами при совершенно изменившихся обстоятельствах установятся потом непривычно дружественные отношения, мы тогда даже предположить не могли.

Все полученные сведения делового характера и по технике проведения международных выставок, собранные мною за время путешествия по Азии, я тут же передал по возвращении в дирекцию Франкфуртской книжной ярмарки и своему коллеге Шмидту-Браулю, который потом в течение двух лет занимался этим регионом и организовал там не одну выставку немецкой книги.

А я снова занялся своей работой, словно никуда и не уезжал. Какое-то время я еще удивлялся, что меня даже никто ни о чем не расспрашивает, не хочет узнать, что я видел, что пережил. Несколько сотен цветных слайдов, которые я нащелкал, чтобы рассказывать потом о выставке с иллюстрациями, никто не пожелал увидеть — ни в семье, ни на работе. Я вдруг понял, что моя деятельность неконкретна и неосязаема для моего общественного окружения. В дальнейшем я отучил себя от всякого ожидания интереса в этом отношении и совершенно перестал фотографировать во время поездок.

Только разве не живут в памяти запечатленные в кадре друзья, коллеги, родственники, семья, когда мы снимаем друг друга? Разве мы не демонстрируем этим, не рассказываем без конца, что делаем, о чем думаем, какие поступки совершаем,

надеясь быть «оцененными» по достоинству? И разве этим «признанием» других не формируем свой собственный имидж? Подвергнутый критике со стороны или получивший признание, вызвавший зависть и восхищение окружающих, он постоянно претерпевает изменения. Однако только при этом бесконечном преображении и возможно формирование в человеческом сознании стабильного чувства собственного достоинства.

И я не очень также удивился, когда после своего путешествия установил, что все инородное, что доставляло мне в далеких краях такое наслаждение, и здесь продолжало жить во мне как бы против моей воли. Я уехал отсюда многие годы назад, чтобы понять и найти свою родину: Куда же я прибыл, где оказался в своих поисках пути «назад», в своем неутолимом желании быть частью этого национального пространства?

Глава 15
Год решений

В некоторых частях света, например в Латинской Америке, у меня складывалось иногда впечатление, что меня принимают за своего, но в Азии эти иллюзии оказались разбитыми.

А что в Германии? Здесь я угнездился с семьей, которая не смогла интегрироваться в чужеродную для нее среду, и я все время чувствовал необжитость своего «дома», да и с несчастной родиной меня связывали в конце концов только непрочные узы контракта о найме на работу, по условиям которого я опять же чаще находился на чужбине.

Напуганный собственными мыслями, я на мгновение оторвался от целеустремленной ответственности безупречного исполнения долга и с ужасом констатировал, что сбился с верно взятого, как мне казалось, следа.

Я хотел вернуться назад, в страну «своих корней». Я верил, что это возможно, нужно только овладеть «приличной» профессией. И тогда я окажусь «внутри», найду свое место. Но на поверку оказалось, что настойчивое и страстное желание моей юности — «находиться снаружи» — так и не стало лишь эпизодом моей биографии.

Как нельзя было сделать так, чтобы не было Аушвица, так и тому, для кого Аушвиц стал частью его прожитой жизни, отрезком его истории, нельзя было просто взять и прошмыгнуть «мимо» него назад. Аушвиц разрушил иллюзии, будто жизнь может снова стать такой, какой была «до того». Разрушено было изначальное, прирожденное доверие к родине, с тех пор каждый двигался дальше как по скользкому льду, тонким слоем прикрывавшему затаившиеся в глубине чудовищные свойства человеческой натуры.

Я не мог чувствовать эту страну своим домом, находиться среди этих людей, открывших полный ужасов и бед «ящик Пандоры» и убивших тем самым веру в духовно-культурное предназначение человека.

Поэтому я так и поступал, прежде чем осознал все это, — инстинктивно искал другую почву, надеясь укорениться там, быть принятым за своего, интегрироваться в другое общество. Все мои усилия в Дании, попытка создания собственной «иностранной» семьи, маниакальное стремление добиться тесного и глубокого контакта с людьми других стран, куда меня забрасывала деловая активность, стали мне вдруг разом понятны.

А если все это так, тогда что я здесь делаю? Не лучше ли, действуя последовательно, сделать решительный шаг и перебраться в другую культурную среду? Разве не находил я всегда радушного приема в Латинской Америке? Может, раз и навсегда порвать наконец с этим желанием обрести свою немецкую идентичность?

Я уже не верил так непоколебимо в безоблачное будущее и не был таким отчаянным романтиком, как еще несколько лет назад. Меня мучили сомнения, смогу ли я сжечь все мосты и уехать со своей семьей в Латинскую Америку.

Может, во всем виновата та непримиримая позиция конфронтации, которую я занимал по отношению к своей латиноамериканской жене весь франкфуртский период? Однако я опасался и того, что попаду «там», за океаном, с явными чертами немецкого характера и немецким менталитетом, который невозможно скрыть, в изоляцию и окажусь в полном одиночестве.

Но решение все равно надо было принимать, потому что поездка в Азию показала мне, что длительного пребывания в таком зыбком пространстве — между «внутри» и «вне» — я долго не выдержу. Я хотел определенности, четкого решения, но не хотел принимать его с кондачка. Тайком я все время искал аргументы «за» и «против».

И вдруг мне представилась великолепная возможность досконально изучить проблему еще раз на месте — мне предложили разведывательную командировку в Мексику. Кроме того, нужно было отследить все возможности проведения выставок в странах, расположенных в Андах, а также в Центральной Америке. Я с радостью ухватился за этот шанс. Мне хотелось попристальнее изучить этот континент, поближе познакомиться с ним, как со своей потенциальной родиной, и я решил, что буду передвигаться там только по суше.

Опыт поездки в Азию явился для меня своеобразным толчком: чем дольше и интенсивнее раздумывал я по поводу своего вечного неудовольствия, возникавших в связи с этим проблем и тяги ко всему чужому, тем четче осознавал, что в моей жизни грядут перемены. Я не мог и не хотел работать и дальше в этой фирме. Мне опять хотелось отправиться куда-нибудь в дальний путь. Куда, я еще не знал. Но мне становилось все яснее, что работа здесь и то, чем я занимался прошедшие пять лет, не могут составить мое будущее. «Уж так и быть», еще только вот эту последнюю большую поездку в Латинскую Америку я готов «для них» сделать, а потом — прощайте! Надо только постараться не запустить до тех пор свои ежедневные дела. И я с внутренним ожесточением продолжал усердно отдаваться своей работе в

отделе зарубежных выставок при Франкфуртской книжной ярмарке.

Так обстояли дела, когда в середине декабря 1972 года меня неожиданно вызвал к себе Зигфред Тауберт. С таинственной серьезностью на лице он закрыл за мной дверь, чтобы сообщить то, что знал на фирме каждый, а именно: в год шестидесятилетия, то есть в 1974 году, он оставит свой пост. И после этого сказал еще таинственнее: он собирается предложить меня в качестве своего преемника!

— Ну, что ты на это скажешь?

На лице у него застыло выражение радостного ожидания, при этом он не спускал с меня глаз. Что я мог сказать на это? Я знал, что он уже давно присмотрел другого кандидата себе на замену — д-ра Мюллера-Рёмхельда, предпредшественника на моем теперешнем посту. Тот уже ездил в духе предвыборной кампании от одного члена Наблюдательного совета к другому.

Д-р Мюллер-Рёмхельд был любезным господином, правда, немного тяжеловатым, он как бы олицетворял собой солидность, кроме того, был лет на десять старше меня — приземистый, ровный, надежный человек. Что побудило Тауберта добавить в предвыборном марафоне к этому ходячему монументу такого беспокойного, все еще не устаканившегося тридцатипятилетнего «левака», каким я повсюду слыл, подталкивая меня вспрыгнуть на ходу на ту же карусель? Может, он хотел подстраховаться? Как-то не верилось в неожиданно проснувшуюся в нем симпатию ко мне. Хотя бы потому, что наши отношения, мягко говоря, постоянно были натянутыми!

Не говоря уже о том, что я не видел своего будущего в этих стенах, о чем пока объявить еще не мог. Я ведь хотел съездить сначала в Латинскую Америку. Только после этого я смог бы, вероятно, подать заявление об уходе!

Со словами: «Я подумаю», — покинул я кабинет разочарованного директора, и в последующие дни усиленно старался забыть о неожиданно свалившейся на меня перспективе. Я стремился прогнать мысли о лестном предложении, поскольку считал, что у меня нет никаких шансов победить на выборах в Наблюдательном совете. То, что предложение исходило от Тауберта, перманентно находившегося в сложных отношениях со всем Наблюдательным советом, было для меня скорее минусом, чем плюсом. И кроме того, я уже встал на путь трудной борьбы с самим собой, чтобы оставить эту деятельность. Я только просто еще не знал, куда пойти!

Но как это обычно бывает — ночью перед сном, или в машине за рулем, или днем, когда задумаешься, сидя за письменным

столом, — я вдруг стал ловить себя на мысли, а что, если?..

Кончилось тем, что я договорился о встрече с Клаусом Г. Зауром, которого знал по Бразилии, — он был знатоком мнений, складывавшихся в здешних издательских кругах. Мы встретились во франкфуртском кафе «Кранцлер». Что он думает по поводу моей кандидатуры и как расценивает мои шансы?

Кто знает Клауса Г. Заура, тому легко представить, как протекал этот разговор. Он без конца рассказывал анекдоты про одного и про другого, доказывая этим, насколько вхож в высшие круги. Я не прерывал его, чтобы не выдать своей заинтересованности. Наконец в гардеробе, когда он уже собрался распрощаться, я спросил:

— Господин Заур, но вы так и не ответили на мой входящий вопрос.

— Входящий вопрос? Ах, да! Не питайте слишком больших надежд!

Ну, я и не собирался. И как-то с облегчением вообще оставил эту тему. Но Тауберт напоминал мне о том, что я должен дать ответ. Постепенно он начал сердиться, поскольку рассматривал сделанное предложение как знак оказанного доверия. А я все еще не был готов просто махнуть на это рукой, что было бы более чем последовательным с моей стороны, поскольку с каждым днем убеждался, что после поездки в Латинскую Америку уйду из фирмы. Но я все оттягивал, не давая Тауберту ясного ответа.

В начале февраля 1973 года я занялся подготовкой другой поездки — в Финляндию. Мы хотели провести специальную выставку книг по архитектуре в Лаппенранте, Оулу и Турку. В Гамбурге я прервал полет в Хельсинки ради короткого визита к д-ру Матиасу Вегнеру, который стал недавно председателем Наблюдательного совета. Д-р Вегнер принял меня чрезвычайно любезно в своем кабинете в «Ровольт-ферлаг» в Рейнбеке. Он тут же призвал меня приложить все силы к тому, чтобы получить должность директора Франкфуртской книжной ярмарки. Сам он готов был подключиться мне в помощь. В тот же вечер я отправился дальше, погруженный в раздиравшие меня противоречивые мысли.

Через три дня в Лаппенранте, в воскресенье, я гулял по льду, местами такому прозрачному, что, казалось, идешь по воде. Позднее, вернувшись в свой маленький, немного затхлый отель «Patria», я взял бумагу и карандаш и написал: «Обзор жизни за последние годы. Отчет». Я явно нуждался в направляющей линии!

Не зная, что написать дальше, я вытащил из своего багажа книгу, которую уже давно хотел прочитать: Франц Фанон «Вставай, проклятьем заклейменный!». Вечером я пошел в

ресторан, где были танцы. Я немного поел, с интересом наблюдая за отжившим свой век мелкобуржуазным ритуалом, это развлекло меня. И вдруг почувствовал, что книга Фанона проняла меня.

Возвратясь во Франкфурт, я сообщил Тауберту о согласии выставить себя в качестве кандидата на пост директора. Я был убежден в бесполезности этого шага, но не хотел позднее, если с Латинской Америкой дело все-таки не заладится, упрекать себя в том, что даже не попытался попробовать. И вот наконец наступил день моего отъезда в Мексику. Жена должна была сначала отвезти детей в Аргентину, а потом присоединиться ко мне.

Путевой дневник

Мексика

1-й день поездки, 6 марта 1973 г.

Вылет в Амстердам. Час спустя — пересадка. Впервые на «Боинге-747» через Монреаль и Хьюстон в Мехико (в общей сложности 16 часов полета). В просторном салоне огромного лайнера ощущение полета теряется!

В аэропорту меня встречает Клаус Тиле со своей спутницей жизни Беатрис и белокурым мексиканцем Басурто из фирмы по импорту книжной продукции «Liteха Mexicапа».

2-й день

Господина Франка, референта по культуре при немецком посольстве, прождал полчаса, тот никак не мог найти свое начальство — не человек, а зануда! Обсуждение с Басурто и Клаусом Тиле в «Liteха Mexicапа» перспектив рынка немецкой книжной продукции. Затем в «Санборн» — ресторан и книжный магазин одновременно. Оттуда в книжный магазин «Central de Publicaciones». Вопрос к директору г-ну Мисрачи: как организована книжная торговля в Мексике?

4-й день

Г-н Коницки из Фонда им. Фридриха Эберта от встречи отказался, сослался на болезнь. «Libreria Alemana de Ultramar» — немецкий книжный магазин рядом с немецкой школой и филиалом Гёте-Института. Владелица Маргрит Кляйн — немного капризная особа. Много устаревших книг. В продаже в основном иллюстрированные журналы и учебники.

Затем в «Libreria Internacional»: основанный в 1941 году книготорговцем из Вены Рудольфом Нойхаузом, этот книжный магазин вскоре переориентировался с немецкой беллетристики на англо-испанскую научную литературу. Однако теперешний владелец Роберто Кольб все еще ощущает себя посредником

между Европой и Латинской Америкой. Он продал значительную часть акций своего магазина, равно как и своего педагогического издательства «El Manual Moderno», голландскому издательству «Elsevier».

5-й день

Суббота. Я ложусь на газон в парке «Ундидо», до отказа уставленный каменными фигурками и головами воинов ацтеков, ольмеков и майя, и принимаюсь читать «Педро Парамо» Хуана Рульфо. Еду потом с Клаусом Тиле к базилике Нуэстра Сеньора де Гуадалупе. По пыльной площади к церкви ползут на коленях верующие индейцы. Это самоистязание и самоуничижение перед лицом католической церкви, которая поставляет мученикам как утешение, так и благословение, эксплуатируя их веру, глубочайшим образом удручает меня.

Когда я стою в Тлательолько на площади Трех культур, где в 1968 году, в преддверии Олимпиады, было расстреляно свыше 200 студентов-демонстрантов, всеохватное чувство уныния все еще не покидает меня.

7-й день

В половине девятого завтрак с Дитером Коницки и его мексиканской женой. К. — живой, неугомонный тип. Идеи так и фонтанируют, и им нет конца. Я начинаю чувствовать симпатию к этому человеку. Чуть позже к нам присоединяется молодой издатель Карретеро. Пока К. принимает двух других посетителей, Карретеро обрисовывает мне положение мексиканских издательств и их проблемы.

Я ощущаю некоторую усталость. И дело тут не только в ураганном огне, обрушенном на меня сверхэнергичным К. Боюсь, что это реакция организма на высокогорное положение Мехико (2300 м). Все время покрываюсь от слабости потом, и кружится голова.

8-й день

В турагентстве «Koch Overseas» никак не могут найти мой авиабилет. Еду с референтом по культуре г-ном Франком в Национальную библиотеку: да, мы сможем предоставить вам помещение для выставки, говорит директор де ла Торре. До позднего вечера переговоры в «Camara Nacional de la Industria Editorial» — Книжной палате, членство в которой обязательно для всех издательств.

9-й день

Рейса в Гвадалахару, на который я зарезервировал билет, вообще не существует. Лечу чуть позже в переполненном самолете.

Директор филиала Гёте-Института Эрнст Йегер приходит ко

мне в гостиницу. С самого начала веду с ним разговор в открытую. Именно он создал здесь филиал Института. Такой нонконформист, что называется, self-made man, т. е. обязанный всем самому себе. Он критичен и к делу относится заинтересованно. Готов горы свернуть! Мы с ним одного поля ягоды! Мне он нравится. Но уже при первом разговоре замечаю его ранимость, которую он пытается скрыть за осторожным цинизмом.

10-й день

С женой Йегера Хельгой с утра в кармелитский монастырь — возможное помещение для выставки в их «Доме культуры». Затем к господину Прёльсу — не в меру консервативный немецкий консул. Книжные магазины «Casarubias», «Estudantil», «Monaco». Вечером: президент Объединения издателей Кусси и исполнительный директор Варела.

13-й день

Спал не более трех часов. Воскресенье. Перелет на север Мексики, в Монтеррей, расположенный очень красиво в горах Восточной Сьерры-Мадре. Но при въезде в город нас накрыло серо-зеленое облако смога, причина которого множество заводов черной и цветной металлургии. Головная боль. Побегал по городу. Немного поел в парке. Купил газет. Прочел их на скамейке. Скверные певцы и скучный Festival de Artesania (выставка-продажа предметов декоративно-прикладного искусства) на рыночной площади.

14-й день

Вместе с консулом Шееде и референтом по культуре Г. посетили губернаторский дворец, университет, театр и политехнический институт — осмотрели потенциальные помещения для выставки. Потом обсудили все детали в аргентинском ресторане. Весь вечер вместе с Г.: безнадежный болтун!

15-й день

В девять утра Шееде уже у меня в гостинице. Отправляемся в консульство, не очень ясно представляю себе, о чем там буду говорить. Едем потом к реке Рио-Санта-Катарина, где на авенида де ла Конститусьон находим запасной вариант для выставки в здании страхового общества. Встречаемся с аристократом Гомесом, директором книжного магазина «Libreria Cosmos». Пресс-конференция в кафе. Едим на скорую руку в «Санборне». На аэродром: беспокойный перелет в Мехико. Там — в Перугино к Клаусу Тиле. Принял душ. Немного поел. Опять на аэродром. Прилетает Дора, моя жена. Судорожное напряжение постепенно ослабевает. Не потому ли, что мы в Латинской Америке?

16-й день

Пятница — день рождения национального героя президента Бенито Пабло Хуареса (1806–1872), защитившего Мексику от франко-британо-испанской интервенции и расстрелявшего под конец несчастного габсбургского кайзера Максимилиана. Еду утром с Клаусом и Дорой на трамвае к плавающим садам Очимилько. Там, на одной из барж, разукрашенной искусственными цветами, поели кукурузных лепешек Труппа мексиканских музыкантов — скрипачи, трубачи и гитаристы — играет на сопровождающей нас лодке свою задорно-шаловливую и одновременно сентиментальную мелодию. Затем пеший пробег по пыли к рынку.

Вечером на метро к площади Сокало с подсвеченным кафедральным собором. Поднимаемся в ресторан, что на крыше старой гостиницы «Majestic», и заказываем текилу. Отсюда прекрасный вид на всю площадь. Здесь находился центр города ацтеков Теночтитлан, на развалинах которого Эрнан Кортес приказал воздвигнуть столицу колонии Новая Испания. Ощущение примерно такое же, какое я испытал на Красной площади в Москве: с незапамятных времен здесь царила власть.

17-й день

С утра пытаюсь по очереди связаться с Франком, Коницки, Шмидтом и Карретеро.

У Франка пока для меня ничего нет. Коницки уехал в IXMIQUILPAN, где он руководит индейским проектом. Шмидта никак не могу застать. Карретеро в отъезде. Отказываюсь от встречи в Музее современного искусства.

Направляюсь в Гёте-Институт к Шмидту, чтобы получить хоть какую-то информацию. Он явно ко всему охладел. Иду к Кольбу в магазин зарубежной книги. Кольб:

— Чем могу вам помочь и что я буду с этого иметь?

18-й день

На 9 утра назначена встреча в «Liteха» с Басурто, который, по всей видимости, знает кое-каких людей и готов меня сопровождать. Прождав напрасно целый час, ухожу, вместе с Дорой мы отправляемся во Дворец изящных искусств, великолепное сооружение в стиле «модерн», из белого каррарского мрамора. В вестибюле меня восхищает и приводит в волнение настенная роспись великого мексиканского художника-монументалиста Диего Риверы — «Человек на распутье».

Среди колес, механизмов и цилиндров белокурый(!) человек — правая рука на рычаге управления, пальцы левой на кнопках электронного прибора. Человек управляет сложной машиной, огромное колесо которой — часть динамо-машины — образует

задний план. В центре пересекаются два эллипса, выполненные в светлых тонах, третья рука — рука ученого — протягивает зрителю циферблат, который при ближайшем рассмотрении оказывается набором символов атомов и живых клеток.

В одном из пересекающихся эллипсов, похожем на крылья стрекозы, принадлежащие, однако, человеку, отображен макрокосмос: Солнце, Луна, звезды и галактики, в другом — микробы и бактерии микрокосмоса. Так вырисовывается позитивистская картина — апология человека, сделавшего ставку на самого себя, человека-изобретателя, радующегося своим открытиям, человека-созидателя, неудержимо стремящегося вперед.

Но Диего Ривера, убежденный коммунист и сострадающий современник, конечно, знает, что путь человечества в лучший мир пролегает не только через его научные познания или опыт философского мышления. Несколько затененный задний план картины, занимающей 50 м^2, показывает наше общество, втянутое в ужасные противоречия, в которых оно погрязло. По бокам эллипса, символизирующего собой микробы эпидемий и болезней, маршируют стройными рядами колонны солдат с примкнутыми штыками, поддерживаемые с тыла танками и бомбардировщиками. В творческом порыве художник помещает в центр происходящего сцену из жизни крупной буржуазии — где пьют, курят, играют и танцуют — и в то же время как бы перекрывает ее наплывающей частью эллипса, вобравшего в себя микробиологию всевозможных венерических болезней.

На противоположной стороне под высвеченной частью эллипса с изображением планет, звезд и галактического тумана художник поместил трудящихся нового общества, марширующих в борьбе за мир, и молодежь во время массовых спортивных выступлений. Под ними — Ленин, взирающий на все мизантропическим взглядом и соединяющий руки людей всех рас и всех сфер труда в этом новом обществе.

Завороженный и растерянный, стою я перед этой картиной, которая так много говорит об идеях нашего времени. Растерянный, потому что не нахожу в ней ничего, что можно было бы соотнести с моей жизнью, надеждой или верой. Я чувствую себя ничтожным насекомым, ползущим по этой излучающей силу и энергию картине, удивляюсь этим могучим, захватившим наше столетие идеологическим системам, с которыми у меня нет ничего общего.

Моя жена разражается потоком слов восхищения, которое относится не столько к впечатляющим творческим решениям художника, сколько к содержанию изображенного, образу идей,

воспетых в картине. В это мгновение я ощущаю, что стыжусь своего слабого и презренного индивидуализма, который вряд ли сможет как-то помочь мне противопоставить что-либо окружающим нас мощным идеологиям.

19-й день

Решаю поехать на автобусе в IXMIQUILPAN, это за городом, чтобы повстречаться с Дитером Коницки и обсудить с ним мои идеи и планы относительно выставки. Нахожу его там. Он, как шаровая молния, носится по помещениям, непрестанно что-то решая на ходу и выплескивая новые идеи. Он работает тут с коренными индейцами из народа отоми над проектом, субсидируемым Фондом им. Фридриха Эберта, согласно которому в Центре обучают так называемых «продвинутых» индейцев, знающих испанский, — они получат образование в объеме шести классов и будут потом работать в собственной культурно-этнографической среде: отоми учат отоми. Смысл этой программы в том, чтобы интегрировать индейцев в мексиканское общество, не дав им при этом утратить собственные культурные корни.

Обедаем с Коницки в ресторане при бассейне. Я сообщаю ему о своих планах. Он внимательно слушает, нетерпеливо покусывая карандаш и одобрительно кивая. А потом начинает самозабвенно рассказывать о своем проекте.

В час ночи бредем с Дорой сквозь ночную тьму в соседнюю деревню, где остановились на ночлег.

20-й день

Безоблачное небо, светит солнце. Сидим на лекции по истории для обучающихся отоми. Затем едем на барбекю: мясо барашка кладется на раскаленные камни, укрывается банановыми листьями и опускается в земляную яму. Там оно доводится до готовности.

Вечером возвращаемся автобусом в Мехико. Два с половиной часа езды.

23-й день

Господин Франк, которому я сообщаю, что планы относительно выставки и семинара уже более-менее прояснились, опять заставляет меня дожидаться его в посольстве битый час. Такой уж у него стиль. Потом бегом в мексиканское министерство иностранных дел. Ставлю там в известность д-ра Глорию Кабальеро, которая одобряет наши планы.

В последнюю минуту успеваю на стоянку междугородного автобуса, где уже ждет Дора. Примерно два часа едем по грандиозной автостраде через горный перевал в Пуэблу — немного запущенный колониальный город. Облицованные

кафелем стены домов свидетельствуют о его былом благосостоянии. Технику изготовления фаянсовых цветных изразцов, коими облицованы фасады домов и выложены внутренние дворики во всех колониальных городах, испанские поселенцы привезли с собой из провинции Толедо.

Сразу по прибытии визит в книжный магазин госпожи Вирт, потом в книжную лавку «Letran». Оттуда в дирекцию Общества содействия культуре, где меня встречают приветливо и благожелательно. Немецкий консул господин Венцель звонит позже в гостиницу «Сан-Мигель», где нас размещают очень уютно.

24-й день

Собачий холод. Все то же мексиканское нагорье (2160 м). От находящегося поблизости покрытого снегом вулкана Попокатепетль дует ледяной ветер.

Сотрудница дирекции Общества содействия культуре заезжает за нами рано утром. Дворец Правительства вполне подходит под выставочное помещение, но меня смущает близость самого правительства. В Школьном центре я встречаюсь с министром образования штата Пуэбла Лобато Контрерасом и веду с ним в течение часа сложные переговоры. Затем осматриваю одну из школ.

Все попытки связаться с консулом Венцелем по телефону оканчиваются неудачей. Он весь день на заводах «Фольксваген». Перед самым отъездом автобусом в Халапу мне все же удается застать его в консульстве и кратко проинформировать.

За четыре часа очень удобной дороги спускаемся на отметку 1400 м. Зеленый, влажно-теплый ландшафт внезапно напоминает Швейцарию.

25-й день

Халапа. Гостиница «Прадо» вся за… Завтракать идем в ближайший бар. Потом на такси в университет — там есть люди, занимающиеся распространением культуры. Архитектор Мендес Акосто — открытый молодой человек, с которым я не только подробно обсуждаю свой проект, но и дискутирую по вопросам политики. Едем потом вместе с ним в Театр им. Игнасио де ла Льяве (смотрим помещение для выставки).

Краткий визит в знаменитый Антропологический музей: монументальные каменные скульптуры ольмеков, прелестные терракотовые фигурки раннего периода культуры тотонаков, в памяти особенно запечатляются характерные типажи смеющихся масок.

Октавио Пас в своем эссе 1966 года «Оборотная сторона смеха» пишет:

«Вначале был смех. Мир начался с непристойного танца и

громкого хохота. Космический смех — это детский смех. Сегодня только еще дети смеются так, как маски тотонаков. Это смех первого дня, дикий и неоформившийся, еще очень близкий к первому плачу: он означает гармонию с внешним миром, бессловесный диалог, чистую незамутненную радость».

Жена моя, когда мы смеялись в последний раз? И смеялись ли мы когда-нибудь вместе просто так, от чистой радости?

Прогулка по Старому городу до самого отправления автобуса, который опаздывает на два часа. Завтра в час ночи мы прибудем в Мехико. Вытащим чету Тиле из постели. Беатрис зажарит курицу. Будем болтать до пяти утра.

26-й день

Конец недели. Ближе к полудню отправляемся вместе с Тиле и его женой на их «участок» под Уаской. По пути поели очень острой пищи в придорожном ресторанчике. Под вечер разбиваем в диком лесу, который эти двое называют «своим участком», палатку. Долго сидим молча у затухающего костра.

27-й день

Спускаюсь с Клаусом на ранчо. Плаваем в реке. Становится невыносимо жарко и душно. С ранчо приводят двух лошадей. Скорее можно сказать — двух старых кляч. Моя прихрамывает и слепа на один глаз — это я замечаю, лишь когда мы скачем по краю крутого обрыва. Клаус вырядился мексиканцем — в широкополой шляпе и с мачете на поясе. Должно быть, мы оба производим странное впечатление, что-то вроде донкихотов, — редкие крестьяне из мексиканских индейцев, встречающиеся нам на пути, застывают в изумлении как вкопанные, когда мимо них галопом проносятся на едва ковыляющих лошадях два «гринго». Скачем верхом вдоль реки три часа и поднимаемся к самой вершине горы, откуда наслаждаемся прекрасным видом.

На страшной полуденной жаре складываем палатку и возвращаемся в Мехико.

29-й день

Прощаемся в Книжной палате с президентом Доном Анхелем. Заезжаем к Кольбу — тот свое «домашнее задание» уже сделал. Г-жа Кляйн из «Ultramar», наоборот, думала, что у нее есть время до конца месяца. Обговариваем в экспедиторской фирме «Кюне унд Нагель» с г-ном Шуманом и г-ном Фастерлингом условия транспортировки груза. После обеда сажусь за отчеты и бухгалтерские счета дорожных расходов. Вечером приходит издатель Карретеро, и мы идем вместе ужинать. До полуночи волнующий разговор о ситуации в Мексике.

30-й день

Ранним утром на такси к рейсовому автобусу. До Керетаро —

автострада. В Селае обедаем на автовокзале. В Саламанке ужасная вонь (нефтеперерабатывающие заводы). Ирапуато и, наконец, Гуанахуато — после 8 часов езды!

Мы в восторге от приятной для глаза хаотичности круто поднимающихся вверх узких переулков, улиц-ступенек и неожиданно открывающихся взору городских площадей. Едем по частично находящимся под землей улицам, спускающимся в туннели, служившие раньше системой отводных каналов для сточных вод. Мы останавливаемся в отеле «Posada Santa Fe», непосредственно возле Театра им. Хуареса, построенного в стиле неоклассицизма — портик с колоннами и статуями муз наверху.

Мы устали, но, собрав остатки сил, отправляемся на прогулку по городу с его живописными переулочками. Ужинаем на одной из маленьких городских площадей. Какой-то мальчуган рассказывает нам местную легенду. Группа студентов в мантиях своей корпорации исполняет студенческие песни. В воздухе ощутимо прохладно.

31-й день

После завтрака в безлюдном отеле — в университет. Лопес Бернар — молоденький нервозный человек — ничего не знает, не может сконцентрироваться, но заверяет, что именно он ведает сектором культуры. Эрнандес, его помощник, показывает маленькую комнатку, отведенную под нашу выставку и расположенную рядом с невообразимо скучным и неуютным книжным магазином университета. Затем мы едем в пригород к немецкому профессору Шефлеру, любезному, но несколько рассеянному профессору философии.

Под конец дня — автобусом в крематорий. Там эксгумировали трупы, мумифицированные почвенным природным составом, и выставили их на обозрение в смотровом зале, прислонив к стенке: убийственное развлечение! Среди них — мумифицированный эмбрион — «La momia mas pequena del mundo!» («Самая маленькая мумия в мире!»)

К вечеру поход на крытый рынок, дикая сцена в баре, где мы, возвратясь от мумий и стоя рядом с дрожащим всем телом человеком, пьем у стойки пиво. Атмосфера и встречи в этом городе оставляют впечатление причудливой гротесковости, больше схожей с фильмами Феллини, чем с самой действительностью.

32-й день

Встали в пять утра. Льет дождь и холодно. Возле автовокзала продавщица с лотком сладостей варит нам кофе с молоком. В 6.30 подходит автобус. Время в дороге — 4 часа. Живописнейшие ландшафты по западному берегу реки, вдоль которой мы едем,

затем пересекаем по четырехкилометровой дамбе соленое озеро. Прибыли в Морелию. Большой город с очаровательным центром времен колонизации. Монастыри, церкви и дворцы из светлого камня — от розового до нежно-сиреневого. Незабываемые патио — внутренние дворики — с колоннами и широкими арками над ними.

Помощник директора городской Комиссии по культуре Хесус Моралес человек очень обстоятельный и обходительный. Так как мы, можно сказать, уже позеленели от холода и голода, то идем с ним и его женой в рыбный ресторан.

Демонстрация студентов. На виду у всех ссорятся муж с женой. Очень ветрено и прохладно.

33-й день

Пешком на автовокзал. Перво-наперво позавтракать. Голодный мальчишка ворует остатки пищи. Рейсовым автобусом сначала на север, по очень живописным местам, потом опять на юг, через Идальго, в Толуку. Горные пейзажи Восточной Сьерры-Мадре — один прекраснее другого — все время мелькают за окном, особенно красиво на горном перевале Мил Кумбрес, высота 3100 м.

Через 6 часов езды мы в Мехико, где знакомый таксист везет нас прямо к Тиле. Вечером мы приглашены к Карретеро.

35-й день

Еще раз к г-ну Франку в посольство. Устно отчитаться перед отъездом и оставить чемодан с подготовительными материалами. По семи крупным городам Мексики отправится в путешествие обширная книжная выставка, названная «Коммуникация — Воспитание — Наука». Через несколько недель он получит здесь подробный отчет о моих мытарствах за прошедшие дни и недели, который, снабженный его комментариями, послужит потом в Бонне основанием для министерства иностранных дел, чтобы дать нам «добро» на проведение книжной выставки в Мексике.

40-й день

Прощание с Мексикой, даже если мы и едем еще в конечный пункт нашего маршрута, запланированного для выставки, город Мериду.

Бельишко постирано-поглажено, и у Клауса Тиле торжественно съеден последний завтрак с текилой. Потом приходит Басурто и приглашает нас всех на национальный мексиканский обед в ресторан «Abajeno». Неутомимо играют mariaches — группа народных мексиканских музыкантов, еще несколько чарок текилы. Мы все не очень крепко держимся на ногах, когда Басурто привозит нас в аэропорт. Приятный перелет в Мериду. В отеле «Colyn» есть бассейн. Мы плаваем, потом

гуляем по городу. Вечером пьем пиво.

41-й день

Рано утром к консулу Ф. Тот сидит в какой-то развалюхе с немецким флагом за спиной: темный, однако, любезный человек.

В университет. Декана факультета «Культура», к сожалению, нет на месте. Мы нанимаем извозчика и едем в бюро путешествий, покупаем там билеты на самолет в Гватемалу. Тепло, но большая влажность. Вторая попытка захода в университет также оканчивается неудачей. Мы возвращаемся в отель и обедаем. Наконец он появился! Договариваемся по телефону о встрече на завтра. У меня болит горло, а у Доры сводит кишки.

42-й день

Сильная простуда. Тем не менее плаваю утром в бассейне. После посещения университета и подписания протокола о совместной работе над проведением выставки ко мне приходят два студента с экономического факультета с типичными длинноносыми физиономиями индейцев майя. Они хотят узнать от меня что-нибудь «о динамике немецкой экономики». Очень жарко, одежда прилипает к телу. Мы беседуем два часа. Потом идем и покупаем для меня guaya-bera — типичную для карибского региона крестьянскую куртку свободного покроя с накладными карманами, признанную здесь повсюду за легитимную одежду делового человека.

43-й день

Собственно, сегодня мы еще хотели посетить Ушмаль — одну из достопримечательностей древней культуры майя, но я совершенно конченый человек, простуда доконала меня. Покупаю книгу по истории Мексики и читаю ее, сидя возле бассейна.

Ближе к вечеру еду все же в книжный магазин «Libreria Literaria».

44-й день

В полдень на аэродром. Оформляем билеты. Рейс гватемальской авиакомпании объявлен точно по расписанию, тем не менее вылет задерживается на час. Мы все ждем прямо на лётном поле — немцы, французы, японцы, несколько латиноамериканцев.

Наконец подруливает самолет. Люди берут его штурмом, не давая выйти прибывшим пассажирам. Когда мы в конце концов стоим уже на трапе, стюардесса поднимает руку:

— Стоп! Машина переполнена! Overbooked!

Дверь салона захлопывается. Мы стоим обескураженные вместе с десятком еще других пассажиров. Дикая беготня туда-сюда, громкая брань.

— Где ответственные лица авиакомпании?

Все размахивают своими посадочными талонами на этот рейс.

— Где, черт побери, представитель авиакомпании?

Разъяренные пассажиры, оставшиеся за бортом, набрасываются на рабочего, на замызганном комбинезоне которого красуется фирменный знак Тот только грустно пожимает плечами и старается поскорее подготовить машину к полету.

Немец из Лимы, представитель BASF, прилагает особые усилия не остаться незамеченным. Он орет во все горло, наливается краской и требует, чтобы самолет летел в Гватемалу через Мехико. Он не стесняется употребления набора расистских ругательств («Черномазые, грязные индейцы, ублюдки!»), что, к сожалению, всем очень хорошо понятно, поскольку он прекрасно говорит по-испански.

Мне стыдно, и мы с Дорой отходим в сторону. Сидя в тени на камне, наблюдаем за этой достойной сожаления сценой. Маленький рабочий аэродрома защищается, говоря, что он всего лишь мелкий низкооплачиваемый служащий.

Наконец небольшая группка возбужденных пассажиров рассеивается. Мы все еще сидим на камне, подавленные только что пережитым потрясением. И тут мимо проходит еще раз тот же рабочий:

— А вы, что вы здесь делаете?

Теперь наша очередь недоуменно пожать плечами. Мы сами того не знаем!

— Идемте со мной!

Маленький человек говорит на сей раз вовсе не так уж робко. Мы, спотыкаясь, спешим за ним со своими чемоданами в здание аэропорта. В одной из контор он расстегивает комбинезон — перед нами чиновник в темном галстуке.

— Садитесь, пожалуйста! Наша следующая машина рейсом на Гватемалу отправится, к сожалению, только через три дня. Вот вам талоны на проживание в отеле «Panamericana» и еще вот эти на ежедневное трехразовое питание. Пожалуйста, извините нас за те неудобства, которые мы вам доставили! Перерегистрация в Майами! Мне очень жаль!

И, видя наше крайнее изумление, добавляет:

— Да, я представитель авиакомпании, извините еще раз за неприятности!

45-й день

Так нам все-таки удалось попасть в Ушмаль. Жара такая, что просто невыносимо. Тем не менее мы поднимаемся на почти

сорокаметровую пирамиду «Дом волшебника» — оригинальной формы храм на овальном основании. Согласно легенде перекочевавших сюда в VI в. из Гватемалы древних индейцев майя, храм-пирамида был возведен правителем Ушмаля за одну ночь — его сын был шаманом, и это творение — дело его рук. На самом деле в пирамиде просматривается пять архитектурных поясов, которые в течение 300 лет наращивались один на другой.

Мы карабкаемся по опасно крутой лестнице с восточной стороны пирамиды и наслаждаемся открывающимся сверху видом далеко вокруг.

Лестница имеет 70 % уклона. Когда мы спускаемся, я опасаюсь за Дору.

46-й день

Автобусом в Прогресо на пляж. Очень душно и очень жарко. Люди идут в воду прямо в одежде. Вечером мы уже знаем почему — во избежание солнечного ожога!

47-й день

Мы оба чувствуем себя плохо. Ссоримся. Пора в аэропорт. В суете последних трех дней я упустил из виду, что при оформлении мы прошли таможенный контроль и тем самым как бы выехали, и я забыл попросить восстановить отметку о въезде. В результате теперь мы не можем выехать, потому что по документам мы не въезжали.

Что делать?

Вопрос может решить только Jefe de la policna!

А где он, этот шеф?

У него сиеста! (послеобеденный отдых!)

Нельзя ли его вызвать?

Что вы такое говорите?!

Самолет уже приземлился. Мы сидим и ждем в конторе начальника полиции.

Самолет заправляют, грузят багаж. Пассажиры поднимаются на борт. Бежит запыхавшийся представитель авиакомпании. Ну, что тут у вас?

Шеф так еще и не появился.

Машина готова к старту. И тут в дверях появляется в плохом настроении начальник полиции. На нас он вообще не глядит. Снимает ремень с кобурой, кладет револьвер на стол.

Я призываю себя к спокойствию. Он плюхается в кресло за письменным столом, на котором стоит флажок. Тут я вижу, что его оружие немецкого производства.

— О-о! Что я вижу? Никак мой «земляк»? — завожу я разговор.

Он берет револьвер, взвешивает его на ладони.

— Muy bien, la alemana! — Он улыбается. Я облегченно вздыхаю. Самолет еще не взлетел. Представитель компании всовывает голову в дверь.

— Вы что-нибудь понимаете в оружии? — спрашивает шеф.

— Да нет, собственно, ничего!

Он начинает объяснять мне преимущества своего револьвера. Ни один не может с ним сравниться, нет, действительно, ни один!

Jefe de la policna теперь уже разошелся вовсю. Он кричит в «предбанник», чтобы для его гостей принесли cafecitos. Я делаю благодарственный жест рукой и показываю на самолет на посадочной полосе.

— Не беспокойтесь, никуда он не улетит, пока я не дам команду!

И продолжает расхваливать достоинства своего оружия. Мы пьем кофе. Он спрашивает, откуда мы прибыли. Куда собираемся лететь.

Наконец задает сакраментальный вопрос:

— Ну, а в чем проблема-то?

Я заставляю себя спокойно обрисовать ситуацию, сложившуюся три дня назад, и возникшую в связи с этим проблему.

— Напишите свое имя, фамилию и адрес вот здесь, на листке бумаги! Налоговый сбор составляет 12 долларов США. Желаю вам удачного полета!

Гватемала

48-й день

Город Гватемала. Вчера после многочасовых поисков комнаты мы устроились в немецком пансионате «Реформа» с полным обслуживанием.

Работать еще можно только сегодня и то в первой половине дня, поскольку начинается Semana Santa — Пасхальная неделя. В посольстве встретил в лице заведующего канцелярией г-на Пшибыля очень любезного, всячески готового помочь человека. После похищения и убийства посла Карла-Борромойса графа фон Шпрети в 1970 году должность посла так и осталась вакантной.

Затем к самому важному книготорговцу Тунчо Гранадосу Гонсалесу, страстному католику и йоге. Своей птичьей головкой с острым носиком он напоминает мне одного австрийского комедийного киноактера пятидесятых годов. Тунчо очень приветлив и водит нас, ни на минуту не умолкая и сопровождая речь приглашающими жестами, по своей чистенькой, консервативной по ассортименту, напичканной католическими духовными ценностями книжной лавке.

Мы отказываемся от немецкого обеда в пансионате и очень

вкусно едим по-гватемальски в отеле «Panamericana».

После этого направляемся в довольно обнищавший книжный магазин «Бремен». Попытка успеть еще в Национальную библиотеку проваливается — она уже закрыта.

Фрау Бранденбург из пансионата зарезервировала тем временем для нас места на воскресенье на автобус в Сальвадор. Праздники, конечно, лучше провести здесь.

49-й день

Чистый четверг — здесь первый день Пасхи. Книготорговец Тунчо заезжает за нами утром и везет в Антигуа — столицу Гватемалы XVI и XVII вв. После землетрясения в 1773 году испанцы перенесли столицу на новое место. Многие руины старинных полуразрушенных каменных построек колониальных времен сохранились до наших дней. Вид развалин мощной церкви, частично заросших буйной растительностью, погружает меня в грустные мысли о времени и истории.

Мы ходим по булыжным мостовым прямых переулков, сходящихся друг с другом под прямым углом. Повсюду невысокого роста индианки в ярких, блестящих юбках, блузках и шалях. Они спешат примкнуть к процессии, которая медленно движется по ковру из цветов и окрашенных в разные цвета древесных опилок.

Тунчо — закоренелый суперкатолик — любезный и не лишенный амбиций публичного признания человек. Он непрерывно и с искренним волнением говорит только о папе римском.

Нам надо назад в Гватемалу — мы медленно едем в мощной американской машине Тунчо по улицам богатого квартала вилл, выслушивая похвалы высокому благосостоянию теперешней гватемальской столицы.

50-й день

Не в силах расстаться с очарованием вчерашнего дня, мы снова отправляемся в Антигуа. Процессия из мужчин и мальчиков, одетых только в лиловое: сопровождаемые всадниками, в одежде римских солдат, они несут по улицам Антигуа на плечах тяжелые носилки, свыше 7000 кг весом, и это по неровной булыжной мостовой. Громко оплакивается смерть Иисуса из Назарета. Одетые в черное молодые женщины завороженно гладят растерзанное тело муляжного Христа. От молодого священника узнаю, что бедные женщины, которые так усердствуют над «куклой», изображающей Христа, или прочими фигурами святых, заплатили церкви за право участия в этой церемонии каждая по два доллара США. Этот истерический мазохизм опять вызывает у меня глубокую печаль, и мы уходим,

стараясь избежать встречи с другими процессиями. Мы возвращаемся в Гватемалу.

Нам хочется, взяв книгу, уединиться в своей комнате. Но живущие здесь немцы настаивают на том, чтобы мы выпили с ними пива.

52-й день

Шесть часов езды автобусом по знаменитому Панамериканскому шоссе до Сан-Сальвадора. На гватемальской стороне близко к горам подходят огромные кофейные и банановые плантации. В памяти всплывает ненавистное революции шестьдесят восьмого года название фирмы — «Юнайтед фрут компани», которая с помощью своего акционера — государственного секретаря США Даллеса — организовала в 1954 году вооруженную интервенцию в эту страну, чтобы помешать законно избранному президенту Хакобо Арбенсу Гусману провести умеренную аграрную реформу в стране.

Реформа предусматривала конфискацию шестой части пустовавших земель, находившихся во владении латифундистов, и передачу их безземельным крестьянам. Из 210 000 га частных владений «Юнайтед фрут компани», три четверти которых пустовали, было в конечном итоге экспроприировано 175 000 га земли. Отступные в 1 млн американских долларов точно соответствовали той сумме, которую «Юнайтед фрут» указала в своей налоговой декларации как стоимость данной земли. Теперь, однако, они потребовали 15 млн долларов.

Террор, убийства, резня и насильственные аресты стали с тех пор постоянной темой дня. При тогдашней ограниченности и односторонности информации мы узнавали об этом из скупых строк в форме опровержений, ну например: сообщение, что оппозиционеров живьем сбрасывают с вертолетов в кратеры вулканов, не соответствует действительности и является наглой ложью и оговором со стороны недоброжелателей и коммунистов.

Сальвадор

На границе все пассажиры должны выйти из автобуса и встать на влажной тропической жаре лицом к стене, чтобы полицейские могли всех ощупать и проверить, нет ли оружия. Солдаты пораскрывали у всех багаж и ковыряются в нем.

Мы едем в направлении Сан-Сальвадора вдоль жалких лачуг из бамбука и соломы, иногда залатанных даже тряпками. Устроившись в гостинице «Clarks Guest House», мы хотим где-нибудь в городе поесть. Все как вымерло, на улицах мало света. Мы берем такси. На одном из съездов с автострады современный ярко освещенный ресторан с дискотекой. Поели очень хорошо, но для нас слишком дорого.

53-й день

Понедельник Пасхальной недели, немецкое посольство закрыто. Но мне удается разыскать заведующего канцелярией посольства Салинского, а тот уже звонит послу — г-же Хуттер. Посол — дама привлекательной наружности — непрерывно слушает «Немецкую волну». Она предоставляет нам свой посольский «мерседес» и посольского шофера Фиделя.

«Libreria Cultural»: старый немецкий книготорговец Кан — любезный, но архиконсервативный человек. Директор университетского книжного магазина Анайя Вильеда эмигрировал. Прикрыв ладонью рот, нам сообщают: он наверняка коммунист, раз исчез, когда университет закрыли. На территории ярмарки беседуем с неким Альфредо Бустаманте, он говорит по-немецки. В гостях у сына Кана встречаемся с Густаво Хименес Коэн из «Feria del Mundo»: настоящий «идеалист» — восторженно рассказывает нам о своих кубинских впечатлениях и в том числе про герилью.

Гондурас

54-й день

Несмотря на то что мы вчера оплатили завтрак, сегодня в «Casa Clark» рано утром ни души. В 6 часов уезжаем автобусом фирмы «Tica». В 8 часов завтракаем в Сан-Мигеле. А затем снова начинается ритуал пограничного досмотра: выйти из автобуса, встать с поднятыми руками к стене, обшаривание в поисках оружия, вытащить багаж; стоим два часа на одном месте, пока проверяют автобус. Становится все жарче. Наконец-то можно въехать в Гондурас. В Накаоме вдруг объявляют: всем пассажирам на Тегусигальпу покинуть автобус. Мы выходим из ледяного от кондиционера «Tica»-автобуса, и нас заталкивают с восемнадцатью другими пассажирами в раскаленный старенький микроавтобус «форд». Три часа по сухим и пыльным горным дорогам до Тегусигальпы. На последнем участке пути Дору опять прихватывает — снова колики.

В шумном и душном отеле «Прадо» мы буквально падаем на кровать после десяти часов дороги.

55-й день

Застаю в немецком посольстве заведующего канцелярией Хоффмана. За двадцать один год службы в Латинской Америке он утратил немецкую агрессивность. Ищу банк, чтобы обменять немецкие марки, и аптеку, чтобы купить Доре лекарство.

Сначала книжный магазин «Libreria Quichote», потом государственная типография «Аристон». Информационный улов невелик. Пробую еще кое-что выяснить в Немецком культурном центре у несколько настырной особы Аннемари Кох.

56-й день

Около девяти утра нам доставляют из туристического бюро наши авиабилеты. Из-за болезни Доры мы решили проделать следующий этап путешествия по воздуху. В аэропорту выясняется, что ей с ее аргентинским паспортом требуется виза. Уже половина десятого. Вылет самолета в десять. Она мчится на такси назад в город. Я оформляю вылет. Без десяти десять до чиновника доходит, что и мне нужна виза для въезда в Никарагуа. На втором такси я тоже пускаюсь в погоню за визой. Консула Никарагуа я застаю в пижаме на кухне. Визовый штемпель лежит возле кофейной чашки. Когда я возвращаюсь в аэропорт, самолет уже стоит с запущенными двигателями на взлетной полосе. Меня «грузят» на борт с помощью подъемной платформы.

Никарагуа

Из аэропорта мы медленно едем на такси в почти полностью разрушенный землетрясением 1972 года Манагуа. Машина заглохла и остановилась, чтобы завести мотор, водитель «прикуривает» от аккумулятора другой машины. Мы снимаем за 24 доллара США комнату в частном секторе. Для нас это большие деньги. Вечером гуляем по улицам среди развалин.

57-й день

Устанавливаю, как везде, контакт с немецким посольством. Г-н В.: Saludo! как говорят здесь.

В университете работают каменщики. «Гринго» и «negra»? Это пахнет ЦРУ. Повсюду чувствуется, что здесь идет невидимая гражданская война. Профессора Орасио Пеньи, с которым я хочу поговорить, здесь якобы нет. Студенческой организации здесь тоже как нет.

После визита в посольство Коста-Рики (виза!) возвращаемся в фрустрированном состоянии к себе «на квартиру». По три раза принимаем друг за другом холодный душ — такая невыносимая жара.

Садимся перед домиком в тенечке, и тут какая-то бабуля кричит своему внуку:

— Lenin, ven! («Ленин, иди сюда!»)

Дора так и кинулась к ней. Старуха ведет нас в дом к отцу ребенка. Здесь мы получаем кое-какую информацию о тяжелейшей ситуации в стране.

Вечером едем на такси в аэропорт. Но дороге лопнуло колесо — второе за сегодняшний день. Наконец доехали, но нас не выпускают, потому что мы не можем предъявить билетов на выезд из Коста-Рики. Но поскольку мы собираемся ехать оттуда дальше снова на автобусе, мы можем приобрести билеты только там, на месте.

Я вру, что дальше мы поедем на машине Фонда им. Фридриха Эберта, в Коста-Рике у них есть отделение. Чиновник исчезает в задней каморке и через некоторое время возвращается:

— Вот ваши документы! Счастливого пути!

Коста-Рика

Когда мы выходим из самолета в Сан-Хосе, у трапа стоит краснолицый, немного косящий на один глаз блондин — Хайно Фрёлинг, представитель Фонда им. Фридриха Эберта:

— Вы — господин Вайдхаас? Я только хотел посмотреть, кто это собирается разъезжать на моей машине?

Он верно среагировал на телефонный звонок из аэропорта в Манагуа. Хайно довозит нас до центра проведения семинаров «La Catalina», где мы сможем прожить целых два дня.

58-й день

На завтраке — участники семинара, профсоюзные работники со всей Центральной Америки. Очень много информации, которой мне так не хватало в последние дни.

В перерыве заседаний «работает» группа фольклорного танца. Нас обоих приглашают принять участие.

На террасе долго болтаем с Ортрун и Хайно Фрёлинг за «колой» и ромом. Писатель Альберто Баэса Флорес обещает помочь мне установить связи. Вечером у Фрёлингов дома: двое прелестных детишек, электроорган и масса полезной информации.

59-й день

Воскресенье — день отдыха. Мы читаем, валяемся, лодырничаем. Написал письмо Зигфреду Тауберту. Делаю марш-бросок по банановым плантациям до ближайшей деревни. Вечером сидим на террасе, под нами огни Сан-Хосе, над нами — звезды.

60-й день

С сегодняшнего дня в отеле «Plaza» в Сан-Хосе в 30 км от «La Catalina». С Альберто Баэса Флоресом в «Educa» — основанное головной организацией университетов Центральной Америки Объединенное издательство. Продолжительный содержательный разговор с генеральным директором издательства, сальвадорцем итальянского происхождения, Лопесом Вальесильосом. Это маленький, коренастый, уверенный в себе человек с быстрой хваткой. Когда мы еще раз встречаемся во второй половине дня, возникает такое чувство, что мы давние друзья. Мы заключаем соглашение о выставочном турне наших книг по всем университетам Центральной Америки, согласно которому «Educa» берет на себя ответственность за его организацию. Помимо этого разрабатываем с Хайно идею семинара издателей этого региона.

Во время танца с профсоюзными работниками в «La Catalina»

62-й день

После вчерашней экскурсии на побережье Тихого океана в Пунтаренас, где нас застал тропический ливень, еще не окончательно залеченная простуда снова дает о себе знать. Иду в немецкое посольство и раскрываю сначала заведующему канцелярией Якобсу, а потом послу фон Эйхборну свои планы совместной работы с «Educa». Оба с удовольствием одобряют их.

«Tica»-автобусом до Панамы — это двадцать часов езды. Но так как там в уик-энд поработать все равно не удастся, мы решаем остаться до субботы здесь.

Вечером встречаемся в мексиканском ресторане с «верхушкой» CSUCA (Объединение университетов Центральной Америки) — Венисио Гонсалесом и Эдельберто Торресом и их супругами.

63-й день

Все утро уходит на разрешение трудностей с дальнейшей поездкой: чтобы купить билеты на автобус до Панамы, необходимо предъявить билеты дальнейшего транзита до Колумбии. Чтобы купить их, надо разобраться — причем не откладывая — с проблемами выезда из Колумбии. В конце концов мне удается зарезервировать авиабилеты на рейс из Панамы в Боготу. Денежки уплывают прямо на глазах!

Обедаем с никарагуанским писателем Серхио Рамиресом — членом действующей в Никарагуа подпольной организации левых интеллектуалов «Группа двенадцати» (позднее он станет вице-президентом Сандинистского правительства), общественными деятелями Венисио Гонсалесом и Эдельбер-то Торресом, итало-сальвадорцем Лопесом Вальесильосом и Хайно. Первоначальная тема — запланированный семинар издателей, потом — общие проблемы гнетущей политической ситуации в регионе. Тут мы просто затаившие дыхание слушатели, поскольку здесь сидит верхушка интеллектуальной оппозиции Центральной Америки.

64-й день

Еду в «Libreria Federspiel», где разговариваю с главным человеком по импорту г-ном Штехером и заведующим книжным отделом Чаваррией. Расплачиваюсь в отеле. С корреспонденцией покончено, принимаюсь за отчет. Потом отправляемся в пригород Моравия к старой г-же Гутман (книжная лавка). После прогуливаемся по крытому рынку и покупаем нашим детям сандалии.

65-й день

Около шести вечера Фрёлинги отвозят нас на автовокзал. В 19 00 «Tica»-автобус выходит в рейс и берет направление на Кордильеру-де-Таламанка. До отметки 3000 м высоты мы едем в тумане, затем спускаемся во влажную долину. В автобусе становится невыносимо жарко. В пограничном пункте Каноас водитель, ни слова не говоря, идет в три часа ночи спать и оставляет нас просто ждать до семи утра на улице. Я расхаживаю под роскошным звездным небом взад и вперед и курю. Потом ложусь на деревянную скамейку и пробую уснуть. Мимо меня гонят стадо коров, и я просыпаюсь.

Панама

66-й день

В 6 утра открывается ресторан. Я бужу Дору, и мы завтракаем. Таможенный досмотр длится до девяти утра, а потом мы едем по зеленой, влажной, плодоносной земле до Агуадульсе, где едим за очень низкую цену. Пересекаем Панамский канал по Puente de las Amerikas. Панамский перешеек — узкая полоска твердой земли — единственное, что соединяет Северную и Южную Америку.

Город Панама: мы гуляем по главной улице. Жарко и грязно, всюду сильные запахи. Недавно прошел мощный тропический ливень. Своими пестрыми домами и людьми в основном негроидной расы город напоминает мне Баию.

67-й день

Как и каждое утро в тропическом поясе, просыпаюсь слегка

разбитым. Сначала в колумбийское посольство, чтобы сделать отметку о том, что мы хотим покинуть страну, предварительно проехав по ней на автобусе. Меня отсылают в колумбийское консульство.

Затем в немецкое посольство: г-н Аальбрехт вполне радушен и открыт и полностью согласен с планом «Educa». Прогулка по городу до Главного почтамта и к морю.

Вечером садимся в американский самолет авиакомпании «Braniff». Множество невыразительных бледных лиц поворачиваются в нашу сторону, когда мы входим в салон самолета, и холодные глаза «гринго» бесцеремонно разглядывают нас. Во всяком случае, нам так кажется после эмоционально насыщенных, беспорядочных недель путешествия по этому жизнерадостному и импульсивному Латиноамериканскому континенту!

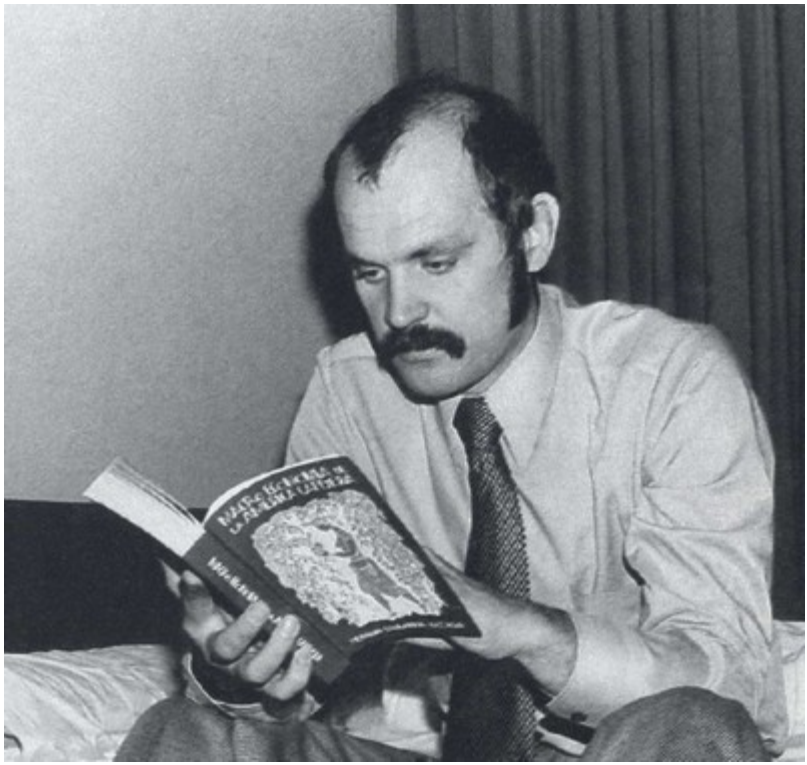
Путешествие продолжается, словно это отпуск, в который вкрапливаются то тут, то там по несколько рабочих дней.

Колумбия

68-й день

Оба просыпаемся утром в Боготе с сильными болями в желудке и вызванной этим слабостью. Тащусь в немецкое посольство — приветливый, но очень сдержанный референт по культуре г-н Нестрой.

Потом отлеживаемся в гостинице с сильными болями в спине, руках и ногах, высокая температура, понос. Тяжелая ночь.



В ожидании выздоровления в номере гостиницы в Боготе

69-й день

Все еще сильные боли в суставах. Еду в город и возвращаюсь из «Libreria Central» (немецкий книготорговец г-н Унгер) с двумя номерами «Шпигеля». Вечером с большими усилиями съедаем напротив гостиницы по чашке куриного бульона. Ночью у Доры опять колики.

70-й день

Мне уже лучше, а Дора все еще страдает. Едем в CERLAL: Centro Regional para el Fomento del Libro en Amerika Latina — Центр содействия развитию книжного дела в Латинской Америке. Подобный этому я уже видел в Токио — Центр развития в Азии. Сначала находим секретаря, потом беседуем с экспертом ЮНЕСКО аргентинцем Эберто Широ и, наконец, с директором Центра Аркадио Пласасом.

Затем в Книжной палате Колумбии разговор с очень осторожным генеральным секретарем Рамиресом Санчесом.

Во второй половине дня к известному немецкому книготорговцу Карлу Буххольцу, который принимает нас в своей дочерней фирме в Чапинеро. В семь часов вечера за нами

заезжает г-н Широ из CERLAL и везет к себе домой на званый обед. До 11 вечера он непрерывно говорит, и после этого я совершенно без сил — он отвозит нас в гостиницу.

71-й день

К самым ярким встречам этого путешествия следует, пожалуй, отнести ту, что произошла в доме старого Буххольца. Он пригласил нас к себе на обед. Этот творчески активный человек отличается большой добротой и необыкновенной сердечностью. Ему 72 года, он белый как лунь, у него водянисто-голубые глаза, а голова полна фантастических планов — например, построить огромную библиотеку, придав ей форму кондора. Он показывает нам свой дом, где много изысканных произведений искусства (Барлах, Лембрук, Ботеро), и сад, где природа сохранена в ее девственном виде.

«Были такие молчаливые стены, где можно было увидеть неофициальное берлинское искусство, там собирался круг верных искусству художников, для них это было важно, — прекрасное просторное выставочное помещение на верхнем этаже книжного магазина Буххольца на Лейпцигер-штрассе», — писал Вернер Хафтман в своей книге «Объявленное вне закона искусство». Буххольц принадлежал к тем, кто в Третьем рейхе выдавал себя за аполитичную фигуру.

«В моем магазине не было запрета ни на какие книги. У меня стояли на полках многие из тех, что были „сожжены“, хотя ко мне захаживали и сами крупные нацистские боссы, такие, как Геринг, и тоже покупали книги наряду с противниками нацистского режима».

В 1938 году ему оказали сомнительную честь — право продать за границей вместе с другими владельцами картинных галерей «вырожденческое искусство», естественно, с целью приобретения валюты на нужды нацистского режима. С одной стороны, он как бы становился подручным Гитлера, с другой — спас множество работ художников, которые сегодня относятся к крупнейшим творениям XX века. В это же время он открыл с помощью своего бывшего заведующего отделом искусства Курта Валентина в Нью-Йорке «Buchholz Galery», через которую «проворачивал» потом большинство своих деловых операций.

В 1943 году его книжный магазин в Берлине разбомбили, при этом погибло много произведений искусства. Он уехал сначала в Прагу, потом в Мадрид, наконец в Лисабон. В каждом из этих городов создал книжный магазин. Пока в конце концов колумбийский консул, с которым он был дружен, не уговорил его в пятидесятые годы переехать в Боготу. Здесь он открыл в центре города еще один большой книжный магазин, который вскоре стал

местом встречи латиноамериканской интеллигенции и центром сосредоточения духа либерализма.

Во время обеда, в котором принимала участие и его хрупкая, приветливая жена, он сделал мне предложение о передаче в мои руки своего книжного магазина в Мадриде.

Потом мы едем в библиотеку Национального банка, и он показывает нам модель мечты всей своей жизни — библиотека в форме кондора.

Затем мы вместе идем в Музей золота и совершаем путешествие в доиспанскую эпоху Колумбии. Нагрудные пластины, кольца, браслеты, диадемы, предметы культа с изображениями птиц и аллигаторов, кольца в нос, филигранные человеческие фигурки, симметричные с точки зрения геометрии амулеты. На золотом плоте среди жертвоприношений из золота и изумруда божество Шипе-Тотек — истоки легенды об Эльдорадо.

Возле автобуса Буххольц прощается с нами быстро и как бы ненадолго.

72-й день

Отправляемся в Кали, находящийся на расстоянии 510 км. Двенадцать часов езды автобусом. Как только выехали из Боготы, дорога пошла в гору. Шоссе пролегает по горным долинам среди мощных скал. Очень крутые повороты и извилины. Мы многократно умираем воображаемой смертью и каждый раз по-новому, тем более что сидим впереди и иногда перед поворотом не видим перед собой ничего, кроме бездны. Наконец, переборов страх, мы слепо вверяем себя водителю, который, сцепив зубы, свирепо крутит то вправо, то влево руль, частенько забывая, как нам кажется, про тормоза.

После пересечения Восточной Кордильеры дорога становится ровнее и более пологой, вплоть до Ибаге, потом мы пересекаем горный перевал на высоте не меньше 3000 м и едем до Армении. Последние сто километров до Кали дорога опять равнинная.

Каждый благожелатель в автобусе предупреждает нас о ворах и советует покрепче держать в этом городе свои чемоданы.

73-й день

Нам предстоит еще один трудный переезд. Двенадцать с половиной часов до Пасто. Дора хочет сначала выяснить время подходящих рейсов, и тут оно и происходит: сзади перерезают ремешок сумки с документами, висевшей у нее на плече, и незаметно ее «уводят». В сумке все адреса, множество записей, деньги, мой второй паспорт и многое другое. Через уличных чистильщиков обуви и местное радио мы делаем предложение неизвестным ворам. Все напрасно! В полном отчаянии садимся на ближайший рейс.

До Попаяна дорога очень приятная — хорошо асфальтированная скоростная автострада. Потом, среди ландшафтов мощных Анд, шоссе сменяется обычной проселочной дорогой со множеством крупных камней, мелкой горной осыпью и ощутимыми выбоинами. Все кругом темнеет, и начинается дождь. Маленький автобус подпрыгивает, водитель петляет, выбирая, где лучше проехать, и автобус кидает из стороны в сторону.

Двое из числа «подрывных элементов», которые едут не туда, куда им надо, и один индеец с типичным для здешних мест длинным «конским хвостом», горящий желанием заняться экспортом, наши единственные спутники.

В два часа ночи мы приезжаем с переболтанными внутренностями в Пасто.

Эквадор

74-й день

С тремя другими пассажирами — крестьянином, проституткой и судьей — мы едем в разваливающемся такси по изумительной по красоте горной местности до Ипиалеса вблизи эквадорской границы. «Город трех вулканов» производит неотразимое впечатление своими природными кулисами, которые смотрятся как гигантские зеленые складки, созданные рукой Микеланджело.

На другом такси мы подъезжаем еще чуть ближе к границе — к Тулкану, где нам приходится провести пару часов, чтобы получить въездную визу. Тулкан — маленький чистенький городок, весь как картинка в альбоме, и в нем живет множество очаровательных и деловых индейцев с «конскими хвостами».

На маленьком автобусе, самое место которому на свалке, едем дальше по очень плохой дороге до Ибарры. Под Эль-Анхелем автобусик с ревущим мотором пересекает долину, в которой живут только черные в типичных для африканского поселка «крааль»-хижинах. Индейцы в автобусе реагируют, не скупясь на расистские выражения, остальные дрожат в страхе за свой багаж.

Не успели мы пересечь долину, как нас задерживает военный патруль. Они рывком выдергивают багаж пассажиров из автобуса, швыряют его на грузовик и на скорости скрываются. Нас с Дорой не трогают. И когда я кладу руку на багаж своей соседки по автобусу, он тоже остается в целости и сохранности. Теперь мы понимаем, что такое жить в неправовом пространстве. До Кито происходит еще пять подобных контролей, в итоге пассажиры прибывают в столицу без гроша в кармане.

75-й день

В Кито, расположенном на высоте свыше 2800 м, приятный свежий воздух.

У меня очень мятый костюм. Портной основательно проглаживает его. В немецком посольстве застаю пресс-атташе Аппельрата (приветлив и официален) и посла Тиля (немного холоден).

Жду в отеле Дору. Она приходит с терракотовой фигуркой, какой-то тканью и серебряной крышкой. Ей хочется показать мне, где она все это купила. Мы не уходим без того, чтобы нам под байки не всучили там еще две фигурки. Сначала очень радуемся, а потом нас охватывают сомнения, подлинные ли они.

Идем в книжный магазин Либмана. Разговор с милой фрау Вайнберг.

У нас выкроилось время для краткого посещения церкви иезуитов «La Compacha». Взрыв восхищения испанским барокко. Здесь в XVII и XVIII веках могла создавать великолепные церковные алтари целая армия художников, ослепленных обилием золота и серебра, предоставляемого им неограниченно.

76-й день

Встреча в немецком посольстве с референтом по культуре фон Гревеницем. Он упоминает молодого немецкого книготорговца Хиндрика Гроссе-Люмерна. Вместе едем к нему: из глубины прекрасного старинного дома навстречу нам выходит стройный блондин высокого роста.

Во второй половине дня с фон Гревеницем в «Дом культуры». Беседа с генеральным секретарем Арисахой и потом, сидя в глубоком кресле, с вице-директором: слишком много всякой глупой болтовни! С терракотовыми фигурками к «эксперту» г-ну Бауму. Конечно, фальшивка! Вечер проводим с Гроссе-Люмерном.

77-й день

Ночью у нас обоих сильные боли в животе. Дору рвет, у меня сильный понос. Просыпаюсь с мигренью. Остаюсь лежать в постели.

Дора выясняет, каковы наши возможности дальнейшего пути. Автобус есть только завтра вечером. Мы прикидываем и решаем лететь до Лимы, этим мы сэкономим также время.

Около трех часов дня я поднимаюсь. Страдая физически, мы отправляемся покупать авиабилеты, которые, конечно, оказываются дороже, чем нам сказали.

Вечером звонит знакомый эквадорский писатель Адальберто Ортис. Мы встречаемся в расположенном поблизости отеле. Он дарит мне три свои книги.

Перу

78-й день

Адальберто Ортис приехал в отель на машине министерства по туризму и отвозит нас на ней в аэропорт. Летим на стареньком самолете над портом Гуаякиль, вдоль перуанского побережья, в Лиму. Кроме нас в машине две большие семьи меннонитов[17] из Мексики, которые говорят на средневековом нижненемецком диалекте и, за исключением двух мужчин, не умеют ни читать, ни писать. Мы с Дорой заполняем их анкеты для получения въездной визы.

В Лиме я сразу еду в посольство, но никого там не застаю. Мне вручают телеграмму от Зигфреда Тауберта. Я должен немедленно написать д-ру Вегнеру о своем желании участвовать в конкурсе претендентов.

79-й день

Короткий, но доброжелательный разговор с заведующим канцелярией немецкого посольства Ламбелетом. После этого подробнейшая беседа с немецким книготорговцем Хорстом Дикудом. Прогулка по центру города. Артисты уличной театральной труппы атакуют меня со всех сторон на Пласа Сан-Мартин:

— Хэллоу, Джо!

Антиимпериалистическая дискриминация белых, которые все для них — «янки-предатели». Я заявляю, что я — русский!

Вечерние новости по телевизору: Брандт вместе с Брежневым на яхте в Черном море.

80-й день

Воскресенье. Утром в Национальный музей антропологии и археологии. Изделия из глины, дорогие ткани из Паракаса, макет крепости в Андах Мачу-Пикчу и золотые украшения инков выставлены без всякой помпы и соседствуют с самыми простыми вещами.

После обеда за нами заезжают братья Сесара Родригеса. Сесар, который изучает психологию во Франкфурте в Институте имени Зигмунда Фрейда, принадлежит к кругу наших «прогрессивных» друзей. Его то тут, то там не раз видели рука об руку с Руди Дучке во главе демонстраций!

Братья везут нас в северном направлении — слева море, справа то темно-коричневая, то желтая пустыня, впереди не исчезающие с горизонта отроги Анд — в удаленный на 86 км Чанкай, где мы едим превосходные дары моря, а назад, с заездом в некоторые курортные места, в Кальяо — морской порт Большой Лимы, там пахнет переработкой рыбной муки.

81-й день

Еще раз в немецкий книжный магазин к Хорсту Дикуду. Под конец в филиал Гёте-Института: Ханс Шефер — ни дать ни взять

типичный немец (как с картинки). С Дикудом в Книжную палату Перу. Генеральный секретарь Скиннер скупится на полезную информацию. После этого еще в «Libreria Estudio». Затем по чашечке чаю с Хорстом Дикудом в отеле: мои кишки, мои бедные кишки!

82-й день

Автобус обошелся бы нам в 30 американских долларов, но это заняло бы 3–4 дня и, кроме того, потребовалась бы еще ночевка в Арике. И мы решили опять лететь самолетом (90 долларов).

Понемножку нарастает желание закончить путешествие. Чувство ответственности за брошенные во Франкфурте дела и известная усталость уже явственно дают о себе знать, каким бы по-прежнему волнительным и необыкновенным ни казался мне этот континент.

Могу ли я уже сделать для себя выводы перед предстоящим мне крайне важным и принципиальным решением? Смог бы я навсегда остаться здесь жить? Вижу ли я здесь для себя перспективы?

Я очень близок к тому, но слишком все перепуталось и перемешалось за столь долгое путешествие. Мне нужно немного отойти от всего!

Хорст Дикуд выручает меня в трудной финансовой ситуации. Мы идем в банк, и он снимает 12 000 перуанских солей (500 американских долларов). Эта процедура занимает несколько часов.

В аэропорт, где нас тщательно досматривают: сколько валюты мы вывозим. В самолете неожиданно встречаем сеньора Широ из Боготы. В салоне почему-то много перуанских военных. Великолепный вид сверху на Анды.

Чили

Сантьяго производит мрачное впечатление пустого города: бастует городской транспорт. По совету шофера такси останавливаемся в гостинице «Hotel Panamericana». И тут же отправляемся искать нашего бразильского друга Хосе Феррейра — политического эмигранта, жившего в начале семидесятых со своей женой в Париже, — которого мы причисляем к кругу близких друзей нашей семьи. К сожалению, его адрес остался в украденной в Кали сумке, так что мы даже не знаем, за что зацепиться. Справки, которые мы наводим в политических организациях, куда вынуждены обратиться, невразумительны.

83-й день

Дорин желудок опять бунтует. Но мы все же мы идем на почту и потом в редакцию политического журнала «Punto final»,

чтобы узнать адрес Ферро. Мы надеемся, что он поможет нам получить толковую информацию о политической ситуации в Чили. Мы чувствуем недоверие и настороженность по отношению к себе, но также и невысказанное напряжение, буквально наэлектризовавшее общественную жизнь.

Мы идем в Социалистическую партию. Номер телефона Ферро, который нам там дают, по-видимому, чтобы только отделаться от нас, неправильный.

Вечером мы собрались пойти в кино, но кинотеатр закрыт.

84-й день

Едем на маршрутном такси «collektivo» сквозь туман в Вальпараисо. Сеньор Молина, директор университетского издательства, молодой, прогрессивный, немного замотанный, дает нам подробную информацию о положении издательского дела в Чили при Альенде.

На обед отличные мидии в ресторане «El bote salva vidas» возле самого порта. После этого продолжение беседы с Молиной в издательстве.

Вечером «collektivo» не ходят. С тремя другими застрявшими пассажирами договариваемся о цене и берем частную машину до Сантьяго.

85-й день

Утром опять отправляемся на поиски бразильца. В этой гнетущей атмосфере, которой охвачен весь город (разговоры только о предстоящем военном путче), нарастает напряжение между мной и Дорой. Ощущение такое, словно она делает меня ответственным и за ситуацию здесь!

Утром я впервые меняю за завтраком доллары по курсу «черного рынка», потому что официальный курс с нашими быстро тающими средствами нам уже не по карману. Официант вышагивает через весь ресторан, совершенно открыто неся на подносе стопку купюр высотой сантиметров в двадцать — пересчитывая, он кладет их перед нами на стол. Я не смею поднять глаз. Позднее мы узнаем, что даже само правительство пользуется услугами «черного» рынка.

Мы идем в «Editorial Andres Bello», где застаем директора издательства Хорхе Барроса и генерального директора Наваррете. Оба выглядят очень подавленными в связи с политическим положением в стране.

После этого совершенно противоположная реакция в «Книжной лавке Нойман», где решительная фрау Кёлер приветствует готовность военных вмешаться и покончить с этим «хаосом».

Мы спасаемся бегством, теперь уже подавленные сами, в

кино, где смотрим в плохо проветриваемом зале «Сатирикон» Феллини.

Вечером мы рано залезаем в постель со стопкой левых журналов, пытаясь понять, что здесь происходит.

И тут кто-то тихо стучит нам в дверь.

Я кричу: «Un momento, por favor!» — и начинаю поспешно одеваться.

Стук раздается снова, на сей раз более нетерпеливо.

— Si, — говорю я и открываю дверь.

На пороге стоит маленький упругий чилиец и пытается заглянуть мимо меня в номер.

— Вы ищете Хосе Феррейра? — спрашивает он. — Он стоит внизу и ждет вас! Не может ли женщина пойти со мной вниз? Пожалуйста!

У меня ничто не вызывает подозрения, и я снова закрываю дверь, давая Доре одеться. Когда она выходит, маленький человечек, не глядя на Дору, опять как-то странно заглядывает в номер, глаза его шарят по раскиданным журналам.

Я жду почти полчаса, прежде чем они оба снова появляются. Мужчина представляется «товарищем Освальдо». Он без сил падает в кресло и рассказывает следующую историю:

— Я — товарищ Освальдо, боевой командир группы захвата министерства внутренних дел. Вот уже несколько дней нам докладывают про странную пару: он — «гринго», она — «negra», и оба пытаются просочиться в группу бразильских эмигрантов. Сегодня после обеда поступил боевой приказ: обоих, разместившихся в печально известном «Hotel Panamericana» — резиденция ЦРУ, — отделить одного от другого и ликвидировать при малейшей попытке сопротивления!

Для меня, — говорит Освальдо, — главной проблемой было выманить вас из отеля, который является для нас враждебной территорией. Я поднялся к вам наверх, остальные ждали внизу. Я хотел сначала забрать женщину, тогда было бы легче, мы хотели ворваться после этого в номер и прикончить тебя.

Я постучал. Прошло какое-то время, прежде чем мне открыли. Я заглянул в номер: ага, старый трюк спецслужб — быстро разбросать вокруг кровати левые журналы! Но тем не менее первый шаг оказался удачным — женщина пошла со мной.

Когда мы стояли перед лифтом, она рассказала мне такие подробности про товарища Феррейра, которые, собственно, можно знать, только находясь в близких дружественных отношениях, и тогда меня взяли сомнения. Внизу в вестибюле я прошел к телефону и позвонил товарищу Ферро. Все мгновенно прояснилось.

Вы должны знать — вот уже несколько недель мы живем здесь в крайне нервозной обстановке. Мы ежедневно ожидаем военного нападения! Вы вели себя довольно легкомысленно!

86-й день

Мы ищем пути, как покинуть эту страну. Билетов на автобус через горный перевал на Мендосу, в Аргентину, уже нет. И кроме того, говорят, что перевал закрыт — не то по политическим соображениям, не то из-за снежной лавины. Освальдо дает нам письмо министерства внутренних дел для начальника пограничной службы, который все еще верен Альенде.

Мы обедаем вместе с Хосе Феррейра: когда начнется гражданская война? Фашизм — это воинствующая сила капитала в кризисные времена!

87-й день

Мы опять идем к Хосе Феррейра. Встречаемся там и с другими бразильскими «товарищами». Мы едем в их «Школьный центр», а под конец на стройку ресторана, который должен в будущем прокормить группу. В наполовину уже собранной кухне съедаем по несколько сэндвичей.

Я возвращаюсь в отель и собираю чемоданы, что не так-то просто — добавилось много книг. Вечером мы перебираемся в маленькую квартирку Мадлены и Хосе Феррейра. Разговариваем всю ночь напролет.

Эти «товарищи» поражают меня своей удивительной открытостью и дружелюбием, которые они проявляют, несмотря на нависшую над ними угрозу в борьбе за выживание.

Я невольно сравниваю себя с ними: свои вечные заботы о стабильности собственного положения, непрестанное стремление надежно оградить себя со всех сторон и выстроить жизнь в стройную систему я воспринимаю как ограниченность мышления. Этот формализм и осторожность во многом лишили меня спонтанности действий. Кроме отдельных вспышек ненависти, являющихся признаком бессилия, я, собственно, не способен больше ни на какую спонтанную реакцию.

Живу ли я еще полетами духа от эмоциональных бесед, восторгами по поводу живописного ландшафта, красивого лица, взгляда, глубины мысли?

Что меня еще интересует сегодня — это как вписаться в плавное течение обстоятельств. Я все время живу с некоторым опережением событий, с заботой о завтрашнем дне, о том, «что будет дальше». Жизнь все больше становится для меня долгом: успеть сделать все вовремя!

Ночью мне приснился сон про красного быка.

Я ищу за скалой твердый, как камень, мяч — его бросил туда какой-то мужчина (мой отец?). Но нахожу труп быка: осторожно! гниющая падаль!

— Тебе нельзя показывать мне ничего блестящего! — говорит бык.

Я вытаскиваю из кармана осколок зеркала, который отобрал у двух играющих девочек, и ослепляю быка лучом солнца. Бык поднимается, его голова наливается краской, словно он собирается чихнуть, — он стоит, еще пошатываясь, и отфыркивается. Я убегаю в комнату и приказываю своим детям закрыть все двери.

Быка сменяет велосипедист — он упал с велосипеда и весь перепачкался в песке. Я спешу ему на помощь.

88-й день

Перевал все еще закрыт, и мы едем со всем своим багажом в аэропорт. Нас обещают отправить рейсом авиакомпании «Aerolinias Argentinas» в Кордову. Через шесть часов ожидания наши надежды разбиваются. Но нам все-таки удается вылететь с «British Caledonian» в Буэнос-Айрес. Мягкий сервис одетых в шотландские юбочки стюардесс вызывает щемящую боль: удалось-таки вырваться оттуда — из этой полной опасностей латиноамериканской жизни!

Освальдо и все его «compaceros», с которыми мы успели познакомиться в Сантьяго, были застрелены на второй день пиночетовского путча. Он пытался добыть оружие со складов министерства внутренних дел для борьбы с путчистами.

* * *

Во Франкфурте испытываю после возвращения трудности: как снова войти в обыденную жизнь и рабочий ритм. Решающий день, однако, неудержимо приближается.

Наконец Наблюдательный совет Франкфуртской книжной ярмарки пригласил 5 кандидатов из 19, участвовавших в конкурсе на замещение должности директора книжной ярмарки, т. е. преемников Зигфреда Тауберта, в Штайгенбергер-отель Франкфуртского аэропорта на «предварительное» собеседование. Это были д-р Мюллер-Рёмхельд, Александр У. Мартенс, пресс-секретарь Биржевого объединения германской книжной торговли д-р Кристиан Улиг (сын хорошо известного Фридриха Улига, по учебникам которого «Ученик в издательстве» и «Ученик в книжной лавке» все мы осваивали эту профессию и который, мало

того, выполнил государственное поручение в связи с программой оказания помощи развивающимся странам и поставил на ноги за два последних года педагогическое издательство на Мадагаскаре), еще один претендент, некая мистическая фигура, о которой мы только знали, что он занимает должность германского генерального консула в Калькутте, ну и, наконец, я.

3 июля 1973 года стоял жаркий воскресный день. Биржевое объединение праздновало коллективный выезд на природу. А мы, кандидаты, один за другим представали перед строгими экзаменаторами.

Как вы представляете себе будущее Франкфуртской книжной ярмарки? Это был один из решающих вопросов, который, как я догадывался, позволял выявить скрытые внутренние резервы кандидата.

Пусть немного, но я все же был знаком с механизмом работы этого высокого собрания. Поэтому не стал пускаться ни в какие заумные рассуждения, а просто ответил:

— Думаю, стоит продолжить политику господина Тауберта. Ведь это он сделал ярмарку такой, какая она есть сегодня!

На этой точке зрения, так я надеялся, всем им было сойтись проще. А для ветрогона, каким меня считали некоторые члены совета, я держался на удивление подчеркнуто солидно.

Мы были свободны, а члены совета удалились для вынесения трудного решения.

Мысленно я все еще находился в Латинской Америке и вообще не питал никаких иллюзий. Я отправился домой, лег на тахту и заснул. В четыре часа пополудни, как нам рекомендовали, я набрал номер отеля и попросил соединить меня с конференц-залом, где совещались члены совета.

Трубку взял господин Фридрих из издательства «dtv-ферлаг».

Я произнес:

— Говорит Вайдхаас, я хотел бы узнать…

Я услышал, как господин Фридрих прикрыл трубку рукой и крикнул в зал:

— Это Вайдхаас… — Где-то в глубине слышался шум нескольких голосов, говоривших одновременно. Наконец господин Фридрих снова обратился ко мне: — Господин Вайдхаас, это вы!

Я не понял:

— Да, это говорит Вайдхаас, я бы хотел…

— Нет, нет, господин Вайдхаас, это — вы!

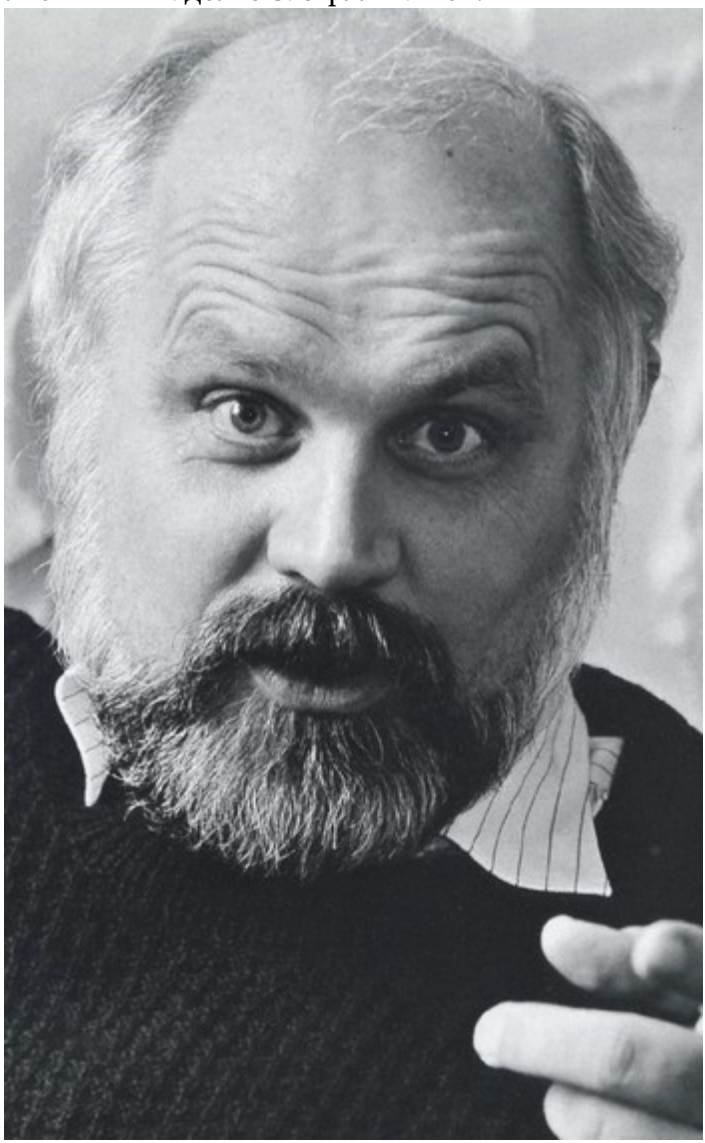
Я, словно меня стукнули пыльным мешком, принялся опять за свое:

— Ну да, это Вайдхаас, вы меня не поняли…

— Нет, это вы меня не поняли! Это — вы! Место за вами!

Мгновенно меня охватила торжественная тишина. Я медленно опустился на тахту. Посмотрел на потолок. Моя жена с детьми еще не вернулись из Латинской Америки. Я знал: вот оно, решение, и час его пробил! Я причалил туда, куда прибила меня жизнь. Ни там ни сям, а где-то посередине.

В тот июльский день я занял эту свою позицию — «между двух стульев» — и надолго застрял на ней.



notes

Примечания

1

Юноша; слуга *(исп.). (Здесь и далее примеч. пер)*

2

Александр Мичерлих (1908–1982) — немецкий социолог и писатель, автор многочисленных социально-психологических трудов.

3

Черная *(исп.)*.

4

Вождь и старейшина индейского племени (*исп.*).

5

Немецкое название концлагеря Освенцим.

6

Важные исторические события XX в. произошли в Германии в ноябре: Ноябрьская революция в Берлине (1918), фашистский путч в Баварии (1923), еврейский погром, известный как «хрустальная ночь» (1938) и, наконец, падение Берлинской стены (1989).

7

Строчка из стихотворения Пауля Делана (1920–1970), давшая название немецкому телевизионному документальному фильму 1990 г.

8

Язык международного общения *(лат.)*.

9

Объединение фирм по организации труда, учету и расстановке кадров, Дармштадт, ФРГ.

10

Братья Маркс — знаменитое комедийное трио XX в., известное своими буффонадными трюками.

11

Диспут-семинар (*англ).*

12

Премия мира вручается ежегодно во время Франкфуртской книжной ярмарки в вошедшей в историю Германии Паульскирхе, где в середине XIX в. заседало Франкфуртское национальное собрание с целью объединения разрозненной Германии и выработки конституции.

13

Франкоязычная африканская философия национально-культурной обособленности и проявления ее самобытности и самоценности (*фр*.).

14

Микаэль Агрикола (ок. 1508 или 1510–1557) — глава Реформации в Финляндии и родоначальник финской литературы.

15

Тропические ящерицы.

16

Джозеф Конрад (1857–1924) — английский писатель, автор многочисленных социально-критических романов.

17

Протестантская секта, основанная в XVI в. и названная по имени ее основателя немца Менно Симонса.